ВОЛЬТЕР

ТРАКТАТЫ И ДИАЛОГИ

ВОЛЬТЕР

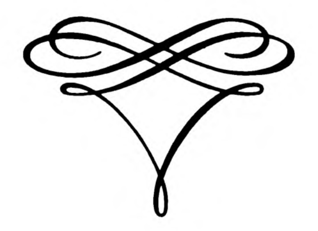
ФИЛОСОФСКИЕ ТРАКТАТЫ И ДИАЛОГИ




VOLTAIRE

Франсуа Мари Аруэ Вольтер

Философские произведения



Москва
ЭКСМО
2005

УДК 82(1-87)
ББК 87.3(4Фра)
В 67

Дизайн книги *Алексея Пилипенко*

Оформление серии и переплета *Елены Шамрай*

На переплете: портрет Вольтера работы *П. Готро*
(копия Н. Ларжильера)

Вольтер

В 67 Философские трактаты и диалоги. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 432 с. — (Антология мудрости).

ISBN 5-699-13915-Х

Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778) навсегда вошел в историю мировой культуры как один из величайших мыслителей, писателей и общественных деятелей; человек, который был обязан своим успехом исключительно собственной настойчивости, уму и таланту. Правда, за свои творения, в которых ярко отразился его истинно французский характер, Вольтеру неоднократно пришлось коротать дни в печально знаменитой Бастилии. Его самого изгоняли из родной Франции, его сочинения приговаривали к сожжению — а он на равных переписывался с могущественными монархами, вершителями судеб христианского мира. При этом он еще сражался с Католической Церковью, правил в своем «маленьком королевстве» на границе Швейцарии и Франции и вообще жил самой настоящей, полнокровной жизнью, какую только мог позволить себе внутренне свободный и сильный человек в XVIII веке. Эту книгу составили произведения, входящие в число шедевров, прославивших Вольтера-философа. Они отмечены неподражаемой печатью изящной и искрометной манеры великого французского насмешника.

УДК 82(1-87)
ББК 87.3(4Фра)

ISBN 5-699-13915-Х



От издательства

Этот человек навсегда вошел в историю человечества как один из величайших насмешников, мыслителей, писателей и общественных деятелей, обязанный своим успехом исключительно собственной настойчивости, уму и таланту. Звали его *Мари Франсуа Аруэ*, или просто — *Вольтер*.

Он родился 21 ноября 1694 в Париже, в семье нотариуса и сборщика налогов. После смерти матери его отдали в парижский иезуитский коллеж Людовика Великого, где он и получил «официальное» образование (1704—1711). Он сохранил благодарные воспоминания о добродушных и ласковых монахах, которые «старались сделать привлекательными науку и добродетель»; и в годы своей славы он не раз присылал на их суд свои новые произведения.

Однако ни церковная схоластика, ни строгий и нравственно возвышенный образ жизни, ни право, которое он начал было

изучать по настоянию отца, не привлекали юное дарование. Мари Франсуа с детства куда больше нравилось быть поэтом-вольнодумцем и светским человеком — этот идеал остроумного, легкого и блестящего существования он усвоил еще с тех пор, когда салон его матери наполняли изящные шалопаи из высшего парижского общества, не чуждые стихотворства, изобиловавшего игривыми двусмысленностями. Его собственные первые поэтические опыты также относятся к тому времени; в коллеже сочинение стихов помогало ему отвлечься от нагонявшей тоску монастырской науки.

Мари Франсуа Аруэ примкнул к «обществу Тампля» — кружку пожилых вельмож с донжуанским прошлым, разбитных аббатов, светских людей, которые объединились вокруг герцога Вандома, главы Ордена мальтийских рыцарей. Вскоре он прославился дерзкими и остроумными стихотворениями, за некоторые из которых, задевавшие тогдашнего правителя Франции, герцога Орлеанского, в мае 1717 года молодого поэта на год упрятали в Бастилию — главную тюрьму страны.

Пребывание в Бастилии способствовало «взрослению» его таланта: в 1718 году на сцене была поставлена трагедия «Эдип», которая сразу же вознесла на вершину славы ее автора, подписавшегося «де Вольтер» — Мари Франсуа Аруэ явно считал незаслуженной несправедливостью со стороны судьбы то обстоятельство, что он родился не в дворянской семье. Литературный успех Вольтера подкрепила большая поэма «Генриада» (1723, первоначальное название «Лига»).

Стремление низкорожденного на равных общаться с представителями родовитой аристократии обычно заканчивается плачевно — и Вольтер не стал исключением. Над его попытками выдать себя за аристократа стал открыто насмехаться шевалье де Роан-Шабо, отпрыск одного из знатнейших семейств Франции. Несколько словесных столкновений между ними завершились победой Вольтера (чего стоит только одна фраза молодого поэта: «Сударь, мое имя ждет слава, а ваше — забвение!»), после чего де Роан прибег к более надежному средству: его слуги просто как следует избили Вольтера, пока их хозяин руководил наказанием из своей кареты.

Все аристократические приятели Вольтера, разумеется, приняли сторону де Роана, а власти вдобавок посадили поэта в апреле 1726 года на две недели в Бастилию, а затем освободили с условием, что он покинет страну. Вольтер выбрал Англию, и последующие два года провел там, изучая британскую литературу, науку и общественную жизнь. Это был важный этап в образовании Вольтера, который неожиданным образом продолжился после его возвращения на родину в начале 1728 года: он увлекся маркизой дю Шатле и на долгие годы поселился в ее родовом замке в Сирее, занимаясь вместе со своей возлюбленной разнообразными науками, в особенности математикой и физикой.

Во второй половине 40-х годов Вольтер на непродолжительное время сблизился с французским королевским двором, однако прижиться там ему было не суждено и в 1749 г., после смерти маркизы дю Шатле, он принял приглашение прус-

ского короля Фридриха II, при дворе которого провел несколько последующих лет (1750—1753). У себя во дворце Фридрих оказался совсем не таким «королем-философом», каким он старался представить себя в письмах к Вольтеру; после разрыва с очередным государем, Вольтер благоразумно поселился на границе Франции и Швейцарии: он приобрел два замка, Турней и Ферней, расположенные по обе стороны французско-швейцарской границы.

Из этого «маленького королевства» Вольтер до самой смерти в 1778 г. вел переписку со многими европейскими монархами — императрицей Екатериной II, королями Пруссии, Швеции, Дании, Польши, вел обширную правозащитную и просветительскую деятельность, создал множество прославивших его сочинений, в том числе — статей для известной «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. д'Аламбера. Впоследствии его имя стало нарицательным (в России свободомыслящих людей еще долго называли «вольтерьянцами»), а Франция признала в нем одного из своих достойнейших сынов. В споре со своими титулованными современниками Вольтер, как и во многом другом, одержал впечатляющую победу.

Вадим Татаринов


Мемуары
Вольтера



Мемуары Вольтера, написанные им самим в 1759 году и напечатанные лишь в 1784 году

Меня утомила праздная, суетливая жизнь Парижа и толпы щеголей; мне надоели плохие книги, печатаемые с одобрения и под покровительством короля, интриги литераторов, подлости и разбойничьи выходки презренных людей, позорящих литературу. В 1733 году я встретил молодую даму приблизительно одних со мною мыслей, которая решила удалиться на несколько лет в деревню, чтобы вдали от светского шума образовать и развить свой ум: это была маркиза дю Шатле, самая способная ко всем наукам женщина во Франции.

Отец ее, барон де Бретейль, заставил ее изучить латинский язык, которым она владела, как г-жа Дасье. Она знала наизусть лучшие отрывки из Горация, Вергилия и Лукреция; все философские сочинение Цицерона были ей хорошо знакомы. Преобладающую же склонность она имела к математике и метафизике. Редко встречается такая точность ума и столько вкуса в соединении с таким рвением к науке. Вместе с тем она любила свет и все удовольствия, соответствующие ее полу и возрасту. Однако она бросила все, чтобы похоронить себя в полуразрушенном замке, лежащем на границе Шампани и Лотарингии, на неблагодарной и бесплодной почве. Она украсила этот замок (Сире), окружив его довольно привлекательными садами. Я построил в нем галерею, из которой сделал прекрасный физический кабинет. У нас была огромная библиотека. Некоторые из ученых приезжали пофилософствовать в нашем убежище. У нас целых два года жил знаменитый Кениг, умерший потом профессором в Гааге и библиотекарем принцессы Оранской. Приезжал, вместе с Жаном Бернульи, Мопертюи, самый завистливый из людей, сделавший меня с тех пор предметом этой своей преобладающей страсти.

Я учил г-жу дю Шатле английскому языку, и она через три месяца знала его не хуже меня и читала Локка, Ньютона и Попа. Она научилась также и итальянскому языку, и мы вместе прочитали всего Тассо и всего Ариосто. Поэтому, когда приехал в Сире Альгаротти и оканчивал здесь свое сочинение «Neutonianismo per le dame», она уже достаточно

хорошо знала итальянский язык, чтобы давать ему очень дельные советы, которыми он воспользовался. Альгаротти был очень милый венецианец, сын богатого купца. Он путешествовал по всей Европе, знал всего понемногу и всему умел придавать приятность.

В этом прелестном убежище мы стремились лишь к тому, чтобы приобретать знания, не заботясь о том, что происходит в остальном мире. Долгое время все наше внимание было сосредоточено на Лейбнице и Ньютоне. Г-жа дю Шатле прежде всего занялась Лейбницем и изложила часть его системы в прекрасно написанной книге под заглавием: «Institutions de Phisique». Она не старалась украсить эту философию посторонними элементами: ее мужественный и правдивый характер чуждался этого рода кокетства. Ясность, точность, изящество — вот основные черты ее стиля. Если когда-либо можно было придать некоторую правдоподобность идеям Лейбница, то ее следует искать в этой книге. Однако теперь уже мало стали обращать внимание на то, что думал Лейбниц.

Стремясь всем своим существом к истине, она вскоре бросила философские системы и обратилась к открытиям Ньютона. Она перевела на французский язык всю книгу математических начал[1], а затем, укрепив свои знание, прибавила к этой книге, которую понимают немногие, алгебраический комментарий, также мало доступный обыкновенному читателю. Г. Клеро, один из наших лучших геометров, тщательно просмотрел этот комментарий. Книгу начали печатать, и то, что издание не было окончено, не делает чести нашему веку.

Мы занимались в Сире всеми искусствами. Я написал «Альзиру», «Меропу», «Блудного сына» и «Магомета». Я работал для нее над «Опытом всеобщей истории» от Карла Великого до наших дней. Я избрал эпоху Карла Великого, потому что на ней остановился Боссюэ и потому что я не осмеливался касаться того, над чем уже работал этот великий писатель. Однако г-жа дю Шатле была недовольна «Всемирной историей» этого прелата. Она находила ее только красноречивой, и ее возмущало то, что все сочинение Боссюэ относилось к такой презренной нации, как евреи.

Прожив шесть лет среди занятий науками и искусствами, мы вынуждены были отправиться в Брюссель, где фамилия дю Шатле давно уже вела большой процесс против фамилии Гонсбрук. Мне посчастливилось встретить там знаменитого и несчастного де Витта: он был первым президентом счетной палаты. У него была одна из лучших библиотек в Европе, которая много помогла мне при составлении «Всеобщей истории». Но в Брюсселе мне выпало на долю еще большее и более чувствительное для меня счастье: ныне удалось уладить процесс, из-за которого два семейства разорялись в течение шестидесяти лет. Я добился того, что маркизу дю Шатлэ было выплачено чистыми деньгами 220 тысяч ливров,— и процесс был окончен.

В то время, как я был еще в Брюсселе, в 1740 году, умер в Берлине толстый король прусский Фридрих-Вильгельм, самый непокладистый, бесспорно самый экономный и самый богатый наличными деньгами из всех монархов. Сын его, со-

ставивший себе столь удивительную репутацию, находился со мной в довольно близких отношениях уже более четырех лет. Я полагаю, что менее похожих друг на друга отца и сына, нежели эти два монарха, трудно отыскать. Отец был настоящий вандал, который в течение всего своего царствование только и думал о том, чтобы копить деньги и тратить как можно меньше на содержание лучшего войска в Европе. Никогда подданные не были беднее, и никогда король не был богаче. Он скупил за бесценок большинство земель своего дворянства, которое очень скоро прожило полученные за них небольшие суммы, причем большая часть этих денег вернулась в королевские сундуки путем налогов на съестные припасы. Все королевские земли были сданы в аренду сборщикам податей, которые в то же время были и судьями, так что если земледелец не платил в срок арендатору, последний надевал свой судейский мундир и присуждал виновного к двойной уплате. Надо заметить, что когда тот же судья не вносил деньги королю в последнее число месяца, то 1-го числа следующего месяца на него насчитывался уже двойной взнос.

В сравнении с деспотизмом, проявляемым Фридрихом Вильгельмом, Турция могла сойти за республику. Подобными средствами он успел за двадцать восемь лет царствования скопить в подвалах своего берлинского дворца около 20 миллионов золотых экю, тщательно закупоренных в бочонках с железными обручами. Ему доставляло удовольствие украшать свои покои большими предметами из массивного серебра, в которых искусство имело меньше значения, неже-

ли материальная ценность. Своей супруге он подарил кабинет, в котором вся мебель была золотая, до ручек каминных щипцов, лопаток и кофейников включительно. И из этого дворца король выходил пешком в потертом коротком кафтане из синего сукна с медными пуговицами. Когда же он заказывал новый кафтан, пуговицы переходили на него со старого. В таком наряде его величество, вооружившись толстой палкой сержанта, каждый день производил смотр своему полку великанов. Этот полк был его страстью и главным его расходом. Первая шеренга его отряда состояла из людей, среди которых самый маленький имел семь футов роста: он их скупал со всех концов Европы и Азии.

Окончив смотр, Фридрих-Вильгельм шел гулять по городу, и тогда все встречные разбегались во все стороны. Если ему попадалась женщина, он спрашивал ее, зачем она шляется по улице, и говорил: «Иди домой, негодница, честная женщина должна заниматься своим хозяйством». И сопровождал выговор пощечиной, а то и пинком ноги в живот или несколькими ударами палкой. Точно так же он обходился и с проповедниками св. Евангелия, если им приходило в голову поглазеть на парад.

Можно поэтому представить себе, как этот вандал был изумлен и недоволен тем, что сын его умен, остроумен, учтив и исполнен желания нравиться; что он стремится к образованию и пишет музыкальные пьесы и стихи. Если он видел в руках наследного принца книгу, то бросал ее в огонь; если сын играл на флейте, то ломал флейту. Иногда же он и с ним

самим поступал так же, как с женщинами на улице и с проповедниками на параде.

Так как отец мало допускал его к делам,— да и дел никаких не было в этой стране, где вся жизнь проходила в смотрах,— он наполнял свой досуг писанием писем к более или менее известным французским литераторам. Главная тяжесть выпала на мою долю. Он посылал мне то письмо в стихах, то метафизический трактат, то сочинения по истории или политике. Он называл меня божественным мужем, а я называл его Соломоном. Эпитеты нам ничего не стоили. Некоторые из этих комплиментов были напечатаны в собрании моих сочинении; но к счастью их и тридцатой части туда не попало. Я позволил себе послать ему очень красивую чернильницу работы Мартена; он был так любезен, что подарил мне несколько безделушек из янтаря. И литераторы парижских кафе с отвращением заключили из этого, что карьера моя сделана.

Один молодой курляндец по имени Кейзерлинг, который тоже кое-как писал французские стихи и вследствие этого был его любимцем, отправился по его приказанию с границы Померании в Сире. Мы устроили ему празднество: я приготовил иллюминацию, причем огнями были изображены герб и инициалы наследного принца с девизом: *Надежда человеческого рода*. Что касается меня, то если бы я пожелал ласкать себя надеждами,— я имел бы полное на то основание, так как мне писали: *милый друг* и говорили о доказательствах солидной дружбы, которые предназначаются мне, когда

принц взойдет на престол. Это наконец совершилось в то время, когда я был в Брюсселе (31 мая 1740 года). Он начал с того, что прислал во Францию чрезвычайным послом калеку по имени Камас, бывшего французского эмигранта, а теперь офицера на его службе. Он говорил, что в Берлине был французский посол, у которого не хватало кисти руки, и что он, желая расплатиться за все полученное от короля Франции, отправляет к нему посланника, у которого только одна рука. Камас, остановившись на постоялом дворе, прислал ко мне своего пажа, поручив ему сказать мне, что он слишком устал, не может придти ко мне сам и просит меня тотчас же прийти к нему, так как он должен передать мне от имени своего государя огромный и великолепный подарок. «Идите скорее,— сказала мне г-жа дю Шатле,— наверное вам прислали коронные бриллианты». Я поспешил к посланнику и увидел, что вмѣсто всякого чемодана у него за стулом стояла кварта (32 литра) вина из погреба покойного короля, которое царствующий король приказывал мне выпить. Я рассыпался в благодарностях и выразил мой восторг по поводу этих жидких знаков благоволения ко мне его величества взамен тех солидных знаков дружбы, которые он мне обещал, и разделил вино с Камасом.

Мой Соломон был в то время в Страсбурге. Проезжая по длинным и узким владениям, тянущимся от Гельдра до Балтийского моря, он вздумал посмотреть *инкогнито* границы и войска Франции. Он исполнил эту фантазию, посетив Страсбург под именем богатого чешского аристократа,



Вольтер. *Гравюра XVIII века*

графа дю Фур. Сопровождавший его брат, наследный принц, также взял себе какой-то псевдоним. Только Альгаротти, который уже примкнул к его свите, не скрывался под маской. Король прислал мне в Брюссель описание своего путешествия наполовину в стихах, наполовину в прозе во вкусе Башомона и Шапеля, насколько только король Прусский может приблизиться к их жанру. Из его письма в стихах видно, что он еще далеко не сделался французским поэтом и, как философ, не был совершенно равнодушен к тому металлу, который накопил его отец.

Из Страсбурга он отправился осматривать свои владения в Нижней Германии и уведомил меня, что собирается посетить меня инкогнито в Брюсселе. Мы приготовили ему чудный дом; но он, заболев в маленьком замке Мез, в двух лье от Клева, написал мне, что рассчитывает на мое посещение. Итак, я отправился выразить ему мое глубочайшее почтение. Мопертюи, уже составивший свой план и одержимый желанием сделаться президентом Академии, явился без приглашения и жил, вместе с Кейзерлингом и Альгаротти, на чердаках замка. У ворот я встретил в виде стражи одного только солдата. Тайный советник Рамбоне, государственный министр прогуливался по двору, дуя себе в кулаки. На нем были длинные, грязные манжеты, дырявая шляпа, старый судейский парик, одну сторону которого он мог бы засунуть себе в карман, другая же едва доходила до плеча. Мне сказали, что этому человеку поручено важное государственное дело,— и это была правда.

Меня провели в покои его величества. Здесь кроме четырех стен ничего не было. В одной из комнат, при свете убогой свечи, я увидел жалкую узкую кровать, на которой лежал маленький человечек, закутанный в халат из темно-синего сукна: это был король, который то дрожал, то обливался потом под скверным одеялом — у него был сильный припадок лихорадки. Я раскланялся и начал с того, что стал щупать его пульс, словно был его лейб-медиком. Когда пароксизм окончился, он оделся и сел за стол. Альгаротти, Кейзерлинг, Мопертюи, посланник короля при Генеральных Штатах и я — ужинали с ним и беседовали о бессмертии души, о свободе и об андрогинах Платона. Советник Рамбоне, между тем, отправился верхом на наемной лошади и, проехав всю ночь, на другой день прибыл к воротам Льежа, где и стал распоряжаться именем своего государя, тогда как везельские войска собирали с города контрибуцию. Поводом к этой прекрасной экспедиции были какие-то права, которые король будто бы имел на одно из предместий города. Он поручил мне даже составить манифест, что я кое-как и сделал, не сомневаясь в том, что король, с которым я ужинал и который называл меня своим другом, не мог быть не прав. Дело уладилось вскоре при помощи миллиона франков, уплатить которые он потребовал тяжелыми дукатами; деньги эти возместили ему расходы по страсбургскому путешествию, на которые он жаловался в своем поэтическом письме.

Тем не менее, я чувствовал к нему привязанность, так как он был умен, милостив и, кроме того — король, что всегда,

по слабости человеческой, имеет большое значение. Обыкновенно бывает так, что мы, литераторы, восхваляем королей; этот же осыпал меня похвалами с головы до ног, в то время как аббат Дефонтен и другие негодяи ругали меня в Париже по крайней мере раз в неделю.

Король Прусский, незадолго до смерти своего отца, вздумал написать сочинение против принципов Макиавелли. Если бы Макиавелли имел своим учеником будущего государя, то он прежде всего посоветовал бы ему писать против него. Но у наследного принца такой задней мысли не было. Он писал совершенно искренно в то время, когда еще не был государем и когда образ действий отца не внушал ему любви к деспотической власти. Тогда он от всего сердца восхвалял кротость и справедливость и в своем увлечении считал каждую узурпацию преступлением. Он прислал мне тогда свою рукопись в Брюссель, чтобы ее исправить и напечатать, и я подарил ее одному голландскому издателю, по имени Вандурен, самому отъявленному плуту во всей этой корпорации. Теперь мне стало совестно печатать «Анти-Маккиавелли» — в то время как король Прусский, имея сто миллионов в своих сундуках, отбирает один миллион у бедных жителей Льежа через посредство советника Рамбоне. Кроме того, я думал, что мой Соломон на этом не остановится. Отец оставил ему 66 400 человек превосходного войска. Он увеличил это число и как будто намеревался употребить своих солдат в дело при первом же случае. Я заметил ему, что может быть неловко печатать его книгу как раз в то время, когда его могут

упрекнуть за нарушение выраженных в ней принципов, и он позволил мне остановить издание. Я отправился в Голландию единственно для того, чтобы оказать ему эту небольшую услугу; но издатель заломил такую цену, что король, который в глубине души был не прочь, чтобы его сочинение напечатали, предпочел лучше печатать его бесплатно, чем платить за то, чтобы оно не было напечатано. В то время как я был в Голландии по поводу этого дела, император Карл VI умер в октябре 1740 года, объевшись шампиньонами, отчего с ним приключился удар. И это блюдо шампиньонов изменило судьбу Европы. Вскоре оказалось, что Фридрих II, король прусский, вовсе не был таким ненавистником Макиавелли, каким выставлял себя наследный принц. Несмотря на то что в голове его уже возник план вторжения в Силезию, он все-таки пригласил меня к своему двору.

Я уже раньше говорил ему, что не могу поселиться у него, так как отдаю дружбе предпочтение перед честолюбием, что я привязан к г-же дю Шатле и из двух философов предпочитаю даму королю. Он одобрял эту свободу выбора, хотя сам женщин не любил. Я отправился к нему с визитом в октябре. Кардинал Флери написал мне длинное письмо, полное похвал «Анти-Макиавелли» и его автору, и я, конечно, показал это письмо королю. Последний уже собирал свои войска, хотя ни один из его генералов и министров не мог еще проникнуть в его планы. Маркиз де Бово, отправленный к нему с поздравлением, полагал, что новый король объявит себя противником Франции и сторонником короле-

вы Венгрии и Чехии Марии-Терезии, дочери Карла VI; что он захочет поддержать избрание на императорский престол Франца Лотарингского, великого герцога Тосканского, супруга Марии-Терезии, так как мог извлечь из этого большие выгоды для себя.

Я, более чем кто-либо, мог думать, что новый король Пруссии действительно поступит так: три месяца назад он прислал мне свое политическое сочинение, в котором смотрел на Францию как на естественного врага Германии. Но в натуре его была склонность делать все наоборот тому, что он говорил и писал. Он делал это не из коварства, а потому что писал и говорил под одним настроением, а действовал под другим.

Он отправился 15 декабря, больной перемежающейся лихорадкой, на завоевание Силезии, во главе 30-тысячного, отлично снабженного и дисциплинированного войска. Садясь на лошадь, он сказал маркизу де Бово: «Я буду играть вам в руку: если ко мне придут тузы — мы поделимся». Впоследствии он написал историю этого завоевания и показывал мне ее по окончании. Вот один из любопытнейших отрывков из начала этой летописи. Я переписал его, как единственный в своем роде памятник: «Прибавьте к этим соображениям всегда готовые действовать войска, хороший денежный запас и живость моего характера. Вот причины, побуждавшие меня вести войну против королевы Венгрии и Чехии Марии-Терезии». И несколько ниже встречалось такое выражение: «Честолюбие, корысть, мое желание прославиться востор-

жествовали, и война была решена».— С тех пор как существуют завоеватели и пылкие умы, стремившиеся к завоеванием, я думаю, что он первый высказал такое откровенное о себе мнение. Ни один человек еще, может быть, не сознавал так, как он, что говорит разум, и не слушался так, как он, своих страстей. Характер его всегда состоял из этой смеси философских взглядов и проявлений разнузданного воображения. Я жалею, что побудил его вычеркнуть эти слова, когда поправлял все его сочинение: такое редкостное признание должно было перейти к потомству, чтобы послужить доказательством того, на чем основаны почти все войны. Мы — литераторы, поэты, историки, академические декламаторы — все мы прославляем эти великие подвиги; а монарх, совершающий эти подвиги, их осуждает.

Я вернулся философствовать в Сире. Зиму я провел в Париже, где у меня было множество врагов; так как, задолго до того, я написал «Историю Карла XII», поставил на сцене несколько пьес и даже сочинил эпическую поэму, и меня преследовал всякий, кто только пописывал стихами или прозой. А так как я довел еще смелость до того, что писал о философии, то, само собою разумеется,— люди, которых называют *ханжами*, стали ругать меня по старой моде атеистом. Я первый осмелился изложить общепонятным языком открытие Ньютона моим соотечественникам. Декартовские предрассудки, заступившие во Франции место учения перипатетиков, пустили такие глубокие корни, что канцлер д'Агессо смотрел на каждого, кто признавал сделанные в Англии от-

крытия, как на врага здравого смысла и государства. Он ни за что не хотел давать разрешение на печатание «Элементов философии Ньютона».— Я был большим поклонником Локка: я смотрел на него как на единственного разумного метафизика; мне нравилось в особенности его совершенно новое и в то же время мудрое и смелое мнение, что мы никогда не будем в состоянии силами собственного ума доказать, что Бог не может одарить чувством и мыслью то существо, которое мы называем *материей*.

Невозможно себе представить с какой яростью и смелостью невежества набросились на меня за эту статью. Положение Локка до той поры было неизвестно во Франции, потому что ученые читали св. Фому и Кенеля, а публика — романы. Когда я стал хвалить Локка, то накинулись и на него, и на меня. Бедняки, увлекавшиеся этим, спором, по всей вероятности, вовсе и не знали, что такое материя и что такое *дух*. Дело в том, что мы ничего о самих себе не знаем, не знаем, что такое движение, жизнь, чувство и мысль; элементы материи вам так же неизвестны, как и все остальное; мы — слепцы, которые ходят и рассуждают ощупью, и Локк был прав, признавая, что не нам судить о том, чего Всемогущий не может сделать.

Все это, а также успех моих пьес на сцене вызвали появление целой библиотеки брошюр, в которых доказывалось, что я плохой стихотворец — атеист и крестьянский сын. Напечатали мою биографию, в которой приписали мне эту прекрасную генеалогию. Один немец подобрал все эти сплетни,

которыми были начинены все написанные против меня пасквили. Мне приписывали приключения с такими лицами, которых я никогда не видал в глаза, и с такими, которых никогда не существовало. В то время как я писал эти строки, мне попалось письмо от маршала Ришелье, сообщавшего мне о скверном пасквиле, в котором говорится, будто его жена подарила мне коляску и еще что-то в то время, когда у него вовсе не было жены. Сначала меня забавляло составлять коллекцию этих выдумок, но их накоплялось так много, что я бросил это занятие. Вот и все, что я получил за мои труды. Я находил себе утешение то в уединении Сире, то в хорошем обществе Парижа.

В то время как отбросы литературы воевали таким образом против меня, Франция вела войну против венгерской королевы, и надо сознаться, что эта война не отличалась большей справедливостью: после того как составили договор, поклялись и гарантировали прагматическую санкцию императора Карла VI и санкцию наследования Марией-Терезией своему отцу и получили Лотарингию в уплату за эти обещания, казалось, нельзя было изменить такому обязательству. Но кардинала Флери увлекли за пределы этих обязательств. Он не мог сказать, как король Прусский, что берется за оружие по живости своего темперамента. Этот счастливый прелат управлял на 86 году своей жизни и держал бразды правления государством довольно слабой рукой. Франция присоединилась к прусскому королю, когда он брал Силезию, послала в Германию две армии в то время, как у Марии-

Терезии не было ни одной. Одна из этих армий проникла почти до самой Вены, не встретив неприятеля. Баварию отдали курфюрсту Баварскому, который был избран императором после того, как был назначен главнокомандующим войск французского короля. Но вскоре были сделаны все ошибки, какие только нужно было сделать, чтобы все потерять.

Король Прусский, укрепив, между тем, свое мужество и выиграв несколько сражений, заключил с австрийцами мир. Мария-Терезия, к великому прискорбию своему, уступила ему графство Глатц с Силезией. Отступившись без церемонии на этих условиях от Франции в июне 1742 года, он сообщил мне, что принялся за свое лечение и советует и другим больным полечиться. Государь этот был в то время в апогее своего могущества: он имел 130 тысяч человек победоносного войска, кавалерию, которая была создана им; от Силезии он получал вдвое более того, что она давала австрийскому дому; он утвердился в новом своем завоевании и еще более был счастлив тем, что другие державы находились в плачевном положении. В настоящее время война разоряет правителей; его же она обогатила. Он направляет теперь свои старания на украшение Берлина. Он построил лучшие в Европе театральные залы и пригласил всевозможных артистов, так как он хотел идти к славе всеми путями и наиболее дешевыми средствами. Отец его жил в Потсдаме в прескверном доме; он сделал из него дворец. Потсдам превратился в хорошенький город. Берлин разросся. Там начинали познавать сладости жизни, которыми так пренебрегал покойный король. У неко-

торых жителей появилась мебель; большинство стало носить рубашки, тогда как в прежнее царствование носили только переда рубашек, привязывавшиеся тесемками; да и теперешний король никогда раньше не знал других. Все заметным образом изменялось: Спарта превращалась в Афины. Пустыри расчищались; 130 сел выросли на высушенных болотах. Королю это, однако, не мешало писать книги и сочинять музыку; поэтому нельзя особенно упрекать меня за то, что я называл его Соломоном Севера. В моих письмах я дал ему это прозвище, которое надолго осталось за ним.

Дела Франции шли не так хорошо, как его, и он втайне радовался, что французы погибают в Германии после похода, благодаря которому он получил Силезию. Французский двор потерял свои войска, свои деньги, свою славу, свой кредит за то, что доставил императорский престол Карлу VII; а император терял все благодаря тому, что надеялся на поддержку французов. Кардинал Флери умер 29 января 1743 года девяноста лет от роду: ни разу еще ни один министр не начинал свою министерскую карьеру так поздно и не оставался на своем посту так долго. Шестидесяти трех лет он сделался властителем Франции и оставался им бесспорно до самой своей смерти, выказывая всегда величайшую скромность, не приобретая никакого имущества, не кичась пышностью и только посвящая себя управлению государством. Он оставил после себя репутацию скорее человека тонкого и приятного ума, чем гения и, как говорили, знал больше двор, нежели Европу. Я имел честь встречаться с ним у жены маршала де Виллар,

когда еще он был только епископом дрянного городишка Фрежюс, вследствие чего и называл себя епископом немилостью *Божией*, как мы видим из некоторых писем его. Фрежюс был похож на очень некрасивую женщину, с которой он развелся, как только смог. Маршал де Вилльруа, не зная, что епископ долго был любовником его жены, выхлопотал ему у Людовика XIV место воспитателя Людовика XV. Из воспитателя он сделался первым министром и немало способствовал ссылке своего благодетеля, маршала. Однако, помимо неблагодарности, он был довольно хорошим человеком; но так как он сам не обладал никакими талантами, то отстранял всех, кто только выказывал какое бы то ни было художественное дарование. Некоторые академики хотели, чтобы я занял его место во Французской академии. Короля за ужином спросили, кто произнесет надгробное слово кардиналу в Академии. Король указал на меня. Любовница его, герцогиня де Шатору, была на это согласна; но статс-секретарь Морепа не захотел этого. У него была мания ссориться со всеми любовницами своего государя — и это ему не обошлось даром.

Один старый идиот, учитель дофина, впоследствии епископ города Мирпуа, по имени Бойе, взялся исполнить каприз господина де Морепа. На его руках был список наград, и король предоставил ему все дела духовенства; на мое дело он взглянул со стороны церковной дисциплины. Он обратил внимание на то, что если такой мирянин, как я, унаследует место кардинала, то это будет оскорблением Бога. Я знал,

что он действует под влиянием Морепа, поэтому я отправился к этому министру и сказал ему: «Место в Академии особенной важности собой не представляет; но неприятно, уже получив его, быть исключенным. Вы в ссоре с г-жой де Шатору, которую король любит, и с герцогом Ришелье, который им управляет — какое же, спрашиваю я вас, отношение имеется между вашими ссорами и несчастным местом во Французской академии? Убедительно прошу вас ответить мне чистосердечно: в случае, если г-жа де Шатору одержит верх над епископом Мирпуа, будете ли вы противиться?» Он подумал немного и сказал: «Да, я вас уничтожу!»

Поп одержал верх над любовницей, и я не получил места, которым я вовсе не дорожил. Мне приятно вспоминать об этом происшествии: в нем ясно выказывается мелочность тех, кого считают великими, и видно, какие пустяки кажутся им важными вещами. Между тем, государственные дела со времени смерти кардинала не шли лучше, чем в последние годы его жизни. Австрийский дом возрождался из пепла. Францию теснили Австрия и Англия. Единственным нашим прибежищем оставался прусский король, который вовлек нас в войну и покинул нас, когда счел это для себя удобным.

Тогда решено было тайно послать меня к этому государю, чтобы узнать его намерения, а также не согласится ли он предупредить грозу, которая рано или поздно должна была разразиться из Вены сначала над нами, а затем и над ним, и не согласится ли он снабдить нас, при случае, сотнею тысяч войска, чтобы крепче утвердить за собой Силезию. Идея

эта запала в головы герцога Ришелье и г-жи де Шатору. Король согласился с ними, и господину Амело, министру иностранных дел, не имевшему, впрочем, никакого значения, поручено было ускорить мой отъезд.

Для этого необходим был какой-либо предлог. Я придрался в этом случае к моей ссоре с бывшим епископом Мирпуа. Король одобрил это решение, и я написал прусскому королю, что не в состоянии более выносить преследований этого театинца[2] и спасаюсь под защиту короля-философа от придирок ханжи. Так как этот прелат всегда подписывался сокращенно L'anc. Èvoq. de Mirepoix (*L'ancien ovoque de Mirepoix* — бывший епископ Мирпуа), и почерк у него был неразборчивый, то и можно было прочитать так: L'one de Mirepoix (осел из Мирпуа). Над этим много смеялись, и переговоры велись очень весело.

Король Прусский, никогда не церемонившийся с монахами и придворными прелатами, отвечал мне целым потоком насмешек над «ослом из Мирпуа» и приглашал меня приехать как можно скорее. Я, разумеется, давал читать мои письма и ответы на них. Епископ узнал об этом и пожаловался Людовику XV на то, что я делаю его посмешищем иностранных дворов. Король сказал ему, что это делается по уговору, и что он не должен обращать на это внимание. Этот ответ Людовика XV, совершенно не соответствовавший его характеру, показался мне необычайным. Я одновременно имел удовольствие отомстить епископу за то, что он исключил меня из Академии, совершить очень приятное путешест-

вие и получить, кроме того, возможность оказать услугу королю и государству. Господин де Морепа принимал даже весьма горячее участие в этом предприятии, потому что он в этом случае командовал министром Амело и сам воображал себя министром иностранных дел. Самым оригинальным при этом было то, что приходилось довериться в этом деле г-же дю Шатлэ. Она ни за что на свете не соглашалась, чтобы я оставил ее для короля Прусского. Она находила, что нет ничего более отвратительного и подлого, чем покидать женщину ради монарха. Она подняла бы невероятный шум. Чтобы умиротворить ее, решено было, что она примет участие в заговоре и что все письма будут проходить через ее руки. Денег на путешествие мне отпускали под простые расписки сколько я хотел, но я не злоупотреблял доверием. Я остановился на первое время в Голландии, пока король Прусский ездил с одного конца своих владений до другого, чтобы производить смотры. Мое пребывание в Гааге не было бесполезным. Я квартировал в старом дворце, принадлежавшем тогда прусскому королю по разделу с оранским домом. Посланник его, молодой граф Подевильс, счастливо влюбленный в жену одного из главных членов правительства, получал, благодаря любезности своей дамы, копии со всех тайных решений высших властей, решений, весьма недоброжелательных по отношению к нам. Я переслал эти копии двору, и услугами моими были там очень довольны

Когда я приехал в Берлин, король поместил меня у себя, как и в предшествовавшие мои посещения. В Потсдаме он

жил совершенно так, как всегда жил потом со времени своего вступления на престол. Не безынтересно будет сообщить некоторые подробности этой жизни. Он вставал в пять часов утра летом и в шесть зимой. Если вы полюбопытствуете узнать, каковы были церемонии этого вставания, каковы были обязанности его капеллана, его главного камергера, его камер-юнкера, его стража, то я отвечу вам, что один лакей приходил затопить у него печку, одеть и выбрить его; да и то он одевался большею частью сам. Спальня его была довольно красива; роскошные серебряные перила, украшенные художественно сделанными амурами, окружали, по-видимому, возвышение кровати, закрытой занавесью; но за занавесью, вместо кровати, скрывалась библиотека, тогда как постель короля представляла собой скверную, скрытую ширмой, складную кровать с тонким тюфяком. Марк Аврелий и Юлиан — апостолы стоицизма — спали наверное не хуже его.

Когда его величество был совершенно одет, этот стоик посвящал несколько минут учению Эпикура: он призывал к себе двух или трех фаворитов — поручиков своего полка, пажей, скороходов или молоденьких кадетов — и пил с ними кофе. Тот, которому бросали платок, оставался минут на десять вдвоем с королем. До последней крайности дело не доходило, так как государь при жизни отца сильно пострадал от мимолетных любовных связей и был плохо вылечен. Первой роли он играть не мог — ему приходилось довольствоваться второю. По окончании этих школьнических забав он принимался за государственные дела.

Первый министр его приходил по потайной лестнице с большой связкой бумаг под мышкой. Этот первый министр был просто приказчик, живший во втором этаже дома Федерсдорфа, солдат, сделавшийся лакеем и любимцем короля и служивший некогда ему, тогда наследному принцу,— во время заключения в Кюстринском замке.

Статс-секретари посылали к этому приказчику короля все депеши. Он приносил ему извлечение из них, а король в двух словах отмечал ответ на полях. Таким образом, все дела государства решались в час времени. В редких случаях до него допускались сами статс-секретари и министры: бывали даже и такие, с которыми он никогда не говорил. Его отец завел такой порядок в финансах, все исполнялось с такой военной точностью, повиновение было до того слепо, что страна в 400 квадратных миль управлялась как какое-нибудь аббатство.

Около одиннадцати часов король, в высоких сапогах, делал в саду смотр своему гвардейскому полку, и в тот же час во всех провинциях полковые командиры производили смотры своим полкам. В промежутке между парадом и обедом принцы — его братья, высшие офицерские чины, два или три камергера собирались к его столу, который был настолько хорош, насколько мог быть хорош стол в стране, где нет ни дичи, ни порядочной говядины, ни пулярок и где пшеницу надо выписывать из Магдебурга. После обеда король удалялся в свой кабинет и писал стихи до пяти или шести часов. Затем являлся молодой человек, по имени Дарже, быв-

ший секретарь французского посла Валори, и читал ему вслух. В семь часов начинался маленький концерт: король играл на флейте не хуже лучшего артиста. Нередко исполнялись его собственные сочинения, так как не было ни одного искусства, которым бы он не занимался, и в Древней Греции ему не пришлось бы испытать того стыда, который испытал Эпаминонд, сознавшийся, что он не понимает музыки. Ужин происходил в маленьком зале, самым удивительным украшением которого служила картина, заказанная им своему живописцу, одному из лучших колористов — Пэну. Это была чудная приапея. Здесь изображены были юноши, обнимающие женщин, нимфы под сатирами, резвящиеся амуры, несколько зрителей, в экстазе созерцающих эту сцену, целующиеся голубки, козлы, прыгающие на коз, бараны — на овец.

Разговоры за ужином велись самые философские. Если бы кто-либо посторонний услышал нас и увидал эту картину, то ему показалось бы, что семь мудрецов Греции собрались в публичном доме. Нигде в мире не говорили с такой свободой о людских суевериях и нигде не говорили о них с такой насмешкой и презрением. К Богу относились с почтением, зато не щадили тех, которые обманывали людей его именем.— Во дворец никогда не входили ни женщины, ни попы. Одним словом, Фридрих обходился без двора, без совета и без культа. Он правил церковью так же деспотически, как и государством. Он сам давал разводы, когда муж и жена хотели повенчаться с другими. Один пастор привел ему однажды, по поводу этих разводов, текст из Ветхого завета.

Он отвечал: «Моисей делал со своими евреями, что он хотел, а я управляю моими пруссаками, как умею».

Это странное управление, эти еще более странные нравы, эта смесь стоицизма и эпикурейства, строгости военной дисциплины и изнеженности во дворце; пажи, с которыми забавлялись в кабинете, и солдаты, которых по тридцати шести раз прогоняли сквозь строй под окнами смотревшего на них государя, нравственные проповеди и разнузданные нравы — все это представляло собой удивительно странную картину, о которой многие ничего не знали и с которой Европа познакомилась лишь впоследствии.

В Потсдаме все фантазии короля подчинялись строгой экономии. Его стол и стол его офицеров и слуг, за исключением вина, не превышал тридцати трех экю в день. И тогда как у других королей расходами заведуют коронные чиновники, у него главным метрдотелем, виночерпием и хлебодаром был его лакей Федерсдорф. По экономическим или по политическим соображения он не оказывал никакой милости своим прежним любимцам, а в особенности тем, которые рисковали жизнью ради него, когда он был наследным принцем. Он не возвращал даже денег, которые занимал в то время, и подобно тому, как Людовик XII не мстил за обиды, нанесенные герцогу Орлеанскому, король прусский забывал долги наследного принца.

Когда он приезжал в Берлин, он выказывал большую пышность в дни приемов. Это было великолепное зрелище для людей тщеславных, которые видели его за столом, окру-

женного тридцатью принцами, обедающим на прекраснейшей в Европе золотой посуде, тогда как тридцать красивых пажей и столько же скороходов в роскошных костюмах несли большие блюда из массивного золота. На этих обедах появлялись и высшие сановники,— в другое же время их никто никогда не видел. После обеда отправлялись в оперу, в громадную залу в триста футов длины, которую один из его камергеров, по имени Кноберсдорф построил без помощи архитектора. Лучшие певицы и танцовщицы были у него на жалованьи. Знаменитая Барбарини танцевала тогда в его театре; впоследствии она вышла замуж за сына его канцлера. Король приказал похитить эту танцовщицу из Венеции с помощью солдат, которые и привезли ее в Берлин. Он был немножко влюблен в нее, потому что у нее были мужские ноги. В особенности непонятно было то, что он давал ей 32 тысячи ливров жалованья. Его поэт, итальянец, которого он заставлял перекладывать в стихи текст опер (текст этот он составлял всегда сам), получал только тысячу двести ливров; но надо при этом сказать, что этот поэт был очень некрасив и не танцевал. Одним словом, одна Барбарини получала больше, чем три министра вместе. Что касается поэта-итальянца, то он однажды вознаградил себя сам, своими руками: он отпорол в одной старой капелле прусского короля золотые галуны, которыми она была отделана. Король, никогда не посещавший этой капеллы, сказал только, что он ничего не потерял. Кроме того, он незадолго до того написал в защиту воров рассуждение, напечатанное в сборниках его Акаде-

мии, и не считал удобным на этот раз, чтобы действия его расходились с писаниями.

Так посреди празднеств, оперных спектаклей и ужинов подвигалась вперед моя миссия. Король желал, чтобы я говорил с ним обо всем, и я, разговаривая об «Энеиде» и Тите Ливии, примешивал вопросы о делах Франции и Австрии. Иногда разговор оживлялся, король горячился и говорил, что пока наш двор будет стучаться во все двери, чтобы добиться мира, он не подумает драться из-за него. Я прислал ему из своей комнаты мои размышления по этому поводу, написанные на бумаге, перегнутой пополам — для полей. Он написал ответы на этих полях на мои смелые взгляды. Я еще храню страницу, на которой я писал ему: «Разве вы думаете, что австрийский дом при первом же случае не потребует от вас Силезии?» Вот его ответ, написанный на полях:

Ils seront reous, biribi,
A la faoon de barbari,
Mon ami[3].

Эти необыкновенные переговоры окончились словами, которые он сказал мне в минуту раздражения против английского короля, своего дяди. Оба короля не любили друг друга, причем прусский король говаривал: «Георг — дядя Фридриху, но не дядя прусскому королю». Наконец он сказал: «Пусть только Франция объявит войну Англии, и я двинусь в поход». Больше мне ничего и не было нужно. Я вернулся во Францию и отдал отчет о своем путешествии, сообщив

о надежде, которую мне дали в Берлине. Надежда эта не обманула, и следующей весной король Прусский заключил новый договор с королем Франции. Он выступил в Чехию с войском в 100 тысяч человек в то время, как австрийцы были в Эльзасе.

Если бы я рассказал какому-нибудь доброму парижанину о том, что со мной случилось и об оказанной мной услуге, он, конечно, вообразил бы себе, что меня тотчас же назначат на какой-нибудь важный пост. А между тем вот какова была моя награда. Герцогиня де Шатору обиделась, что переговоры не велись непосредственно через нее; ей пришла фантазия прогнать Амело за то, что он заикался, а этот недостаток был ей противен. Кроме того, она ненавидела Амедо за то, что им руководил Морепа. Его спровадили в неделю, и немилость эта отразилась и на мне.

Некоторое время спустя, Людовик XV смертельно заболел в Метце; Морепа и его креатуры воспользовались этим, чтобы погубить г-жу де Шатору. Епископ Суассонский Фитц-Джеймс, сын незаконного сына Иакова II, считавшийся чуть не святым, захотел, в качестве духовника, спасти душу короля и объявил ему, что не допустит его к причастию и не даст отпущение грехов, если он не прогонит от себя свою любовницу и сестру ее, герцогиню де Лораге, а также их друзей. Сестры уехали, сопровождаемые проклятиями жителей Метца. За это-то деяние парижский народ, столь же глупый, как и народ Метца, дал Людовику XV название *возлюбленного* (le Bien-Aimo); какой-то шутник, по имени

Ваде, придумал это прозвище, распространенное потом всеми альманахами. Когда король выздоровел, он захотел быть только возлюбленным своей любовницы. Любовь их разгорелась сильнее прежнего. Она должна была вернуться к своим обязанностям и готовилась выехать из Парижа в Версаль, как вдруг скоропостижно умерла от последствий бешеной вспышки гнева, вызванной ее отставкой. Она скоро была забыта.

Нужна была заместительница для нее, и выбор пал на девицу Пуассон, дочь содержанки и крестьянина, нажившего некоторое состояние продажей хлеба скупщикам. Он был в это время где-то в бегах, так как состоял под судом за какое-то мошенничество. Дочь его выдали замуж за помощника управляющего государственной собственностью Ле-Нормана д'Этиоля, племянника управляющего государственной собственностью Ле-Нормана де Турнегема, у которого мать ее была на содержании. Дочь была образована, хорошего поведения, мила, полна талантов и прелестей, от природы одарена умом и добрым сердцем. Я знал ее довольно хорошо и был даже поверенным ее романа.

Она призналась мне, что у нее всегда было тайное предчувствие, что ее полюбит король, и сама она почувствовала к нему горячее влечение. Мысль эта, которая могла бы показаться фантастичной в ее положении, основывалась на том, что ее часто возили смотреть на охоту короля в роще Сенар. Турнегем, любовник ее матери, имел дачу в окрестностях, и г-жа д'Этиоль часто каталась в хорошенькой коляске. Ко-

роль обратил на нее внимание и не раз посылал ей убитую дичь. Мать ее беспрестанно говорила ей, что она красивее Шатору, и старик Турнегем нередко восклицал: «Да, надо сознаться, что дочка г-жи Пуассон лакомый кусочек, хоть бы для короля!» Наконец, после того, как король очутился в ее объятиях, она сказала мне, что твердо верила в судьбу, и была права. Я провел с нею несколько месяцев в Этиоле в 1746 году, когда король был в походе. Это доставило мне такие награды, которых никогда не удостаивались ни мои сочинения, ни мои услуги. Меня признали достойным сделаться одним из сорока ненужных членов Академии. Меня назначили историографом Франции, и король предоставил мне должность своего ординарного камергера. Я вывел отсюда заключение, что для того, чтобы добиться чего бы то ни было, гораздо лучше сказать несколько слов любовнице короля, чем написать сотню томов.

Как только я сделался, по-видимому, счастливым человеком, так собратья мои, парижские литераторы, накинулись на меня со всею яростью и со всем озлоблением, которые должен был возбуждать в них к себе человек, получающий все заслуженные им награды. С г-жою дю Шатле я попрежнему был связан дружбой и любовью к науке. Мы жили вместе в Париже и в деревне. Сире лежит на дальней окраине Лотарингии: король Станислав жил в то время со своим маленьким и веселым двором в Люневиле. Несмотря на свою старость и на свое ханжество, он имел любовницу — маркизу де Буфлер. Сердце свое он делил между нею

и иезуитом, по имени Мену, самым наглым интриганом из всех попов, каких я только знал. Этот человек вытянул у короля Станислава, через посредство жены его, у которой он был духовником, около миллиона. Часть этих денег была употреблена на постройку великолепного дома в Нанси для него самого и для нескольких других иезуитов. Дому этому был пожалован капитал, дававший двадцать четыре тысячи франков в год: двенадцать для содержания стола Мену и двенадцать на раздачу, кому он захочет. Любовница короля долго не пользовалась подобными выгодами. Она с трудом вытягивала в то время у короля на свои тряпки, и тем не менее иезуит с завистью смотрел на ее долю и вообще терпеть не мог маркизы. Они были в открытой ссоре, и бедному королю каждый день по окончании обедни приходилось мирить свою любовницу с духовником. Наконец, наш иезуит, прослышав о г-же дю Шатле, которая была чудно сложена и еще довольно красива, задумал поставить ее на место маркизы де Буфлер. Станислав иногда подписывал кое-что; Мену подумал, что женщина-писательница гораздо более подходит ему — и вот он является в Сире, чтобы затеять эту милую интригу: он ухаживает за г-жею дю Шатле и объявляет нам, что король Станислав будет очень рад нас видеть, королю же, по возвращении говорит, что мы горим желанием приехать к его двору. Станислав посылает за нами г-жу де Буфлер.— И мы действительно провели в Люневиле целый 1749 год. Но случилось совершенно обратное тому, чего хотело его преподобие. Мы подружились

с г-жою де Буфлер, и иезуиту приходилось теперь бороться против двух женщин.

Жизнь при дворе в Лотарингии была довольно приятна, хотя и здесь было, как и везде, достаточно интриг и всяких сплетен. Понсе, епископ города Труа, с плохой репутацией и по уши в долгах, захотел к концу года примкнуть к нашему двору и увеличить наши неприятности. Говоря, что он пользовался дурной славой, я включаю сюда и славу его проповедей и надгробных речей. Через посредство наших дам он добился звания главного священника короля, которому, в свою очередь, было лестно иметь у себя епископа на жалованье, да еще на очень маленьком жалованье. Однако этот епископ явился лишь в 1750 году. Он начал с того, что влюбился в г-жу де Буфлер, и его прогнали. Гнев его обрушился на Людовика XV, племянника Станислава: вернувшись в Труа он захотел играть роль в дурацкой истории исповедных билетов, выдуманных архиепископом Парижским, Бомоном. Он вступил в борьбу с парламентом и задевал короля. Это было плохое средство платить свои долги; но это было средство попасть под арест. Король Франции отправил его под конвоем в Эльзас и приказал заключить в немецкий монастырь. Но вернемся к тому, что касается меня.

Г-жа дю Шатле умерла во дворце Станислава, прохворав два дня. Мы все были так потрясены, что никто не подумал послать ни за местным священником, ни за иезуитом, чтобы причастить ее. Оно не узнала ужаса смерти, ее почувствовали только мы. Я был в ужасном горе. Добрый король

Станислав пришел в мою комнату утешать меня и плакать со мной. Не многие из собратьев его сделают это при подобных обстоятельствах. Он хотел удержать меня при себе; но Люневиль сделался для меня невыносим, и я вернулся в Париж.

Мне на роду было написано метаться от одного короля к другому, хотя я страстно любил свободу. Король Прусский, которому я часто говорил, что никогда не расстанусь для него с г-жою дю Шатле, во что бы то ни стало хотел привлечь меня к себе, когда избавился от своей соперницы. Он наслаждался в то время морем, приобретенным путем побед, и досуги его были заняты сочинением стихов или писанием истории своей страны и своих походов. Он был не на шутку убежден, что его стихи и его проза в сущности несравненно лучше моих, но считал, что я в качестве академика могу придать некоторый лоск его сочинениям, и старался заманить меня к себе самыми лестными обещаниями.

Возможно ли противиться королю — победителю, поэту, музыканту, вдобавок делающему вид, что меня любит. Мне и самому показалось, что я его люблю, и вот наконец я снова направил свой путь к Потсдаму в июне 1750 году. Я был принят великолепно. Меня поместили в покои, в которых прежде жил маршал Саксонский, в моем распоряжении были королевские повара, когда я хотел обедать у себя, и королевские кучера, когда мне хотелось кататься — все это было малейшей из оказываемых мне милостей. Ужины были весьма приятны. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что за ними говорилось много остроумного: король был ост-

роумен и вызывал остроумие. Самое удивительное при этом то, что я никогда не чувствовал себя более свободным за столом. Я работал каждый день два часа с его величеством; я исправлял все его работы, никогда не забывая усердно хвалить то, что в них было хорошего, в то время как вычеркивал то, что никуда не годилось. Я все поправки объяснял ему письменно, и эти письма составили ему руководство к риторике и поэтике для его личного употребления. Он воспользовался моими замечаниями, но его гениальный ум помогал ему гораздо более, чем мои уроки.

Придворный этикет меня не касался; делать визиты, исполнять какую-нибудь должность мне было не нужно. Я создал себе жизнь полную свободы и находил, что ничего более приятного не может быть. Фридрих, заметив, что у меня начинает кружиться голова, удвоил опьяняющие напитки, чтобы очаровать меня окончательно. Последним соблазном было письмо, посланное им из своей комнаты в мою. Любовница не может выражаться с большей нежностью. Он старался в этом письме рассеять опасение, внушаемые мне его саном и его характером. Там стояли, между прочим, следующие слова: «Как могу я сделаться причиной несчастья человека, которого уважаю, люблю, который пожертвовал для меня родиной и всем, что есть у человека самого дорогого? Я почитаю вас как наставника в красноречии. Я люблю вас как добродетельного друга. Какого рабства, какого несчастья, какой перемены можете вы опасаться в стране, где вас уважают так же, как у вас на родине, и в гостях у друга, одаренно-

го благодарным сердцем? Я относился с уважением к дружбе, связывавшей вас с г-жою дю Шатле; но после нее я был вашим старейшим другом. Я обещаю вам, что вы будете счастливы здесь, пока я жив».— Вот письмо, которое немногие государи способны написать.

Это был последний бокал, который меня опьянил окончательно. Словесные изъявления были еще более энергичны, чем письменные. У него была привычка странным образом выражать свою нежность к более молодым, чем я, фаворитам, и он, забывая на минуту, что я не был их возраста, и что рука моя некрасива, взял ее, чтобы поцеловать. Я поцеловал тогда его руку и сделался его рабом. Чтобы служить двум господам, необходимо было разрешение короля Франции. Король Прусский взялся выхлопотать это разрешение. Он написал моему королю по этому поводу. Я не мог себе представить, чтобы в Версале могли обидеться тем, что ординарный камергер, самое ненужное существо при дворе, сделался таким же ненужным камергером в Берлине. Мне дали полное разрешение, но были весьма недовольны, и мне этого не простили. Я разгневал против себя короля Франции, не сделавшись более приятным королю Пруссии, который в глубине души насмехался надо мной.

И вот я очутился с серебряным ключом на кафтане, с крестом на шее и с двадцатью тысячами франков пенсии в кармане. Мопертюи со злости захворал, а я этого и не заметил. В Берлине был в то время врач по имени Ламметри, самый отъявленный атеист всех медицинских факультетов Европы;

впрочем, человек веселый, забавный, легкомысленный, знавший теорию не хуже других своих собратьев и, безусловно, самый плохой врач в мире на практике; но он, слава Богу, не практиковал. Он высмеял всех парижских профессоров и лично затронул в своих сочинениях многих лиц, которые этого ему не могли простить и добились указа об его аресте. Поэтому Ламметри бежал в Берлин, где всех забавлял своей веселостью. В своих писаниях он самым дерзким образом оскорблял мораль. Сочинения его понравились королю, который сделал его не своим доктором, а своим чтецом. Однажды по окончании чтения Ламметри, говоривший королю все, что ему приходило в голову, сказал ему, что он завидует моему положению и моему состоянию. «Полноте,— сказал ему король,— апельсин выжимают и бросают, выпив из него сок». Ля-Метри поспешил передать мне это прекрасное изречение, достойное Диониса Сиракузского.

С этих пор я решил припрятать апельсиновую корку. У меня было в запасе приблизительно триста тысяч ливров. Я не решился, разумеется, вложить этот капитал во что-либо во владениях Фридриха, а выгодно поместил его в земельные участки, которыми герцог Вюртембергский владел во Франции. У короля, распечатывавшего мои письма, явилось подозрение, что я не рассчитываю остаться у него. А между тем страсть к стихотворству обуяла его так же, как царя Диониса. Мне приходилось беспрестанно исправлять его стихи и кроме того просматривать его «Историю Бранденбурга» и все, что он писал. Ламметри умер, съев у французского послан-

ника, милорда Тирконеля, целый пирог, начиненный трюфелями, после большого обеда. Говорили, что он перед смертью исповедовался. Король был возмущен и расспрашивал, как было дело. Его уверили, что это ужасная клевета, и что Ламметри умер так же, как жил, отрицая Бога и докторов. Его величество был доволен и тотчас сочинил ему надгробное слово, которое приказал своему секретарю Дорже прочитать от его имени на публичном собрании в Академии. Он дал, кроме того, пенсию в шестьсот ливров публичной женщине, которую Ламметри привез с собою из Парижа, оставив там жену и детей.

Мопертюи, знавший анекдот о выжатом апельсине, теперь принялся распространять слух о том, будто я сказал, что должность атеиста при короле вакантна. Эта клевета не удалась; но он прибавил к этому, что я нахожу стихи короля плохими, и это имело успех. Я заметил, что после этого ужины короля были менее оживленны; мне давали меньше стихов для исправления — я попал в полную немилость.

Я не имел ни малейшего желания оставаться в Берлине. Я всегда предпочитал свободу всему остальному. Немногие литераторы думают так. Большинство из них бедны, а бедность ослабляет мужество, и всякий философ при дворе делается таким же рабом, как и каждый слуга короны. Я чувствовал, как должна была не нравиться моя свобода монарху, более абсолютному, нежели турецкий султан. Надо сознаться, что в домашнем обиходе это был забавный король. Он протежировал Мопертюи и высмеивал его более,

чем кого бы то ни было. Он начал писать против него и прислал мне свою рукопись с одним из исполнителей его тайных утех, с неким Марвицем. Он поднял на смех выдуманную им дыру к центру земли, его метод лечения намазыванием тела смолой, путешествие к Северному полюсу, латинский город и подлость его Академии, не возражавшей против насилия, которому подвергся бедный Кениг. Но так как девизом его было: *никакого шума, кроме того, который делаю я сам*, то он и приказал сжечь все, что было написано по этому поводу, кроме своего собственного сочинения.

Я отослал ему его орден, его камергерский ключ, его пенсию. Тогда он сделал все, что мог, чтобы удержать меня, я же сделал все возможное, чтобы уехать от него. Он возвратил мне орден и ключ и хотел, чтобы я отужинал с ним. Итак, я еще раз ужинал под дамокловым мечом, после чего уехал с обещанием вернуться и с твердым намерением не видать его никогда в жизни.— Таким образом, нас четверо бежали в короткое время: Шазо, Дарже, Альгаротти и я. Терпеть больше не было сил. Всякий знает, что в близости монархов приходится терпеть; но Фридрих уж слишком злоупотреблял своим преимуществом. Общество имеет свои законы, если это не законы льва и козы. Фридрих всегда преступал первый закон общества: никому не говорить ничего неприятного. Он же часто спрашивал своего камергера Польнитца, не переменить ли он веру еще в четвертый раз и предлагал сто экю за новое обращение. «Ах Боже мой, милый Польнитц,— говорил он,— я забыл, как звали того человека, ко-

торого вы обокрали в Гааге, продав ему поддельное серебро за настоящее: помогите-ка мне вспомнить». В том же роде было его обращение с бедным д'Аржаном. А между тем эти две жертвы остались. Польнитц, прожив все свое состояние, вынужден был глотать эти оскорбления, чтобы жить — другого хлеба у него не было, а у д'Аржана не было ничего, кроме его «Еврейских писем» и жены, по имени Кошуа. Она была плохая провинциальная актриса, такая некрасивая, что не могла заработать себе на жизнь никаким ремеслом, хотя и занималась несколькими. Что же касается Мопертюи, то так как он имел глупость поместить свой капитал в Берлине, не подумав, что лучше иметь сто экю в свободной стране, нежели тысячу в деспотическом государстве, ему поневоле приходилось оставаться в цепях, в которые он сам заковал себя. Оставив дворец Фридриха, я отправился на месяц к герцогине Саксен-Готской, самой доброй, самой кроткой, самой умной из всех принцесс, которая, слава Богу, стихов не писала. После нее я гостил с неделю у ландграфа Гессенского, который был еще дальше от поэзии, чем герцогиня Готская. Я отдохнул. Продолжая мой путь, я добрался до Франкфурта.

Во Франции надо быть или молотом, или наковальней: я родился наковальней. Унаследованное от родителей достояние уменьшается с каждым днем, потому что с течением времени цены на все повышаются и правительство не раз уже коснулось рент и денежных бумаг. Надо внимательно следить за всеми операциями, которые проделывает над госу-

дарственными финансами вечно задолженное и неустойчивое министерство. Такими операциями всегда кто-либо может воспользоваться, не прибегая ни к чьему покровительству, а на свете нет ничего более приятного, как составить самому свое богатство: первый шаг бывает труден, дальнейший же путь легок. Надо быть бережливым в молодости и тогда в старости, к собственному удивлению, находишь у себя капитал. В это время достаток особенно необходим; и как раз в это время я и наслаждаюсь им. Пожив у королей, я сам сделался королем у себя дома, несмотря на понесенные мною громадные потери. С тех пор, как я живу среди своей спокойной роскоши и в полной независимости, король Прусский снова вернулся ко мне: в 1755 году он прислал мне оперу, написанную им на сюжет моей трагедии «Меропа»: это, без сомнение, самое скверное из его произведений. С тех пор он стал писать мне письма. Я всегда состоял в переписке с его сестрой, маркграфиней Байрейтской, сохранившей ко мне неизменную благосклонность.

В то время как я наслаждался в своем убежище самой приятной жизнью, какую только можно представить себе, я испытывал некоторое философское удовлетворение, видя, что властители Европы не пользуются таким приятным спокойствием. Из этого я вывел заключение, что положение частного лица часто бывает предпочтительнее положения самых сильных монархов, как вы это сейчас увидите.

Англия затеяла в 1756 году поистине разбойничью войну с Францией из-за нескольких десятин снежных полей. В это

же время императрица и королева Венгрии выказала желание вернуть себе дорогую ее сердцу Силезию, отнятую у нее прусским королем. По этому поводу она вела переговоры с русской императрицей и польским королем,— только как с курфюрстом Саксонским, так как с поляками переговоров вести нельзя. Король Франции, с своей стороны, хотел выместить на ганноверских землях вред, причиняемый ему на море королем Англии. Фридрих, бывший в то время в союзе с Францией и глубоко презиравший наше правительство, предпочел вступить в союз с Англией и соединился с ганноверским домом, рассчитывая одной рукой помешать русским вступить в Пруссию, а другой — французам вторгнуться в Германию. Он ошибся в обоих предположениях; но у него была еще третья идея, в которой он не обманулся: он задумал занять, под предлогом дружбы, Саксонию и воевать с императрицей, королевой Венгрии, на деньги, отнятые у саксонцев. Маркграф Бранденбургский этим маневром изменил положение Европы. Король Франции, желая удержать его своим союзником, послал к нему герцога Нивернуа, человека остроумного, писавшего красивые стихи. Посольство герцога, пэра Франции и поэта, должно было, казалось бы, польстить Фридриху: он поднял короля Франции на смех и подписал договор с Англией в тот самый день, когда посланник приехал в Берлин. Он весьма учтиво обошел герцога и пэра и сочинил эпиграмму на поэта.

Урожденная Пуассон, г-жа Ленорман, маркиза Помпадур, была фактически первым министром Франции. Неко-

торые оскорбительные замечания по ее адресу со стороны Фридриха, не щадившего ни женщин, ни поэтов, уязвили маркизу в самое сердце и не мало способствовали тому перевороту в делах, который моментально соединил дома Франции и Австрии, считавшиеся в течение двухсот лет непримиримыми врагами. Французский двор, стремившийся в 1741 году, раздавить Австрию, оказывал ей в 1756 году поддержку. Наконец, Франция, Россия, Швеция, Венгрия, половина Германии — все это поднялось против одного маркграфа Бранденбургского. Государь этот, дед которого с трудом мог содержать 20 тысяч человек пехоты, имел сто тысяч пеших и сорок тысяч конных солдат, отлично обученных и снабженных всем необходимым. Но ведь против него было 400 тысяч человек под ружьем!

В этой войне каждая сторона захватила прежде всего все, что могла захватить. Фридрих захватил Саксонию, Франция — владения Фридриха от Гельдерна до Миндена на Везере и завладела на некоторое время всем избирательным княжеством Ганноверским и Гессенским, союзным Фридриху. Русская императрица заняла всю Пруссию. Король Прусский потерпел поражение от русских; сам побил австрийцев и затем был ими побит в Чехии 18 июня 1757 года (при Коллине).

Казалось, потеря одного только сражения должна была совершенно уничтожить этого монарха. Теснимый со всех сторон русскими, австрийцами и французами, он сам считал себя погибшим. Маршал Ришелье заключил с Ганновером и Гессеном договор, похожий на договор Кавдинского ущелья[4].



Фридрих II Прусский. *Гравюра XVIII века*

Войска их должны были бездействовать; маршал готовился уже вступить с 60-тысячным войском в Саксонию; принц Субиз должен был вступить в нее с другой стороны с 30 тысячами. Ему, кроме того, помогали австрийцы. Отсюда намеревались двинуться на Берлин. Австрийцы выиграли второе сражение и уже вступили в Бреслау. Один из их полководцев даже доходил до Берлина и обложил его контрибуцией. Казна прусского короля была почти истощена, и скоро у него не осталось бы ни одного селения. Его готовились объявить опальным в Империи; процесс его уже начался; он был объявлен бунтовщиком, и если бы он попался в руки неприятеля, то, по всей вероятности, был бы приговорен к смертной казни.

В таком ужасном положении ему пришло в голову покончить с собой. Он написал своей сестре, маркграфине Байрейтской, что хочет лишить себя жизни. Но он не хотел закончить пьесу своей жизни, не написав стихов; страсть к поэзии была в нем сильнее ненависти к жизни. Поэтому он написал маркизу д'Аржанс длинное послание в стихах, сообщая ему о своем решении и прощаясь с ним. Он прислал мне это послание, написанное его собственной рукой. В нем попадаются двустишия, украденные у Шолье и у меня. Мысли в нем спутаны, стихи в общем плохи, но есть и не дурные. Написать послание в двести плохих стихов в том состоянии, в котором он находился — не шутка. Ему хотелось, чтобы сказали потом, что он вполне сохранил присутствие духа и свободу мысли в такую минуту, когда другие смертные обыкновенно

плохо владеют собой. Письмо его ко мне выражает те же чувства; но в нем менее «мирт и роз» и «глубокой печали». Я старался в прозе отклонить его от решения покончить с собой, как он говорил, и мне не стоило большого труда убедить его сохранить жизнь. Я посоветовал ему вступить в переговоры с маршалом Ришелье, подражая герцогу Камберлендскому. Одним словом, я позволил себе все, что можно позволить себе по отношению к отчаявшемуся поэту, готовому потерять свое царство.

Он действительно написал маршалу Ришелье; но, не получив ответа, решился напасть на нас и сообщил мне, что готовится сразиться с принцем Субиз. Письмо его оканчивалось стихами, более соответственными его положению, его достоинству, его мужеству и его уму.

Выступая против французских и императорских войск, он написал маркграфине Байрейтской, своей сестре, что идет на смерть. Но он был счастливее, нежели говорил и думал. 5 ноября 1757 года он дождался неприятеля в довольно выгодном месте, при Росбахе, на границе Саксонии. Так как Фридрих все еще говорил о том, что хочет быть убитым, то он хотел, чтобы его брат, принц Генрих, выполнил его план, став во главе пяти батальонов пруссаков, которые должны были вынести первый напор неприятельских армий, тогда как артиллерия его будет их обстреливать, а его кавалерия нападет на их конницу. Действительно, принц Генрих был легко ранен в шею, и это был, кажется, единственный пруссак, раненный в этот день. Французы и австрийцы бежали при первом зал-

пе. Это было самое полное поражение, когда-либо отмеченное историей. Битва при Росбахе надолго останется знаменитой. Тридцать тысяч французов и двадцать тысяч императорских войск обратились в постыдное бегство при встрече с пятью батальонами и несколькими эскадронами. Поражения при Азенкуре, Кресси и Пуатье не были столь унизительными. Настоящей причиной этой странной победы были дисциплина и обучение войска, установленные отцом и укрепленные сыном. Прусское военное обучение усовершенствовалось в течение пятидесяти лет. Ему захотели подражать как во Франции, так и в остальных государствах; но в три-четыре года нельзя было сделать с плохо поддающимися дисциплине французами то, что сделано было в пятьдесят лет с пруссаками. Во Франции меняли даже маневры чуть ли не на каждом смотру, так что офицеры и солдаты, плохо обучившись новым, совершенно несходным между собой приемам, ровно ничего не знали и не имели в сущности ни дисциплины, ни знания. Поэтому при одном лишь виде пруссаков все побежали без оглядки, и счастье дало возможность Фридриху в течение четверти часа перейти от отчаяния к радости и славе. Однако он сильно опасался, что счастье это будет непродолжительным. Он боялся, что должен будет выдержать всю тяжесть могущества Франции, России и Австрии, и ему хотелось поссорить Людовика XV с Марией-Терезией.

Роковая битва при Росбахе вызвала во всей Франции ропот против договора аббата Берни с венским двором. Кар-

динал де Тонсен, архиепископ Лионский, сохранивший еще титул первого министра, вел частную переписку с королем Франции: он более, чем кто-либо, был противником союза с австрийским двором. Он оказал мне в Лионе такой прием, которым я, как он знал, не мог остаться довольным. Однако страсть вмешиваться в интриги, не покидавшая его и на покое и вообще не оставляющая, как говорят, людей, пользовавшихся однажды значением, заставила его войти со мной в дружбу с целью побудить маркграфиню Байрейтскую довериться ему и отдать в его руки интересы ее брата, короля. Ему хотелось помирить прусского короля с французским и тем восстановить мир. Маркграфиню и брата ее нетрудно было склонить к этим переговорам, и я взял их на себя тем охотнее, что предвидел полную неудачу.

Маркграфиня написала кардиналу от имени своего брата, короля. Через мои руки проходили все письма маркграфини и кардинала. Я имел удовольствие быть посредником в этом важном деле и еще, может быть, большее удовольствие предвидеть, что мой кардинал готовит себе большие неприятности. Он написал прекрасное письмо королю и переслал ему письмо маркграфини, но, к его удивлению, король весьма сухо ответил ему, сообщив, что статс-секретарь иностранных дел сообщит ему о его решении. И действительно аббат Берни продиктовал и отправил кардиналу ответ, который тот должен был дать маркграфине,— это был резкий отказ вступить в переговоры. Кардинал должен был подписать подлинник письма, которое прислал ему аббат Берни. При-

слав мне это печальное письмо, оканчивавшее все хлопоты, он умер от огорчения две недели спустя.

Я никогда не мог понять, как это умирают от огорчения и как министры и старые кардиналы, у которых такая жесткая душа, бывают настолько чувствительны, чтобы быть пораженными насмерть маленькой неприятностью. Я имел намерение посмеяться над ним, досадить ему, но вовсе не хотел уморить его.

Ганноверцы, брауншвейгцы, гессенцы не были столь верными своим договорам, и это им послужило на пользу. Они условились с маршалом Ришелье, что не будут служить против нас, что они перейдут обратно Эльбу, на которую их прогнали, они нарушили свой договор, как только узнали, что мы разбиты при Росбахе. Отсутствие дисциплины, дезертирство, болезни уничтожали нашу армию, и результатом всех наших военных операций оказалось весной 1758 года то, что мы потеряли в Германии триста миллионов деньгами и пятьдесят тысяч людьми, сражаясь за Марию Терезию, т.е. столько же, сколько в войне 1741 года, когда сражались против нее. Король Прусский, разбив нашу армию при Росбахе в Тюрингии, двинулся против австрийских войск, стоявших за шестьдесят миль оттуда. Французы могли бы еще вступить в Саксонию, так как победители были в другом месте Германии, и ничто не остановило бы французское войско, но они побросали оружие, растеряли пушки, боевые запасы, съестные припасы, а главное, потеряли голову — и рассеялись. С трудом были собраны остатки войск, Фридрих же,

месяц спустя, день в день, выигрывает близ Бреславля новое сражение, более значительное и при большем сопротивлении австрийцев. Он берет назад Бреслау и пятнадцать тысяч пленных, остальная Силезия присоединяется к нему; Густав Адольф не совершал более блестящих подвигов. Как было не простить Фридриху его стихов, его коварных шуток и даже его прегрешений против женского пола. Все недостатки человека стушевались перед славой героя.

Делис, 6 ноября 1759 г.

Я забросил эти «Мемуары», считая их столь же ненужными, как и «Письма» Вейля к своей дорогой матушке, как «Жизнь Сент-Эвремона», описанная Демезо, и автобиография аббата де Монтон. Но многое, что кажется мне забавным или новым, снова внушает мне нелепое желание говорить с самим собой о себе.

Я вижу из моих окон город, где властвовал Жан Шовен — пикардиец, прозванный Кальвином, и ту площадь, где он приказал сжечь Серве ради спасения его души. Почти все священники этой страны думают теперь так же, как Серве, и идут даже далее, чем он. Они вовсе не веруют в Христа, как в Бога, и те же господа, которые в прежние времена уничтожили чистилище, теперь смягчились до того, что прощают души, заключенные в аду. Они утверждают, что их мучения не будут вечны, и таким образом, ад, в который они более не верят, они превратили в чистилище, в которое не верили прежде. Это недурной переворот в истории

человеческого ума. Можно бы было из-за этого произвести резню, зажечь костры, устроить Варфоломеевскую ночь, а между тем, люди даже не поругались, до такой степени изменились их нравы. Один только из этих проповедников отчитал меня за мое замечание, что пикардиец Кальвин был очень жестокий человек, который совсем напрасно сжег Серве. Полюбуйтесь, пожалуйста, на противоречие сего мира: эти люди почти открыто принадлежат к секте Серве, а меня ругают за то, что я порицаю Кальвина, сжегшего его на медленном огне из зеленых ветвей.

Они формальным образом хотели доказать мне, что Кальвин был добрый человек и просили Женевский совет сообщить им документы, относящиеся к процессу Серве. Однако совет был разумнее их и отказал им в выдаче бумаг. Им не позволили даже писать против меня в Женеве. Я смотрю на эту маленькую победу как на доказательство прогресса мысли в наш век.— Философия одержала в Лозанне еще более значительную победу над своими врагами. Некоторые пасторы вздумали скомпилировать какую-то дрянную книгу против меня, как они выразились, во славу христианской веры. Я без труда нашел средство арестовать экземпляры и изъять их из продажи, по решению суда: это был, вероятно, первый случай, когда теологов заставили молчать и отнестись с уважением к философу. Судите же, как мне не питать страстной любви к этой стране! Мыслящие существа, уверяю вас, что весьма приятно жить в такой республике, где можно сказать правителям ее: «Приходите завтра ко мне обе-

дать». Тем не менее, я все еще не чувствовал себя достаточно свободным, и, по-моему, особенного внимание заслуживает то обстоятельство, что я, дабы быть совершенно свободным, купил себе землю во Франции. Такая удобная для меня собственность находилась в одной миле от Женевы и некогда пользовалась всеми привилегиями этого города. Я имел счастье получить от короля патент, сохранявший за мной эти привилегии. Одним словом, я так хорошо устроил свои дела, что сделался совершенно независимым одновременно и в Швейцарии, на женевской территории, и во Франции. О свободе много толкуют, но мне кажется, что нет в Европе человека, который приобрел бы себе такую свободу, как я. Пусть следует моему примеру, кто может.

Разумеется, я не мог выбрать лучшего времени для того, чтобы добиваться этой свободы, а также спокойствие вдали от Парижа. Там люди были столь же безумны и так же ожесточенно спорили о пустяках, как во времена Фронды. Не хватало только гражданской войны; но так как в Париже не было ни короля рынка, каким был герцог Бофор, ни епископа, благословляющего кинжалом, то дело ограничивалось мелочными придирками, начавшимися банковыми билетами на тот свет, выдуманными, как я уже сказал, архиепископом парижским Бомоном. Это был человек упорный, делающий зло от всего сердца, от избытка рвения, помешанный, блаженный, во вкусе Фомы Кентерберийского. Ссора разгорелась из-за места в госпитале, на которое парламент считал себя вправе назначать от себя и которое архиепископ

считал священным, зависящим исключительно от Церкви. Весь Париж принял участие в споре. Маленькие янсенистские и молинистские партии не щадили друг друга. Король вздумал поступить с ними так, как поступают иногда с людьми, которые дерутся на улице: их обливают холодной водой, чтобы разогнать. Он объявил, что обе партии не правы, как оно, разумеется, и было; но это только подлило масла в огонь. Он выслал архиепископа, выслал парламент; но господин не должен прогонять своих слуг прежде, чем найдет себе других. Двор вскоре принужден был вернуть парламент, так как палата, из государственных советников и докладчиков, учрежденная под названием Королевской палаты для судопроизводства, не могла найти себе применения. Парижане взяли себе в голову, что не будут судиться иначе, как перед судом, называемым парламентом. Поэтому все члены его были призваны обратно и вообразили себе, что одержали победу над королем. Они дали ему отеческое наставление, что в другой раз не следует изгонять парламент, так как, говорили они, это может служить дурным прецедентом. Одним словом, они вели себя так, что король решил кассировать хотя бы одну из их палат и реформировать остальные. Тогда все эти господа подали в отставку, за исключением главной палаты. Начался ропот: в суде открыто осуждали короля.

К сожалению, пламя, обуявшее все головы, подожгло мозги одного лакея, по имени Дамиен, часто входившего в главную залу. Процесс этого фанатика суда доказал, что он вовсе не имел намерения убить короля, а хотел лишь слегка наказать

его. Чего только ни приходит человеку в голову! Этот несчастный был прежде сторожем в иезуитском училище, где я нередко видел, что ученики пускают в ход перочинные ножи, а сторожа отвечают им тем же. Итак, Дамиен отправился в Версаль и ранил короля, окруженного своими телохранителями и придворными, маленьким ножичком, которым чинят перья (5 января 1755 г.). В первую минуту, под впечатлением ужаса, это преступление приписали иезуитам, которым, как говорили, такие дела были издавна привычны. Преступник, естественно, подлежал суду главного придворного судьи, так как покушение совершено было в стенах королевского дворца. Несчастный начал с того, что обвинил семь членов следственной комиссии. Стоило только оставить обвинение в силе и казнить преступника: этим король навсегда делал парламент ненавистным и приобретал над ним преимущество столь же прочное, как и монархия. Полагают, что д'Аржансон уговорил короля дозволить парламенту вести судопроизводство. Он получил за это хорошую награду: неделю спустя он был лишен имущества и сослан.— Король имел слабость дать крупные пенсии советникам, которые вели процесс Дамиена, как будто они оказали выдающуюся и трудную услугу. Такой образ действий внушил еще более смелости господам следователям. Они вообразили себя очень важными лицами, и в них пробудилась мечта сделаться представителями нации и опекунами королей. Когда процесс окончился, им нечего было более делать, и они принялись преследовать философов.

Омер Жоли де Флери, главный адвокат Парижского парламента, явил собой перед собранием палат полнейшее тор-

жество невежества, недобросовестности и лицемерия. Несколько ученых литераторов соединились для составления громадного словаря, имевшего целью просвещение человеческого ума. Это было большое коммерческое предприятие для книжной торговли Франции. Канцлер, министры оказывали содействие этому прекрасному предприятию. Появилось уже семь томов издания; их переводили на итальянский, английский, немецкий, голландский языки, и это сокровище, открытое французами для всех народов, могло считаться делом, приносящим нам наивысшую честь, так как прекрасные статьи «Энциклопедического словаря» вполне искупали плохие, попадающиеся в довольно большом числе. Это издание можно было упрекнуть разве только в излишнем фразерстве, которого, к сожалению, придерживались авторы, желавшие, во что бы то ни стало, увеличить размеры книги. В остальном же произведения этих авторов прекрасны.

И вот Омер Жоли де Флери 23 февраля 1759 года обвинил этих людей в том, что они атеисты, деисты, развратители юношества, бунтовщики и т. п. В доказательство обвинений Омер цитирует апостола Павла, процесс Теофиля и Авраама Шоме[5]. Омер только не прочел книги, против которой он говорил, а если он читал, то значит был круглый дурак. Он жалуется суду на статью «Душа», проповедующую, по его мнению, чистейший материализм. Заметьте, что статья «Душа» самая плохая из всей книги, написана одним доктором Сорбонны (аббат Ивон), который из кожи лезет вон, чтобы без смысла и без толка ратовать против материализма. И вся

речь Омера Жоли де Флери была соткана из подобных промахов. Итак, он отдает под суд книгу, которой не читал или которой не понял, и весь парламент, по просьбе Омера, осуждает весь труд не только без рассмотрения его, но даже не прочитав ни единой страницы.

Издатели имели привилегию от короля. Парламент, разумеется, не имеет права переделывать привилегий, данных его величеством; его ведению не подлежат ни решения совета, ни все, что скреплено печатью канцлера; а между тем, он присвоил себе право осудить то, что одобрил канцлер, и назначил советников, чтобы разрешать вопросы по геометрии и метафизике, заключающиеся в «Энциклопедии». Канцлер с более твердым характером кассировал бы приговор парламента, как совсем не компетентного суда; но канцлер Ламуаньон отменил привилегию, чтобы избежать позора — видеть преданным суду и осужденным то, что он разрешил своей властью. Можно бы подумать, что это относится к временам аббата Гарасса и указов против рвотного, а между тем это случилось в самый просвещенный век, когда либо бывший во Франции. Это оправдывает поговорку, что довольно одного дурака, чтобы обесчестить нацию. При подобных условиях каждый без труда признает, что философу в Париже жить нельзя, и что Аристотель поступил умно, удалившись в Халкиду в то время, когда фанатизм свирепствовал в Афинах. К тому же звание литератора в настоящую минуту в Париже немногим выше звание фигляра, а звание ординарного камергера, которое король оставил за

мной, тоже немногого стоит. Люди ужасно глупы, и мне кажется гораздо лучше построить прекрасный замок, как сделал я, давать в нем театральные представления и жить в свое удовольствие, нежели выносить в Париже преследование, как Гельвециус, от людей, заседающих в суде парламента, и от людей, заведующих конюшнями Сорбонны. Так как я, конечно, не мог сделать ни людей более разумными, ни парламент менее педантичным, ни теологов менее нелепыми, то продолжал жить счастливо вдали от них.

Мне как будто даже стыдно быть счастливым, наблюдая из гавани бури; я вижу: Германию, залитую кровью, Францию разоренную в конец, нашу армию, наш флот разбитыми, вижу министров, увольняемых один за другим без всякой пользы для наших дел; король Португальский убит, не лакеем, а грандами, и на этот раз иезуиты не могут уже сказать: это не мы сделали. Они сохранили свои права, а с тех пор было точно доказано, что святые отцы благочестиво вложили нож в руки отцеубийцы. В свое оправдание они говорят, что, будучи царями в Парагвае, они поступили с королем Португальским как равные с равным.

Я хочу здесь рассказать маленькое приключение, наиболее странное из когда-либо случавшихся на земле с тех пор, как существуют поэты и короли. Фридрих, долгое время охранявший границу Силезии в совершенно неприступной местности, соскучился и, чтобы убить время, сочинил оду против Франции и против короля. В начале 1759 года он прислал мне эту оду, подписанную: *Фридрих*, вместе с тол-

стым пакетом стихов и прозы. Открываю пакет и вижу, что он был уже вскрыт раньше, чем дошел до меня: очевидно, по дороге его распечатали. Я задрожал от страха, прочитав эти стихи, оскорбительные для короля и маркизы Помпадур, между которыми попадались и весьма недурные или такие, которые могут сойти за хорошие. К несчастью, всем было известно, что я поправлял стихи прусского короля. Так как пакет был вскрыт по дороге, то стихи проникнут в публику, король Франции подумает, что я их автор, и я окажусь виновным в оскорблении величества, а что еще хуже,— в оскорблении г-жи де Помпадур.

В этом затруднительном положении я пригласил к себе французского резидента в Женеве и показал ему пакет; он признал, что пакет был вскрыт раньше. Он думает, что в таком деле, за которое можно поплатиться головой, мне ничего не остается, как только послать этот пакет первому министру, герцогу Шуазелю. При других условиях я бы этого не сделал; но надо было отвратить грозящую мне погибель. Я давал возможность двору ознакомиться с характером его врага. Но я знал, что герцог Шуазель не злоупотребит моим доверием и ограничится тем, что убедит короля Франции в том, что прусский король его непримиримый враг, которого, по возможности, необходимо уничтожить. Герцог Шуазель этим не ограничился. Это человек большого ума, он пишет стихи и имеет друзей, которые также пишут стихи. Он отплатил прусскому королю той же монетой и прислал мне оду против Фридриха, столь же злую и ядовитую, как и ода Фридриха против нас.

Прислав мне этот ответ, герцог уверял меня, что напечатает его, если король прусский напечатает свою оду, и что мы побьем Фридриха пером так же, как надеемся побить его оружием. Я мог бы, если бы захотел, доставить себе это удовольствие — видеть, как король Французский и король Прусский ведут между собой войну стихами — это было бы еще никем в мире невиданное зрелище. Но я доставил себе иное удовольствие, выказав себя благоразумнее Фридриха: я написал ему, что ода его прекрасна, но что он не должен отдавать ее на суд публики; ему этой славы не нужно, и он не должен закрывать себе пути к примирению с королем Франции, не должен окончательно озлоблять его и принуждать напрячь все свои усилия, чтобы отомстить. Я прибавил, что моя племянница сожгла его оду, смертельно опасаясь, чтобы ее не приписали мне. Он поверил, поблагодарил меня и только слегка упрекнул за то, что я сжег самые лучшие стихи, какие только он написал в жизни. Герцог Шуазель, с своей стороны, сдержал слово и не обнародовал своей оды.

Чтобы довершить эту шутку, я вздумал положить в основу европейского мира эти два стихотворения, которые должны были продлить войну до тех пор, пока Фридрих не будет побежден. Эта идея родилась в моей голове благодаря переписке с герцогом Шуазелем и показалась мне столь забавной, столь достойной того, что происходило в то время, что я ухватился за нее. Я доставил сам себе удовольствие доказать на деле, как малы и слабы главные деятели, двигающие судьбы государств.

Герцог де Шуазель написал мне несколько официальных писем, составленных таким образом, чтобы не внушить Австрии опасений против Франции, Фридрих же старался писать мне такие, которые не могли бы его поссорить о лондонским двором. Эта щекотливая процедура все еще продолжается, она похожа на ужимки двух котов, которые, с одной стороны, выставляют бархатную лапку, а с другой — выпускают когти. Прусский король, потерпев поражение от русских и потеряв Дрезден, нуждается в мире; Франция, разбитая на суше ганноверцами, а на море англичанами и потерявшая весьма некстати свои деньги, вынуждена прекратить эту разорительную войну.

Делис, 27 ноября 1759 г.

Я продолжаю. Происходят самые удивительные вещи. Король Прусский писал мне 17 ноября: «Напишу вам более из Дрездена, где буду через три дня». А на третий день он был разбит маршалом Дауном и потерял 18 тысяч человек. Все, что я вижу, похоже на басню «Кувшин с молоком». Наш великий моряк Беррье, бывший прежде полицейским приставом в Париже и с этой должности попавший прямо на пост статс-секретаря и морского министра, никогда не видел другого флота, кроме галиота в Сен-Клу и дилижанса в Оксер,— Беррье, говорю я, забрал себе в голову соорудить эскадру и сделать высадку в Англию. Но только наш флот успел высунуть свой нос из Бреста, как был побит англичанами, разбит о скалы, уничтожен бурями и поглощен морем. Глав-

ным контролером финансов у нас был некий Силуэт, известный только тем, что перевел несколько стихов Попа. Его считали орлом; но менее, чем в четыре месяца, орел превратился в ворону. Он нашел секрет уничтожить кредит до такой степени, что в государстве вдруг не оказалось денег для уплаты войскам. Король был принужден послать свою посуду на монетный двор: большая часть государства последовала его примеру.

12 февраля 1760 г.

Наконец, после нескольких коварных проделок прусского короля, как, например, посылка в Лондон доверенных ему мною писем или попытка поссорить нас с нашими союзниками — коварства, позволительные могущественному государю, в особенности в военное время,— я получаю вдруг от короля Прусского мирные предложение в сопровождении стихов — без этого он обойтись не может. Посылаю их в Версаль, сомневаясь, чтобы их приняли: он не хочет ничего уступать и предлагает, чтобы для вознаграждения курфюрста Саксонского ему дали Эрфурт, принадлежащий курфюрсту Майнцкому: ему всегда надо кого-нибудь обобрать — такова его манера. Увидим, что выйдет из его замыслов, а главное — из предстоящей войны.

Так как к этой великой и страшной трагедии всегда примешивается комический элемент, то в Париже напечатали *Поэзии* короля Прусского. В них есть послание к Кейту, в котором автор сильно насмехается над бессмертием души

и над христианами. Ханжи, этим недовольные, кальвинистские пасторы ропщут. Эти педанты смотрели на него, как на поддержку религии; они восхищались им, когда он заключал в тюрьмы лейпцигских судей и продавал их должности, чтобы выручить деньги. Но с тех пор, как он перевел несколько отрывков из Сенеки, Лукреция и Цицерона, они смотрят на него как на чудовище. Попы способны сделать святым Картуша[6], если бы он стал богомольным.



Биографический очерк

Исторический комментарий, составленный под редакцией Вольтера его секретарем Ваньером в 1776 году, за два года до смерти Вольтера

В этих комментариях к жизни писателя я постараюсь говорить лишь о том, что может быть полезным для литературы, а главное, рассказать факты только на основании документов. Из обвинений и поистине бесчисленных восхвалений Вольтера мы остановимся лишь на тех, которые подтверждаются фактами.

Одни говорят, что Франсуа де Вольтер[7] родился 20 февраля, другие — 20 ноября 1694 года; существуют его медали, на которых отчеканены обе даты. Он не раз говорил нам,

что при рождении его не считали жизнеспособным. Его окрестили наскоро, церемония же крещения откладывалась в течение нескольких месяцев.

Хотя мне кажется, что нет ничего скучнее подробностей детской и школьной жизни, я, однако, должен заметить, что — но свидетельству его собственных записок и по общераспространенным слухам,— он уже в двенадцатилетнем возрасте написал стихотворение, свидетельствовавшее о недетском развитии его ума. Аббат де Шатонеф, большой друг знаменитой Нинон де Ланкло, представил ей мальчика, и эта весьма недюжинная женщина оставила ему 2 000 франков «на книги». Сумма эта была выплачена ему в точности.

Надо бы думать, что с этих пор влечение юноши к поэзии утвердилось окончательно. Однако сам он не раз говорил, что решению его способствовало, главным образом, то, что когда, по окончании курса в училище, отец его — бывший казначеем счетной палаты,— отправил его изучать законы в школу правоведения, юноша был так возмущен способом преподавания юриспруденции в этом заведении, что одно уже это обстоятельство побудило его всецело посвятить себя литературе.

Несмотря на свою юность, он был принят в обществе аббата Шолье, маркиза де ля Фар, герцога Сюлли, аббата Куртена. Он не раз говорил нам, что отец считал его погибшим, потому что он посещает высшее общество и пишет стихи.

На восемнадцатом году он начал писать трагедию «Эдип», в которой хотел, в подражание древнегреческой трагедии,

ввести хоры. Но актеры, служившие в то время при театре, не пожелали играть пьесу на сюжет, который уже раньше использован был Корнелем, и «Эдип» Вольтера был поставлен лишь в 1718 году, да и то только благодаря протекции. Молодой человек, который вел весьма рассеянный образ жизни, ни мало не заботился о том, будет ли иметь успех его пьеса. Он нередко дурачился на сцене и однажды, в самый трагический момент, в роли главного жреца, вздумал держать исполнителя этой роли за шлейф. Тогда жена маршала де Виллара, сидевшая в первой ложе, спросила, что это за молодой человек, который позволяет себе такие выходки, очевидно, для того, чтобы провалить пьесу? Ей ответили, что это сам автор. Она позвала его к себе в ложу, и с тех пор он оставался преданным другом маршала и его супруги до конца их жизни.

В поместье Виллар он был представлен герцогу де Ришелье и приобрел его расположение, оставшееся неизменным в течение шестидесяти лет.

Он начал писать «Генриаду» в Сент-Анже у управляющего финансами г-н де Комартен после того, как написал «Эдипа», и раньше, чем эта трагедия была поставлена на сцену; я не раз слышал от него, что, когда он начал писать эти два произведение, он не рассчитывал окончить их и не знал хорошенько ни правил трагедии, ни законов эпической поэзии. Но, пораженный тем, что рассказывал ему о Генрихе IV весьма сведущий в истории почтенный старик г-н де Комартен, страстный поклонник этого короля, Вольтер начал писать поэму в восторженном порыве, не обдумав ее как сле-

дует. Однажды он прочитал несколько песен поэмы в доме своего близкого друга, президента де Мезон. Слушатели рассердили его своими замечаниями, и он бросил рукопись в огонь. Президент Эно с трудом вытащил ее из пламени. «Помните,— говорил он потом в одном из своих писем к Вольтеру,— что это я спас «Генриаду» и что это стоило мне пары прекрасных манжет». Копии этой поэмы, которая была еще не разработана, несколько лет ходили по рукам. Затем она была напечатана с большими пробелами под заглавием «Лига».

В Париже все поэты и несколько ученых напали на него. Против него появилось двадцать брошюр; «Генриаду» играли на балаганных подмостках. Бывшему епископу де Фрежюс, воспитателю короля, сказали, это неприлично и даже преступно хвалить адмирала Колиньи и королеву Елизавету. Интрига против него была настолько сильна, что враги его побудили кардинала де Висси, бывшего в то время президентом Собрания духовенства, возбудить процесс против сочинения. Однако до такого странного процесса дело не дошло. Молодого автора эти интриги и удивили, и оскорбили. Его весьма рассеянный образ жизни не давал ему возможности сблизиться с литературным миром. Он не умел бороться интригой против интриги, что, как говорят, крайне необходимо в Париже, когда желаешь достигнуть чего бы то ни было.

В 1772 году он дал трагедию «Мариамна». Мариамну отравляет Ирод и когда она подносит чашу с ядом к устам, враждебная партия закричала: «Королева пьет!»[8] и провали-

ла пьесу. Эти беспрерывные преследования побудили его напечатать в Англии «Генриаду», для которой он не мог добиться во Франции ни успеха, ни покровительства.

Король Георг I, а в особенности принцесса Уэльская, сделавшаяся впоследствии королевой, собрали для него колоссальную подписку, что и послужило началом его богатства, так как возвратившись во Францию в 1728 году он поместил свои деньги в лотерею, основанную генеральным контролером финансов г-ном Дефором. В виде билетов выдавались ренты на Городскую Думу, а выигрыши выплачивались чистыми деньгами. Таким образом, общество, которое скупило бы все билеты, выиграло бы миллион. Он сделался членом многочисленной компании, и счастье улыбнулось ему. Это рассказывал мне один из членов, и я сам убедился в этом по записям в книгах. Господин де Вольтер писал этому человеку: «Дабы разбогатеть в этой стране, стоит только прочитать постановление совета. Редко бывает, чтобы в области финансов министр не был принужден делать такие распоряжения, которыми не попользовались бы частные лица».

Это не помешало ему, однако, заниматься литературой, которая была его преобладающей страстью. В 1730 году он дал своего «Брута», которого я считаю наиболее сильной из его трагедий, не исключая и «Магомета». Эта трагедия подверглась многим нападкам. В 1732 году я присутствовал на представлении «Заиры», и несмотря на то, что в театре много плакали, ее чуть не освистали. Ее пародировали в Италь-

янской комедии и в балагане. Ее называли *пьесой подкидышей* и *Арлекином на Парнасе*.

Когда один академик предложил г-на де Вольтера в заместители вакантного в то время места в Академии, о котором, впрочем, наш писатель и не помышлял, г-н де Боз ответил, что автор «Брута» и «Заиры» никогда не может попасть в Академию.

Он был тогда в связи со знаменитой маркизой дю Шатле, и они вместе изучали «Начала» Ньютона и систему Лейбница. Они несколько лет прожили в Сире — в Шампани. Здесь жил целых два года также знаменитый математик Кениг. Г-н де Вольтер выстроил там галерею, где производились все в то время известные опыты со светом и с электричеством. Однако эти занятие не помешали ему дать 27 января 1736 года трагедию «Альзира», или «Американцы», имевшую большой успех. Он приписал эту удачу своему отсутствию. Он говорил: Laudantur ubi non sunt, sed cruciantur ubi sunt. («Отсутствующих хвалят, а присутствующих порицают»).

С особенной яростью накинулся на «Альзиру» бывший иезуит Дефонтэн. Это довольно странная история: Дефонтен работал в «Журнале ученых» под руководством аббата Биньона и был уволен в 1723 году. Он стал издавать нечто вроде газеты за свой счет. Этот человек был то, что г-н де Вольтер называет «фолликуляр»[9]. Нравы его были известны всем. Его застали на месте преступления с маленькими савоярами и посадили в Бисетр[10]. Против него начался уже процесс, и его хотели сжечь, потому что Париж нуждался в подобном

примере. Господин де Вольтер выхлопотал для него покровительство маркизы де При. У нас имеется еще в руках одно из писем, которые Дефонтен писал своему избавителю. «Я никогда не забуду, чем я вам обязан: доброта вашего сердца превышает ваш ум; вся моя жизнь должна быть посвящена выражению моей благодарности к вам. Я умоляю вас еще о том, чтобы выхлопотать мне отмену приказа, который освободил меня из Бисетра и высылает за тридцать лье от Парижа».

А две недели спустя тот же человек печатает основанный на клевете памфлет против того, которому он обязывался посвятить свою жизнь. Это я узнаю из письма г-на Тиерио от 16 августа, письма, напечатанного в том же сборнике. Это тот самый аббат Дефонтен, который, чтобы оправдать себя, говорил графу д'Аржансону: «Ведь мне же жить надо»,— и которому граф д'Аржансон отвечал: «Не вижу в том необходимости». Это духовное лицо, после своего пребывания в Бисетре, уже не обращалось к маленьким трубочистам. Теперь Дефонтэн воспитывал в тех же принципах нонконформиста и фолликуляра — юных французов. Он учил их писать сатиры и сам сочинял с ними позорящие честь пасквили под заглавием «Вольтеромания» и «Вольтериана». Это был сброд нелепых басен, о которых можно судить по одному из писем герцога Ришелье за его собственноручной подписью. Оригинал этого письма отыскался у нас. Вот подлинные слова письма: «Книга эта пошла и плоска. Самое удивительное в ней то, что там говорится, будто г-жа де Ришелье подарила вам сто луи и карету при обстоятельствах, достойных

автора книги, но не вас. Однако этот замечательный человек забывает, что я был в то время вдовцом и женился лишь пятнадцать лет спустя» Подписано: *Герцог Ришелье* 8 февраля 1739 года.

Господин де Вольтер никогда даже и не пользовался всеми имевшимися у него подлинными доказательствами, и они несомненно погибли бы в ущерб его памяти, если бы мы не нашли их случайно среди хаоса его бумаг.

Мне попалось еще одно письмо министра иностранных дел маркиза д'Аржансона, который пишет: «Этот аббат Дефонтен дурной человек; его неблагодарность еще хуже тех преступлений, которые дали вам повод оказать ему услугу. 7 февраля 1739 года».

Вот с какими людьми приходилось иметь дело г-ну де Вольтеру. Он называл их «литературной сволочью». «Они живут,— говорил он,— пасквилями и преступлениями».

И действительно, мы видим, что подобного рода субъект, по имени аббат Маккарти, утверждавший, что он происходит от дворянского рода ирландских Маккарти, и считавший себя литератором, занял у него довольно крупную сумму и с этими деньгами отправился в Константинополь, где перешел в магометанство. По этому поводу г-н де Вольтер сказал: «Маккарти доехал только до Босфора; Дефонтен же пошел дальше — к берегам Содомского озера».

Однако все неприятности, невзгоды, клеветы, которые сыпались на него со всех сторон при появлении каждой пьесы, очевидно, не могли отвратить его от склонности к лите-

ратуре, так как он выпустил 10 октября 1736 года комедию «Блудный сын», хотя и не под своим именем, предоставив доходы с этой пьесы двум молодым ученикам своим — Линану и Ламару, которые приехали в Сире, где он жил тогда с маркизой дю Шатле. Он сделал Линана учителем сына г-жи дю Шатлэ, ставшего впоследствии генерал-лейтенантом армии и посланником в Вене и Лондоне. Комедия «Блудный сын» имела большой успех. Автор написал по этому поводу г-же Кино: «Вы умеете хранить чужие тайны так же, как ваши собственные. Если бы узнали, что автор — я, то пьеса была бы освистана. Людям не нравится, когда кто-либо достигает успеха на двух поприщах, Я нажил себе достаточное количество врагов "Эдипом" и "Генриадой"».

Тем не менее он в это же время начал работать в совершенно иной области: он писал «Элементы философии Ньютона», которые тогда еще мало были известны во Франции. Он не сумел заручиться покровительством канцлера д'Агессо, человека всесторонней учености, но воспитанного на системе Декарта; вследствие этого д'Агессо всеми силами боролся против новых открытий. Приверженность нашего писателя к учению Ньютона и Локка создала ему новых врагов. Господину Фалькенеру, тому, которому он посвятил «Заиру», он писал: «Все думают вообще, что французы любят новизну, но они любят ее только в кулинарном деле и в модах. Что же касается новых истин, то мы всегда их изгоняем и признаем их, наконец, лишь тогда, когда они устарели» и т. д.

В виде отдыха от занятий физикой он, шутя, писал поэму «Девственница». Мы имеем доказательства того, что эта шутка была написана целиком в Сире. Госпожа дю Шатле любила стихи так же, как геометрию, и знала в них толк. Хотя поэма эта и была написана в комическом духе, в ней, однако, находили более фантазии, нежели в «Генриаде». Но «Девственница» была самым наглым образом изнасилована грубыми нахалами, которые напечатали ее с невероятными сальностями. Единственными хорошими изданиями следует считать издания Крамера.

Из Сире пришлось уехать, чтобы хлопотать в Брюсселе по поводу процесса, который семья дю Шатле давно уже вела против семьи Гонсбрук и который мог разорить ту и другую стороны. Господину де Вольтеру, вместе с г-ном Рефельдом, удалось, наконец, прекратить тяжбу с помощью 130 тысяч франков французскими деньгами, которые были выплачены маркизу дю Шатле.

Несчастный и знаменитый Руссо находился в то время в Брюсселе. Госпожа дю Шатле не захотела видеть его. Она знала, что Руссо написал когда-то сатиру на ее отца, барона де Бретейля, в то время, когда он служил у него в лакеях. Свидетельством тому служит документ, написанный целиком рукою г-жи дю Шатле.

Оба поэта встретились и вскоре почувствовали друг к другу довольно сильное отвращение. Руссо показал противнику свою «Оду к потомству», и последний сказал ему: «Друг мой, это письмо никогда не дойдет по адресу». Эту коварную шутку Руссо никогда не мог простить ему. В одном письме к Ли-

нану г-н де Вольтер говорит: «Руссо презирает меня за то, что я иногда небрежно отношусь к рифме, я же презираю его за то, что он только и умеет, что подбирать рифмы!».

Чрезвычайные милости, которыми осыпал его король Прусский, вскоре заставили его забыть ненависть к Руссо. Король был также поэт; он обладал вообще всеми талантами своего сана и многими другими талантами, не относящимися к его положению. Между ним и нашим писателем давно уже установилась правильная переписка, когда король был еще наследным принцем. Некоторые из этих писем были напечатаны в сборниках, составленных из сочинений г-н де Вольтера.

Государь этот, при вступлении своем на престол, объехал все границы своих владений. Желание увидеть французские войска и посетить *инкогнито* Страсбург и Париж побудило его предпринять путешествие в Страсбург под именем графа дю Фура; но, будучи узнан солдатом, служившим в войсках его отца, он вернулся в Клев.

Многие в то время хранили в своем портфеле письмо в прозе и стихах, написанное этим монархом по поводу поездки в Страсбург. Изучение французского языка и французской поэзии, итальянской музыки, философии и истории было его утешением в невзгодах его юности. Это письмо является удивительным по легкости и грации произведением человека, который впоследствии одержал столько военных побед.

Но он написал в то время сочинение гораздо более серьезное и достойное великого монарха: это опровержение Макиавелли. Он прислал его г-ну де Вольтеру для напечатания

и назначил ему свидание в маленьком замке Мез, близ Клева. Господин де Вольтер сказал ему: «Государь, если бы я был Макиавелли и если бы я был допущен к молодому монарху, я бы прежде всего посоветовал ему писать против меня». После этого милости прусского государя к французскому писателю удвоились, и последний в конце 1740 году перед тем как король стал готовиться к походу в Силезию, отправился к его двору в Берлин.

Тогда кардинал Флери стал осыпать его ласками, на которые наш путешественник, по-видимому, не дался в обман.

Как бы то ни было, я ясно вижу, что г-н де Вольтер не имел ни малейшего желания составить себе карьеру политикой, так как тотчас же по приезде в Брюссель всецело предался своему любимому занятию — литературе. Он написал здесь трагедию «Магомет» и вслед за тем вместе с г-жой дю Шатле отправился ставить эту пьесу в Лилль, где была очень хорошая труппа, директором которой состоял писатель и актер Лану. Там играла, между прочим, и знаменитая Клерон, выказывавшая уже тогда большое дарование. Госпожа Дени, племянница автора, жена военного комиссара, бывшего капитана шампанского полка, занимала довольно видное положение в Лилле, находящемся в ведении ее мужа. Госпожа дю Шатле остановилась в ее доме. Я был свидетелем всех этих торжеств: «Магомет» был сыгран очень хорошо.

В одном из антрактов автору подали письмо от прусского короля, сообщившего ему о победе при Мольвице. Он прочел его публике. Раздались аплодисменты. «Вот увиди-

те,— сказал он,— что это письмо о Мольвице послужит к успеху моей пьесы».

Пьеса была представлена в Париже 19 августа того же года, и здесь более, чем когда-либо, обнаружилось, до каких крайностей может дойти зависть литераторов, в особенности в области театра. Аббат Дефонтен и некий Боннваль, которому г-н де Вольтер помогал в нужде, не будучи в состоянии провалить трагедию «Магомет», представили ее генеральному прокурору как пьесу, направленную против христианской религии. Дело зашло так далеко, что кардинал Флери посоветовал автору взять свою пьесу назад. Совет этот имел силу закона; но автор напечатал ее и посвятил папе Бенедикту XIV Ламбертини, который уже и раньше весьма благосклонно относился к нему. Папе рекомендовал его кардинал Пассионеи, знаменитый литератор, с которым он давно уже состоял в переписке. Мы имеем несколько писем этого папы к де Вольтеру. Его святейшество желал привлечь его в Рим, и Вольтер всю свою жизнь сожалел о том, что не видал этого города, который он называл столицею Европы.

«Магомет» появился снова на сцене лишь много времени спустя, благодаря хлопотам г-жи Дени и вопреки Кребильону, бывшему в то время театральным цензором и служившему под начальством полицейского комиссара. Пришлось взять цензором д'Аламбера. Этот маневр Кребильона показался порядочным людям довольно некрасивым. Пьеса эта оставалась на сцене в то самое время, когда театр находился в наибольшем пренебрежении. Автор сознавался, что не должен

бы был делать Магомета более дурным, чем этот великий человек был в действительности; «но если бы я сделал из него только политического героя,— писал он одному из своих друзей,— пьеса была бы ошикана. В трагедии нужны великие страсти и великие преступления... «Впрочем,— говорит он несколько далее,— genus implacabile vatum[11] преследует меня более, нежели преследовали Магомета в Мекке. Все толкуют о зависти и интригах, господствующих при дворах — в литературном мире их гораздо больше».

Вследствие всех этих неприятностей, г-да де Реомюр и де Меран советовали ему отказаться от поэзии, которая навлекла на него только огорчение и возбуждала зависть; они убеждали его отдаться изучению физики и просить о месте в Академии наук, подобном тому, какое он имел уже в Лондонском Королевском обществе и в Болонском институте. Однако друг его г-н де Формон, в высшей степени любезный литератор, написал ему письмо в стихах, в котором умолял его не зарывать свой талант в землю. И он тотчас же принялся писать «Меропу». Трагедия «Меропа»,— первая из пьес на светский сюжет, имевшая успех без помощи любовной интриги. Она принесла автору более почета, чем он ожидал, и была представлена 20 февраля 1743 года.

Вскоре после того он отправился к прусскому королю, который давно уже звал его в Берлин, но для которого он не мог покинуть надолго своих старинных друзей. Во время этого путешествия он оказал выдающуюся услугу королю, как мы видим это из его переписки с государственным минист-

ром Амело. Но мы должны оставить эти подробности в стороне, так как в данном комментарии имеем в виду г-на де Вольтера только как писателя.

Сделавшийся турецким пашой, знаменитый граф де Бонвалль, с которым г-н де Вольтер встречался когда-то у настоятеля де Вандома, писал ему тогда из Константинополя, и переписка их продолжалась некоторое время.

К концу 1744 году г-н де Вольтер получил патент историографа Франции, которую назвал «великолепной безделушкой». Он уже был известен своей «Историей Карла XII», которая выдержала множество изданий. История эта была написана главным образом в Англии, на даче, с г-ном Фабрис, камергером английского короля Георга I, прожившим семь лет у Карла XII после Полтавской битвы.

Точно также и «Генриада» была начата в Сент-Анже под влиянием бесед с г-ном де Комартеном.

Эту историю много хвалили за ее стиль и много критиковали за якобы невероятные факты. Но критики и не верящие смолкли, когда король Станислав прислал автору через генерал-лейтенанта графа де Трессана форменную аттестацию, составленную в следующих выражениях: «Господин де Вольтер не забыл и не переместил ни одного факта, ни одного обстоятельства: все — правда, все — в полном порядке. Он пишет о Польше и о всех случившихся событиях, как будто видел все собственными глазами. Писано в Коммерси 11 июля 1759 года».



Дом Вольтера в Ферне. *Гравюра XVIII века*

Получив эти удостоверения, как историограф, он не захотел, чтобы это звание было пустым звуком, и чтобы о нем сказали то, что один чиновник королевского казначейства сказал о Расине и о Буало: «От этих господ мы не видели ничего, кроме их подписей». Он писал в то время историю войны 1741 году, которая была тогда в полном разгаре и которую вы найдете в его книгах. «Век Людовика XIV» и «Век Людовика XV».

Он гостил в то время в Этиоле, у красавицы г-жи д'Этиоль, которая впоследствии сделалась маркизой Помпадур. Двор сделал распоряжение относительно празднеств, которые в начале 1745 года должны были сопровождать свадьбу дофина с испанской инфантой. Потребовались балеты с пением и с комедией, которая связывала бы музыкальные номера. Работа эта была поручена г-ну де Вольтеру, хотя ему этот спектакль не очень-то был по вкусу. Главным действующим лицом он взял какую-то принцессу Наварскую. Пьеса написана с большой легкостью. Господин де ла Поплиниер, управляющий финансами, человек литературно образованный, прибавил несколько куплетов; музыку же сочинил знаменитый Рамо.

Г-жа д'Этиоль выхлопотала тогда для г-на де Вольтера бесплатное получение должности камергера, что представляло собой подарок в шестьдесят тысяч ливров, подарок тем более приятный, что некоторое время спустя он получил, как особенную милость, разрешение продать эту должность, сохранив за собой связанные с нею звание, привилегии и обязанности.

Но уже гораздо раньше этого он получил от короля пенсию в две тысячи ливров, а от королевы в 1500 ливров. Однако он никогда не требовал выдачи этих пенсий.

История сделалась для него обязанностью, и он написал кое-что из «Века Людовика XIV», но отложил продолжение его и стал описывать кампанию 1744 году и достопамятное сражение при Фонтенуа, изобразив во всех подробностях этот в высшей степени интересный момент. Мы находим здесь даже числа убитых в каждом полку. Граф д'Аржансон, военный министр, доставил ему письма всех офицеров. Маршал де Ноайль и маршал Саксонский доверили ему свои мемуары.

Из его бумаг мы видим, что описание высадки в Англию в 1746 году было поручено ему. Герцог Ришелье должен был командовать армией.

Претендент уже выиграл два сражение, и ожидали революции. Господину де Вольтеру поручили составить манифест. Из мыслей, выраженных в этом документе, видно, какое уважение и какую любовь питал всегда автор к английской нации. Он и впоследствии сохранял к ней всегда те же чувства.

План и проект этой высадки, которая никогда не была приведена в исполнение, составил злополучный граф Лалли. Он был родом ирландец и ненавидел англичан так же сильно, как наш писатель любил их. Ненависть эта превратилась у Лалли даже в сильнейшую злобу, как не раз говорил нам г-н де Вольтер, и мы не можем не выразить нашего глубокого изумление перед обвинением генерала Лалли в том, что он

будто бы сдал Пондишери англичанам. Указ, приговоривший его к смерти, составляет один из самых необычайных приговоров нашего века; он является как бы одним из последних несчастий Франции. Пример этот так же, как пример маршала де Марильяка, ясно свидетельствует о том, что командующие войсками или управляющие делами государства редко бывают уверены в том, что умрут в своей постели или на почетном месте.

Господин де Вольтер вступил во Французскую академию в 1764 году. Он первый нарушил скучный обычай наполнять вступительную речь одними только избитыми похвалами кардиналу Ришелье. Он украсил свою речь новыми заметками о французском языке и о литературном вкусе. Вступавшие в Академию после него большею частью следовали этому примеру и усовершенствовали этот полезный метод.

В 1748 году он был с г-жою дю Шатле у короля Станислава в Люневиле, откуда послал комедию «Нанина», представленную 17 июля того же года. Сначала она не особенно понравилась, но зато потом имела выдающийся и прочный успех. Это странное обстоятельство я могу объяснить только тайной склонностью людей к желанию унизить человека, приобревшего слишком громкое имя. Однако со временем они невольно поддаются его обаянию.

То же самое случилось и при первом представлении 20 августа 1748 года «Семирамиды», которая впоследствии производила еще большее впечатление на сцене, чем «Меропа» и «Магомет».

Я удивляюсь, однако, тому, что автор не подписался своим именем под «Панегириком Людовику XV», напечатанным в 1749 году и переизданным на латинский, итальянский, испанский и английский языки.

Болезнь, внушавшая серьезные опасение за жизнь короля Людовика XV, а также битва при Фонтенуа, внушавшая еще большие опасения за него и за Францию, делали и это сочинение интересным. Восхваление автора основывались на фактах и на философских рассуждениях, составляющих отличительную черту всех его произведении. Панегирик этот относился столько же к офицерам, сколько к Людовику XV. Однако он не поднес его никому, даже королю. Он знал, что теперь были не те времена. В том же 1749 году он все еще был в Люневильском дворце с г-жою дю Шатле.

Здесь и скончалась эта знаменитая женщина. Тогда прусский король призвал г-на де Вольтера к себе. Однако он решился покинуть Францию, чтобы до конца жизни остаться у его прусского величества, не раньше, как к концу августа 1750 г. Он уехал, но после того, как выдержал более чем шестимесячную борьбу со своими близкими и друзьями, которые усиленно отговаривали его от этого переселения. Не давая обещание поселиться окончательно у прусского короля, он, однако, не мог противиться письму, которое этот монарх написал ему 23 августа из своих покоев в комнату своего гостя в Берлинском дворце. Это письмо долго ходило по рукам и затем много раз было напечатано.

После того король Прусский обратился через министерство к королю Франции за разрешением, которое и было дано ему последним. Нашему писателю поднесли в Берлине орден за заслуги, камергерский ключ и двадцать тысяч франков пенсии. Тем не менее он продолжал содержать дом в Париже, и я видел, по счетам парижского нотариуса Делале, что он тратил там тридцать тысяч в год. Его привязывала к королю Прусскому почтительная преданность и соответствие наклонностей и вкусов. Он много раз повторял, что этот монарх столь же приятен в обществе, сколь страшен во главе войска, что он никогда не проводил время так весело в Париже, как на тех ужинах, на которые приглашал его каждый вечер король. Его восхищение прусским королем доходило до восторга. Он жил во дворце под покоями короля и выходил из своей комнаты только к ужину. Король наверху писал философские сочинения, занимался историей и поэзией. Его любимец внизу посвящал свое время тем же искусствам и тем же работам. Они посылали друг другу свои произведения. Прусский король написал в Потсдаме свою «Историю Бранденбурга», тогда как французский писатель, привезший с собой материалы, составил историю «Века Людовика XIV». Таким образом, дни его протекали безмятежно, в столь приятных занятиях. В Париже, между тем, ставили его «Ореста» и его «Спасенный Рим». «Орест» был представлен в конце 1749 года, а «Спасенный Рим» в 1750 году.

В обеих этих пьесах совершенно отсутствует любовный элемент,— так же, как в «Меропе» и «Смерти Цезаря». Он

стремился очистить сцену от всего, что не носит отпечатка возвышенного чувства и трагизма. Он смотрел на влюбленную *Электру* как на чудовище, украшенное грязными лентами, и выражал эти мысли во многих своих произведениях.

Надо сознаться, что приятнее этой жизни ничего не может быть; из нее вытекала, кроме того, великая польза для философии и литературы. Счастье это было бы прочнее и могло бы еще увеличиться, если бы не спор, возникший по поводу одного физико-математического вопроса между Мопертюи, гостившим в то время также у короля Прусского, и библиотекарем принцессы Оранской, Кенигом в Гааге. Этот спор был последствием тех споров, которые долгое время ожесточенно велись между математиками о двигательных и мертвых силах. Нельзя не признать, что во всем этом было не мало шарлатанства,— так же, как в теологии и в медицине. В сущности, не о чем было и спорить, ибо как бы вы ни запутывали вопрос, вы всегда приходили к одним и тем же формулам вычисления. Но стороны раздражались друг против друга; Мопертюи добился в 1752 году осуждения Кенига Берлинской академией, где он играл преобладающую роль,— на основании какого-то письма покойного Лейбница. Оригинал этого письма он не мог, правда, предъявить, но его видел Вольтер. Мопертюи пошел еще далее и написал принцессе Оранской, прося ее отрешить Кенига от должности своего библиотекаря, и донес на него королю Прусскому, будто бы тот оказал непочтение к особе монарха; Вольтер, проживший целых два года с Кенигом в Сире и состоявший с ним в тесной дружбе, счел себя обязанным открыто принять его сторону.

Ссора разгорелась; изучение философии обратилось в интриги и препирательства. Мопертюи распространил слух, что однажды, когда генерал Манштейн находился в комнате Вольтера, который в эту минуту переводил на французский язык написанные этим офицером «Мемуары о России», король прислал ему на просмотр сочиненные им стихи. Тогда будто бы Вольтер сказал Манштейну: «Друг мой, отложим это до другого раза. Король прислал мне в стирку свое грязное белье; ваше я выстираю потом».— При дворе часто одного слова достаточно, чтобы погубить человека. Мопертюи приписал Вольтеру эти слова и погубил его.

Как раз в это время Мопертюи печатал свои весьма странные философские «Письма», в которых предлагал построить латинский город; отправиться в научную экспедицию по морю, прямо к Северному полюсу; прорыть колодезь до самого центра земли; ехать в Магелланов пролив и вскрывать мозги патагонцев, чтобы узнать сущность души; мазать всех больнь смолой, чтобы остановить опасное потение, а главное не платить врачам.

Господин де Вольтер с обычным остроумием высмеял эти философские идеи, и эти насмешки, к сожалению, составили увеселение всего литературного мира. Мопертюи постарался присоединить к своему оскорблению оскорбление короля, и на шутку Вольтера взглянули как на непочтительное отношение к его величеству. Тогда г-н де Вольтер почтительнейше отослал королю свой камергерский ключ и свой орден при следующем четверостишии:

Я принял их нежней друзей
И отдаю, скорбя душою.
Любовник в ревности, терзаемый тоскою
Портрет возлюбленной так возвращает ей.

Король вернул ему и ключ, и орден. Он отправился гостить к герцогине Готской, которая всегда, до самой смерти, удостаивала его своей неизменной дружбой. Для нее он год спустя написал «Летопись империи».

В то время, как он находился в Готе, Мопертюи успел построить свои батареи против отсутствующего, который почувствовал это, приехав во Франкфурт-на-Майне. Племянница его, г-жа Дени, назначила ему свидание в этом городе.

Какой-то добродетельный немец, не любивший ни французов, ни их стихов, явился к нему 1-го июня и потребовал французские стихи («Поэтические произведения») своего повелителя. Вольтер отвечал, что «Поэтические произведения» находятся, со всеми его вещами, в Лейпциге. Немец объявил ему, что его не выпустят из Франкфурта, пока не придут стихотворения. Господин де Вольтер передал ему свой камергерский ключ и свой орден и обещал отдать требуемое; тогда этот субъект дал ему следующую расписку:

«Милостивый государь! Как только прибудет из Лейпцига багаж, в котором находятся "Поэтические произведения" моего государя, вы можете отправляться, куда вам будет угодно. Франкфурт 1-го июня 1753 г.»

Арестованный подписал под этой распиской: «Годно вместо "Поэтических произведений" вашего государя».

Но когда пришли стихотворения, тогда придрались к каким-то векселям, которые не приходили. Путешественники были задержаны на две недели на постоялом дворе Козла, якобы из-за этих векселей. Это походило на приключение епископа Валенции, Markdown Кознака, которого Лувуа, по словам аббата де Шуази, приказал задержать в дороге как фальшивомонетчика.

Наконец, они выехали только после того, как заплатили значительный выкуп. Но эти мелкие подробности никогда не доходят до королей. Все это было, конечно, скоро забыто с той и другой стороны. Король возвратил стихи своему старинному поклоннику и прислал ему еще много других. Это была ссора влюбленных: пустые придворные неприятности проходят, но сущность истинной, господствующей привязанности живет долгое время.

Вольтер, перечитывая с умилением сохраненное им трогательное и красноречивое письмо короля, говорил: «После такого письма становится очевидным, что я был кругом виноват».

У Вольтера было в Эльзасе, на земле, принадлежащей герцогу Вюртембергскому, маленькое имение. Он отправился туда и занялся, как я уже говорил, печатанием «Летописи империи», подарив издание кольмарскому книгопродавцу Иоганну-Фридриху Шефлину, брату знаменитого Шефлина, профессора истории в Страсбурге. Дела этого книгопро-

давца шли плохо и г-н де Вольтер дал ему взаймы десять тысяч ливров. Поэтому я не могу надивиться подлости многих бумагомарателей, напечатавших, будто бы он нажил громадное состояние постоянной продажей своих произведений.

Когда он был в Кольмаре, г-н Верне, родом француз, евангелический пастор в Женеве, и братья Крамеры, коренные граждане этого знаменитого города, писали ему, прося приехать в Женеву печатать свои сочинения. Он отдал предпочтение братьям Крамерам, имевшим большую книжную торговлю, и представил им свои сочинения на тех же условиях, что и Шефлину, т. е. даром.

Итак, он отправился в Женеву со своей племянницей и своим другом Колини, служившим ему секретарем. Впоследствии Колини сделался секретарем и библиотекарем курфюста Палатинского.

Господин де Вольтер купил в пожизненное пользование хорошенькую дачку близ изобилующей живописными окрестностями Женевы, откуда во все стороны открывается наипрелестнейший вид во всей Европе. В Лозанне он купил еще другую дачу — обе под условием, что ему будет возвращена часть денег, когда он выедет.

Это был первый случай со времен Цвингли и Кальвина, что католик приобретал недвижимое имущество в кантоне.

Он купил также два поместья недалеко от Женевы, в округе Жекс. Он жил, преимущественно, в Ферне, в своем доме, который он подарил племяннице своей, г-же Дени. Это было владение, совершенно свободное от всяких повинно-

стей в пользу короля и от всяких налогов со времен Генриха IV. Ни в какой иной провинции Франции не было земель, пользовавшихся подобными привилегиями. Король патентом утвердил их за де Вольтером. Этой милостью он был обязан герцогу де Шуазель, самому щедрому и великодушному из людей, хотя и не был близко знаком ему.

Маленькая область Жекс была в то время дикой пустыней. Со времен отмены Нантского эдикта восемьдесят плугов стояли в бездействии; болота покрывали половину страны, распространяя заразные болезни. Мечтой нашего писателя было всегда поселиться в заброшенной местности, чтобы создать в ней новую жизнь. Так как мы говорим только на основании документов, то мы в этом случае сошлемся лишь на одно письмо его к епископу города Аннеси, в епархии которого находится Ферне. Нам не удалось отыскать даты письма, но мы полагаем, что оно было написано в 1759 году.

Это письмо и последствия этого дела наводят на глубокие размышления. Господин де Вольтер окончил эту тяжбу, заплатив собственными деньгами за освобождение своих бедных вассалов от угнетавшего их положение, и несчастная местность вскоре совершенно изменила свой вид.

Более легким способом выпутался он из более сложного спора в протестантской местности, где у него было два хорошеньких поместья; одно в Женеве — его зовут и до сих пор «Домом наслаждений», другое в Лозанне.

Все знают, как он ценил свободу, до какой степени всякое притеснение было ему ненавистно, и какое омерзение внуша-

ли ему всегда те лицемерные подлецы, которые осмеливаются подвергать, во имя Божие, самым ужасным мучениям тех, кто смеет мыслить иначе, чем они. Он всегда проповедовал веротерпимость как протестантской, так и католической церкви. Он утверждал, что это единственный способ сделать жизнь сносной и что он умер бы счастливым, если бы мог утвердить эти принципы в Европе. Можно сказать, что он не совсем был обманут в этой надежде, ибо он немало способствовал тому, чтобы от Женевы до Мадрида сделать духовенство более кротким, более человечным, а главное, способствовал просвещению светских людей.

Убежденный в том, что забавы ума смягчают нравы так же, как игры гладиаторов в древности ожесточали их, он построил в Ферне хорошенький театр. Несмотря на свое плохое здоровье, он сам иногда играл на сцене. Племянница его, г-жа Дени, обладавшая в высокой степени талантом декламации и музыкальным дарованием, также сыграла несколько ролей. Для исполнения некоторых пьес приезжали актеры — г-жа Клерон и знаменитый Лекен. За двадцать лье в округе съезжались смотреть на них. Не раз ужин был накрыт на сто человек; бывали также и балы. Однако, несмотря на эту шумную и, по-видимому, рассеянную жизнь, несмотря на преклонные лета, он работал неустанно.

С 1755 г. он дал парижскому театру пьесы: «Китайский сирота» (представлено 20 августа) и «Танкред», представленный 3 ноября 1760 года. Клерон и Лекен развернули весь свой талант в этих двух пьесах. «Кофе», или «Шотландка»,

комедии в прозе, не предназначалась для сцены; но и она была представлена в том же году с большим успехом. Он для своей забавы написал эту пьесу с целью исправить порочного Фрерона. Он сильно досадил ему, но не исправил. Комедия эта, переведенная на английский язык Кольманом, имела и в Лондоне такой же успех, как в Париже. Эти работы отнимали у него мало времени: «Шотландка» была написана в неделю; «Танкред» — в месяц.

Среди этих занятий и удовольствий, бывший метрдотель королевы, Титон дю Тилье, старик восьмидесяти пяти лет, рекомендовал Вольтеру внучатую племянницу великого Корнеля, которая была совершенно лишена всяких средств к жизни и покинута всеми. Этот же самый Титон дю Тилье, страстно любивший искусство, хотя и не занимался им сам, пожертвовал крупную сумму на сооружение бронзового Парнаса, где изображены фигуры некоторых французских поэтов и музыкантов. Памятник этот находится в библиотеке короля Франции. Он взял к себе девицу Корнель на воспитание, но, ввиду гибели своего состояния, ничего не мог сделать для нее. Ему пришло в голову, что, может быть, г-н де Вольтер согласится взять на свое попечение девицу, носящую такое почтенное имя.

Господин Дюмолар, член многих академий, известный своим ученым и основательным сочинением о древней и новой трагедиях «Электра», а также г-н Брен, секретарь принца Конти, обратились к Вольтеру с тою же просьбой. Он поблагодарил их за честь, которую они оказали ему, и отвечал,

что, действительно, признает за собой обязанность старого солдата служить внучке своего *генерала*. Итак, молодая девушка в 1760 году прибыла в Делис, на дачу близ Женевы, а оттуда приехала в замок в Ферне. Г-жа Дени согласилась взять на себя окончание ее воспитания, а три года спустя г-н де Вольтер отдал ее замуж за уроженца округа Жекс, драгунского капитана, впоследствии офицера главного штаба, Дюпюи. Кроме того, что он дал им приданое, он оставил их жить у себя, а затем предложил написать комментарии к произведением Корнеля в пользу его внучки и напечатать их по подписке. Король Франции подписал восемь тысяч франков, другие государи последовали его примеру. Герцог де Шуазель, известный своей щедростью, герцогиня де Граммон, г-жа де Помпадур подписали значительные суммы. Господин де Лаборд, банкир короля, не только взял несколько экземпляров книги, но распространил ее в таком количестве, что может быть назван первым созидателем богатства девицы Корнель как по своему усердию, так и по своей щедрости. Таким образом, она в короткое время получила пятьдесят тысяч франков в виде свадебного подарка.

По поводу этой, столь быстро собранной подписки случилась весьма замечательная вещь. Госпожа Жофрен, известная своим умом и своими достоинствами, была некогда душеприказчицей знаменитого Бернара де Фонтенеля, племянника Пьера Корнеля. Но он, к несчастию, забыл в своем завещании об этой родственнице, представленной ему незадолго до смерти. Ее отстранили вместе с отцом и матерью,

объявив их незнакомцами, узурпирующими имя Корнеля. Друзья Корнелей, принимая живое участие в этой семье, но плохо осведомленные и неделикатные, затеяли дерзкий процесс против г-жи Жофрен и нашли адвоката, который, злоупотребляя свободой слова в суде, напечатал против этой дамы оскорбительное обвинение. Госпожа Жофрен, подвергшись несправедливым нападкам, выиграла процесс единогласным решением суда. Несмотря на это оскорбление, которое она, по своему благородству, забыла, г-жа Жофрен первая подписала весьма крупную сумму на издание комментариев.

Академия в полном составе, герцог де Шуазель, герцогиня де Граммон, г-жа де Помпадур и несколько важных лиц дали г-ну де Вольтеру полномочие подписаться за них под брачным контрактом. Это случилось в один из самых блестящих периодов литературы. В то время, как г-н де Вольтер подготовлял этот брак, который оказался весьма счастливым, ему выпала на долю еще другая радость: благодаря ему, шести дворянам, большею частью несовершеннолетним, возвращены были отцовские поместья, которые иезуиты скупили за бесценок. Мы должны вернуться к началу этой истории, особенно интересной еще потому, что ей предшествовал знаменитый крах иезуита Ля Валета и компании, и что она послужила до известной степени первым сигналом уничтожения Ордена иезуитов во Франции.

Шесть братьев Депре де Красси, принадлежавшие к старинному дворянскому роду области Жекс, на границе Швейцарии, состояли на королевской службе. Иезуиты принуж-

дены были отказаться от своих требований, и по решению Дижонского парламента семейство Красси было введено во владение своим имуществом и владеет им и по сие время.

Самое лучшее в этом деле было то, что вскоре после того, когда Франция была избавлена от почтенных иезуитов, те же самые дворяне, у которых добрые отцы хотели отнять их землю, купили смежную с их имением землю иезуитов. Господин де Вольтер, который всегда боролся против атеистов и иезуитов, написал, что приходится признать, что существует Провидение. Он вмешался в это дело отнюдь не из ненависти к отцу Фессу, не из желание досадить иезуитам, так как после того, как братство было распущено, он приютил у себя иезуита, и несколько других писали ему, умоляя его принять к себе также и их. Но среди бывших иезуитов нашлись и менее покладистые и справедливые. Двое из них, Патулье и Нонот, наживали кое-какие деньги пасквилями на него и, конечно, не преминули призвать на помощь католическую религию. Нонот в особенности отличился, написав с полдюжины книжек, в которых проявил менее знания, чем усердия, и менее усердия, чем способности ругаться. Г-н Дамилявиль, один из выдающихся сотрудников «Энциклопедии», снизошел до посрамления его,— так же, как некогда Паскье унизился до порицания бессмысленной наглости иезуита Гарасса.

Некто Де Пон, капитан полка, беседуя со своим соседом, г-ном де Вольтером, рассказал ему о печальном материальном положении своей семьи. Довольно ценный участок зем-

ли, который мог бы давать ей средства к жизни, давным-давно был заложен женевцам. Иезуиты приобрели рядом с этим имением в местности Орнэ владение, приносившие около двух тысяч экю дохода. Им захотелось присоединить к своему поместью и имение г-д де Красси. Настоятель дома иезуитов, Фесс, который называл себя Фесси, сговорился с женевскими кредиторами купить эту землю. Он выхлопотал на то разрешение совета и собирался утвердить его в Дижоне. Ему сказали, что в числе владельцев есть несовершеннолетние и что они, несмотря на разрешение совета, могут быть введены во владение имуществом. Он ответил письменно, что иезуиты ничем не рискуют, и что г-да де Красси никогда не будут в состоянии выплатить необходимую сумму для того, чтобы вступить во владение имуществом своих предков.

Как только г-н де Вольтер узнал, каким странным образом о. Фесс готовился служить интересам братства Иисуса, он тотчас отправился в канцелярию управления Жекс и внес сумму, которую семейство Красси должно было уплатить прежним кредиторам, чтобы вернуть себе свои права.

Но вот какое, в высшей степени странное, фатальное происшествие случилось в это время и доставило громкую славу королю, его совету и докладчикам. Кто бы мог подумать, что первые лучи света, первые попытки к отмщению невинно пострадавших Калас придут с ледников Юры и от границ Швейцарии? Мальчик пятнадцати лет, Донат Калас, младший из сыновей несчастного Каласа-отца, находился

в учении у одного купца в Ниме, когда узнал, к какому ужасному истязанию пристрастный тулузский суд приговорил его добродетельного отца. Возбуждение народа против этого несчастного семейства было так сильно, что все ожидали колесования детей Каласа и сожжения их матери. Таково и было даже заключение главного прокурора; так плохо эта несчастная семья защищала себя, угнетенная горем, устрашенная, растерявшаяся от перспективы пламени костров и колес и пытки. Юному Каласу внушали, что и с ним поступят так же, как и с прочими членами семьи, и советовали ему бежать в Швейцарию.

Он пришел к г-ну де Вольтеру, который сначала мог только жалеть его и оказать ему материальную помощь, не смея произнести суждение о его отце, матери и братьях.

Вскоре после того другой брат его, приговоренный только к ссылке, также бросился в объятия г-на де Вольтера. Я был свидетелем того, что последний в течение целого месяца наводил справки, чтобы удостовериться в невинности этой семьи. Как только он убедился в этом, он счел себя обязанным пред своей совестью попытаться посредством своих друзей, своих денег, своего пера, своего влияния исправить роковую ошибку семи тулузских судей и добиться пересмотра процесса в Королевском совете. Дело тянулось три года. Всем известно, как прославились г-да Кроа и Баканкур, защищая это замечательное дело. Пятьдесят докладчиков единогласно объявили семью Каласов невиновной и просили для нее благодетельной справедливости короля. Герцог Шуазель,

никогда не упускавший случая выказать возвышенное благородство своей души, не только помог деньгами несчастной семье, но еще выхлопотал в пользу ее тридцать шесть тысяч у короля.

Указ, оправдывавший Каласов и совершенно изменивший их участь, был обнародован 9 марта 1765 года. Девятое марта было как раз годовщиной мучительной казни этого добродетельного отца семейства. Весь Париж сбежался, чтобы видеть их выходящими из тюрьмы и аплодировал им со слезами. После того вся семья была неизменно предана г-ну де Вольтеру, считавшему для себя большой честью быть их другом. Замечательно, что в то время во всей Франции был один только человек, по имени Фрерон, автор каких-то периодических изданий «Письма к графине» и «Литературный год», который осмелился на этих ничтожных листках выразить сомнение относительно невиновности тех, которых король, весь его совет и все общественное мнение оправдали вполне.

Некоторые благомыслящие люди убедили тогда г-на де Вольтера написать свой «Трактат о веротерпимости», считавшийся впоследствии одним из лучших его сочинений в прозе и сделавшийся катехизисом всякого здравомыслящего и справедливого человека. В это же время императрица Екатерина II, имя которой будет бессмертным, создавала законы для своего государства, занимающего пятую часть земного шара. Первым из этих законов сделалось утверждение всеобщей веротерпимости.

На долю нашего отшельника, уединившегося у швейцарской границы, выпало отмщение за оскорбленную и осужденную во Франции невинность. Положение его местожительства между Францией и Швейцарией, между Женевой и Савойей привлекало к нему многих несчастных. Целая семья Сирвен, приговоренная к смерти невежественными и жестокими судьями, нашла себе приют вблизи его владений. В течение целых восьми лет он неустанно хлопотал о их оправдании и наконец добился его.

Считаем нужным заметить здесь, что один сельский судья, по имени Тренке, бывший королевским прокурором, при суде приговорившем к смерти семейство Сирвен, таким образом выразил свое заключение. «Я прошу от имени короля, чтобы Н. Сирвен и жена его, обвиненные и уличенные в том, что они удавили и утопили свою дочь, были изгнаны из прихода». Ничто не может служить лучшим доказательством продажности судейской власти в государстве.

К счастью Вольтера, как он сам говорил, ему досталось на долю защищать проигранные процессы, и ему удалось еще спасти от сожжения гражданку де Сент-Омер, названную Монбальи, приговоренную Арасским судом к сожжению. Ожидали лишь разрешение от бремени этой женщины, чтобы препроводить ее к месту казни. Муж ее уже давно умер на колесе. Кто были эти двое несчастных, два примера супружеской верности и материнской любви, две высоко добродетельные в своей бедности души? Эти безвинные и почтенные личности обвинялись в отцеубийстве и были осуждены

на основании показаний, которые показались бы ничтожными даже судьям, осудившим Каласа. Господину де Вольтеру удалось выхлопотать у канцлера де Мопу пересмотра процесса. Госпожа Монбальи была признана невинной, и честь ее мужа была восстановлена — ничтожное восстановление чести без возмездия и без возмещения за вред! Каков же был у нас уголовный суд! Какой ряд ужасных убийств, начиная с истребления тамплиеров до казни кавалера де ля Барра! Вам кажется, что вы читаете историю дикарей! Но люди, обыкновенно, содрогнутся на одну минуту и — поедут в оперу!

Город Женева был в то время терзаем смутами, которые еще усилились с 1763 году. Ввиду этого неспокойного состояния г-н де Вольтер решил уступить г-ну де Троншен свой дом Делис (близ Женевы) и окончательно поселиться в Ферне, перестроив там сверху до низу весь свой замок и окружив его прелестными, в своей простоте, садами. Смута в Женеве достигла, наконец, того, что враждебные партии 15 февраля 1770 года взялись за оружие. Многие были убиты, несколько семей артистов искали убежища у Вольтера. Он поместил некоторых в своем замке, а для других в течение нескольких лет выстроил пятьдесят каменных домов. Таким образом, селение Ферне, бывшее, когда он купил эту землю, несчастной деревушкой, где влачили жалкое существование сорок человек крестьян, задавленных нищетой и разоренных поборами и арендаторами,— превратилось в дачную местность с 1200 зажиточными жителями, успешно работающи-

ми для себя и для государства. Герцог де Шуазель всеми силами способствовал процветанию этой колонии, развившей у себя обширную торговлю.

Одно обстоятельство, как мне кажется, достойно быть принятым во внимание: несмотря на то, что колония состояла из католиков и протестантов, было совершенно незаметно, что в Ферне были представлены две различные религии. Я видел жен женевских и швейцарских колонистов, изготовлявших своими руками три алтарных пелены к празднику Святого Таинства. Они присутствовали с глубоким почтением при процессии, и г-н Гюгоне, новый католический священник в Ферне, человек благородный и веротерпимый, публично благодарил их в своей проповеди.

Когда заболевал кто-либо у католиков, протестантские женщины приходили ухаживать за больным, то же делали по отношению к протестантам и католички. — Все это были плоды тех человеколюбивых принципов, которые г-н де Вольтер распространял всеми своими сочинениями и с особенной яркостью развил в своей книге о веротерпимости. Он всегда говорил, что люди — братья, и доказывал это на деле. Люди, подобные Гюйону, Ноноту, Патулье, Полиану и т. п., ставили ему это в упрек — но ведь они не были ему братьями. «Видите,— говорил он посещавшим его,— эту надпись на фронтоне построенной мною церкви? (“Deo erexit Voltaire” — “Богу воздвигнул Вольтер”). Эта церковь воздвигнута Богу, отцу всех людей.» — И это, действительно, может быть, была единственная церковь, посвященная единому Богу.

Среди иностранцев, приезжавших толпами в Ферне, был не один государь. Из них многие удостаивали г-на де Вольтера своей перепиской, большая часть которой находится у меня в руках. Наиболее последовательной и непрерывной представляется переписка прусского короля и его сестры, маркграфини байрейтской Вильгельмины. Время, протекшее между битвой при Коллине, 18 июня 1757 года, проигранной прусским королем, и битвой при Росбахе, 6 ноября, где он остался победителем, является самым интересным периодом этой редкостной переписки между царствующим домом военных героев и простым литератором. Из трогательно и прекрасно написанного письма видна чудная душа маркграфини Байрейтской, и можно судить, насколько справедливо было восхваление ее со стороны оплакивавшего ее смерть Вольтера в оде, напечатанной вместе с другими его произведениями. Но, главным образом, мы видим из этого письма, какие ужасные несчастья навлекают на народы легкомысленно затеваемые королями войны, мы видим, чему они подвергают самих себя, и до какой степени огорчает их то зло, которое они причиняют народам. С этой минуты и в продолжение всей этой злополучной войны фернейский отшельник не переставал давать всевозможные доказательства своей преданности маркграфине и ее брату-королю, а также доказательства своей любви к миру. Он побудил кардинала де Тансена, жившего на покое в Лионе, вступить в переписку с маркграфиней, с целью устроить желанный мир. Письма

маркграфини проходили через нейтральную страну, Женеву, и через руки г-на де Вольтер.

Удивительную эпоху в истории составит принятое королем Прусским после битвы при Коллине с ее несчастными последствиями решение двинуться в Саксонию и близ Мерзебурга выступить навстречу соединенным французским и австрийским, превышавшим его силой войскам в то время, когда маршал Ришелье стоял поблизости со своим победоносным войском. Государь этот сохранил настолько присутствие духа и власть над своими мыслями, что мог написать маркизу д'Арзансу длинное послание в стихах, в котором он сообщал ему о своем решении умереть, если будет побежден, и прощался с ним. Мы имеем в руках этот беспримерный памятник поэзии, написанный с начала до конца его рукой. У нас имеется еще более геройский памятник этого государя-философа. Это письмо к г-ну де Вольтеру, написанное 9 октября 1757 года, за двадцать пять дней до победы при Росбахе. Особенно хороши и полны величия последние стихи. Корнель в свое самое блестящее время не написал бы лучших. И когда после подобных стихов автор их одерживает победу, величие его достигает высшего апогея.

Между тем кардинал де Тансен тщетно продолжал вести тайные переговоры в пользу мира, как мы видим из его писем. Наконец, герцог де Шуазель взялся за это необходимое дело, и герцог де Прален завершил его, оказав тем важную услугу разоренной и погруженной в печаль Франции. Страна эта находилась в таком плачевном состоянии, что в про-

должение двенадцати лет, последовавших за этой несчастной войной, из всех министров финансов, сменявших один другого, не было ни одного, которому бы, при всем его старании и при помощи усиленных трудов, удалось хотя бы только затянуть немного раны государства. Недостаток в деньгах был так велик, что главный контролер поставлен был в необходимость, ввиду крайней нужды, отобрать у королевского банкира, Мазона, все деньги, доверенные ему гражданами. У нашего отшельника также отобрали двести тысяч франков. Это была громадная потеря, в которой он утешился на французский манер, мадригалом, сочиненным им экспромтом. Господин де Шуазель, который строил в то время великолепный порт в Версуа, на Женевском озере, соорудил там маленький фрегат. Фрегат этот был захвачен савоярами, кредиторами предпринимателей, в одном савойском порте близ Рипайля.

Господин де Вольтер тотчас же выкупил это королевское судно собственными средствами и никогда не получил обратно своих денег от правительства, так как герцог де Шуазель в это время лишился всех своих должностей и удалился в свое поместье Шантелю, о чем жалели не только его друзья, но и вся Франция, любившая его за его доброжелательный характер и за благородство души и признававшая его выдающийся ум. Фернейский отшельник был привязан к нему узами самой искренней и теплой благодарности. Не было такой милости, которой герцог не выхлопотал бы по его рекомендации. Так, он назначил племянника г-на де Вольтера, по имени Гульер, бригадиром королевской армии; пенсии,

награды, патенты, кресты св. Людовика давались по первой его просьбе. Это было большим ударом для человека, устроившего колонию художников и промышленников под его покровительством. Колония эта уже работала успешно для Испании, Германии, Голландии, Италии. Он уже думал, что она погибнет; но она выдержала.

Одна только русская императрица в самый разгар Турецкой войны купила на пятьдесят тысяч франков фернейских часов. Все немало удивлялись тому, что эта государыня одновременно покупала на миллион картин в Голландии и Франции и на несколько миллионов драгоценных камней. Она подарила пятьдесят тысяч ливров г-ну Дидро с такой милостивой деликатностью, которая возвышала еще ценность подарка. Она предложила г-ну д'Аламберу руководить воспитанием ее сына и назначила ему шестьдесят тысяч ливров в год. Но ни здоровье, ни принципы г-на д'Аламбера не позволили ему принять в Петербурге должность, соответствовавшую должности герцога де Монтозе в Версале.

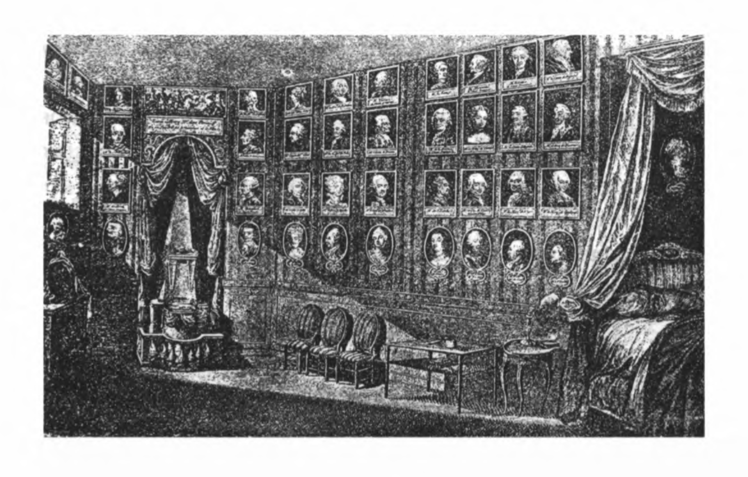
Императрица прислала к г-ну де Вольтеру князя Козловского, который должен был передать ему от ее имени в подарок великолепные меха и точеную шкатулку собственноручной ее работы, украшенную ее портретом и двадцатью бриллиантами. Все это похоже на историю Абугассана в «Тысяче и одной ночи». Господин де Вольтер написал ей, что она вероятно завоевала своими войсками все сокровища Мустафы. Но она отвечала ему, что «при соблюдении порядка всегда можно быть богатым и что в этой великой вой-

не она никогда не будет испытывать недостатка ни в деньгах, ни в войске». Она сдержала слово.

Между тем знаменитый скульптор Пигаль работал в Париже над статуей отшельника, приютившегося в Ферне. Одна иностранка предложила в 1770 году нескольким истинным ценителям литературы сделать ему эту любезность, чтобы отомстить за все плоские пасквили и нелепые клеветы, которые фанатизм низменных литераторов не переставал распространять против него. о-жа Неккер, супруга женевского резидента, была инициатором этого проекта. Это была женщина высоко образованного и развитого ума. Характер ее, если это возможно, был еще возвышеннее, нежели ее ум. За ее идею жадно ухватились все, посещавшие ее дом, при условии, что в подписке для этого предприятие примут участие одни только литераторы.

Король Прусский, в качеств литератора и без сомнения имеющий более, чем кто-либо право на это звание, как и на звание гениального человека, написал письмо знаменитому д'Аламберу и захотел подписаться первым. Письмо это, от 28 июля 1770 года, хранится в архивах Академии.

«Самый прекрасный монумент Вольтера — это тот, который он воздвигнул себе сам своими произведениями. Они будут существовать дольше, нежели собор св. Петра, Лувр и все здания, которые людское тщеславие посвящает вечности. Люди перестанут говорить по-французски, а Вольтер будет еще переводиться на тот язык, который возникнет по-



Кабинет Вольтера в Ферне. *Гравюра XVIII века*

сле французского. Тем менее, я, исполненный удовольствия, которое дали мне его разнообразные сочинения, столь совершенные, каждое в своем роде,— я не мог бы, не будучи неблагодарным, отказаться от вашего предложения способствовать сооружению памятника, который возводит ему общественная благодарность. Сообщите мне только, что от меня требуется, и я ни в чем не откажу для этой статуи; она принесет более чести тем литераторам, которые посвящают ее ему, нежели самому Вольтеру. Люди признают, что в этот XVIII век, когда столько писателей раздирали друг друга из зависти, нашлись и такие, которые обладали в достаточной степени и благородством, и великодушием, чтобы отдать должное человеку, одаренному гением и талантами, превосходящими все другие во все века; люди признают, что мы были достойны иметь Вольтера. Самое отдаленное потомство будет завидовать нам за это преимущество. Отличать знаменитых людей, отдавать справедливость заслугам — это значит поощрять таланты и добродетель. Это единственная награда прекрасных душ, и ее вполне заслуживают все те, которые работают в области высшей литературы, доставляющей нам наслаждение ума, более продолжительные, нежели наслаждение тела. Она распространяет свое очарование на все течение жизни; она делает нашу жизнь более сносной, а смерть менее ужасной. Итак, продолжайте, господа, охранять и прославлять тех, которые имели счастье отличиться доблестью во Франции: сие есть наиболее прекрасное, что вы можете сделать и что в глазах будущих времен будет служить для вас

лучшим оправданием против варварских народов, которые захотели бы набросить тень позора на вашу нацию».

«Прощайте, мой милый д'Аламбер, будьте здравы до тех пор, когда и вам также соорудят статую. Затем молю Бога, чтобы он хранил вас под своей святой защитой».

Фридрих.

Король Прусский сделал более. Он приказал изготовить на своей фарфоровой фабрике статую писателя и прислал ему ее с надписью на цоколе: Immortali («Бессмертному»).

Скульптор Пигаль взялся исполнить его статую во Франции и взялся за это с рвением художника, желающего обессмертить другого художника. Этот единственный в то время случай сделается скоро общепринятым обычаем. Художникам будут ставить статуи или хотя бы бюсты так же, как теперь принято кричать: «Автора! Автора!»,— в театре. Однако, тот, кому оказывали эту честь, предвидел, что это еще более ожесточит против него его врагов. Он был совершено прав, утверждая, что эта неожиданная честь разнуздает против него фанатизм писак. Он писал г-н Тиерио: «Все эти господа гораздо более заслуживают статуи, нежели я, и я признаю, что многие из них достойны бы были фигурировать в изображении (in effigie) на городской площади»[12].

Господа Нонот, Фрерон Сабатье и т. п. подняли громкие крики. С особенной яростью набросился на него чужестранный горец, которому гораздо более пристало быть трубочистом, нежели руководителем душ. Человек этот, большой нахал, написал в интимном тоне королю Франции, словно

равный к равному, письмо, в котором просил его сделать ему удовольствие выгнать больного семидесятипятилетнего старика из его собственного дома, им самим выстроенного, с полей, которые он распахал заново, отнять его от сотни семейств, которые им только и жили. Король нашел предложение весьма наглым, противным христианскому духу и приказал передать это капеллану.

Фернейский отшельник, будучи болен и не зная, что начать, захотел отомстить за эту проделку решением подвергнуться, по существующему в то время обычаю, соборованию. Он поступил, как те, которых в Париже называли янсенистами. Он послал пристава сказать своему кюре, по имени Гро (пьяница, умерший от пьянства), чтобы он, кюре, пришел непременно первого апреля соборовать его к нему на дом. Кюре явился и объявил ему, что прежде следует принять причастие, а потом уже совершить обряд соборование. Больной согласился, и ему принесли причастие в комнату 1-го апреля. Тогда он при свидетелях и в присутствии нотариуса объявил, что прощает своему клеветнику, который хотел погубить его и которому это не удалось. Об этом составлен был протокол. По окончании обряда он сказал: «Я буду иметь то утешение, что умер, как Гусман в “Альзире”, и чувствую себя лучше. Парижские шутники подумают, что это обман на 1 апреля».

Противник его, немало удивленный этой выходкой, не захотел, однако, последовать его примеру: он не простил и мог придумать только такую вещь: он распустил слух о декларации, совершенно отличной от настоящей декларации больного,

составленной у нотариуса, за подписью завещателя и свидетелей, по всем правилам и законам. Две недели спустя два лица составили на скверном савоярском наречии совершенно противоположную декларацию. Однако они не посмели подделать подпись того, кому имели глупость приписывать эту декларацию.

Вот письмо, написанное г-ном де Вольтером по этому поводу: «Я не сержусь на тех, которые заставили меня говорить благочестивые слова таким варварским и ужасным языком. Они плохо выразили мои настоящие чувства, они на своем жаргоне высказали то, что я так часто печатал на французском языке, но они тем не менее выразили сущность моих убеждений. Я с ними согласен. Я присоединяюсь к их верованию: мое просвещенное усердие поддерживает их невежественное рвение; я поручаю себя их савоярским молитвам. Я смиренно умоляю благочестивых составителей подложных документов, смастеривших акт 15 апреля, принять во внимание, что никогда не следует делать подлогов ради истины. Чем более истины заключается в католической религии (что всем известно), тем менее следует лгать ради нее.

Эти маленькие весьма распространенные попущения могут повести к более опасным обманам: вскоре стали бы считать дозволенным фабриковать подложные завещания, подложные дарственные, ложные обвинение — для славы Божьей. В прежние времена совершали более ужасные подлоги. Некоторые из этих лжесвидетелей признались, что действовали под угрозой. но думали, что поступают хорошо.

Они подписались под заявлением, что лгали с добрым намерением. Все это проделывалось с благочестивыми целями, вероятно по примеру отречений, приписанных г-дам де Монтескье, де ля Шалоте, де Монклар и многим другим. Эти благочестивые обманы практикуются около тысячи шестисот лет. Однако, когда подобное религиозное рвение доходит до преступного подлога то в ожидании Царствия Небесного, эти люди многим рискуют и в этой жизни».

Итак, ваш отшельник продолжал с веселым духом делать понемножку добро, когда только мог, смеялся над теми, которые печально творят зло, и подкреплял часто шутками самые серьезные истины. Он сознавался, что порою заходил слишком далеко в высмеивании некоторых своих врагов. «Я поступаю нехорошо,— говорит он в одном из своих писем,— но эти господа нападали на меня в течение сорока лет, и терпение мое лопнуло на десять лет подряд». Переворот, совершившийся во всех парламентах государства в 1771 году, доставил ему много досады. У него было два племянника; один из них вступил в Парижский парламент, другой оставил его. Оба были люди в высшей степени порядочные, оба отличались неподкупной честностью, но принадлежали к двум противоположным партиям. Он не переставал любить одинаково обоих; но громко заявил протест против продажности.

Проект творить суд, как Людовик Святой, безвозмездно, казался ему прекрасным. Он писал, главным образом, в защиту несчастных тяжущихся, которые в течение многих столетий принуждены были отправляться за сто пятьдесят лье

от своих хижин, чтобы окончательно разориться в столице, как проиграв процесс, так и выиграв его. Он всегда высказывал эти мысли в своих сочинениях; он остался верным своим убеждением, не подстраиваясь под чье-либо мнение.

Ему было тогда семьдесят лет, и тем не менее он в один год переделал всю «Софонисбу» Мере целиком и написал трагедию «Законы Миноса». Он не считал хорошими этих наскоро написанных для своего домашнего театра пьес. Знатоки не очень дурно отзывались о «Законах Миноса»; но надо сознаться, что драматические произведения, не появившиеся на сцене или не продержавшиеся на ней, служат лишь к тому, чтобы бесполезно увеличивать кучу книг, которыми завалена Европа; точно так же картины и эстампы, не попавшие в коллекцию любителей, все равно что не существуют.

В 1774 году ему снова представился необыкновенный случай проявить то же усердие, которое он имел счастье высказать в роковых случаях с семействами Каласов и Сирвенов. Он узнал, что в Везеле в войсках короля Прусского служит молодой французский дворянин, отличающийся большой скромностью и на редкость хорошим поведением. Этот молодой человек служил простым волонтером. Это был тот самый, который был вместе с кавалером де ля Барром приговорен к казни отцеубийц за то, что они не встали под дождем на колени перед процессией капуцинов, проходившей в пятидесяти или шестидесяти шагах от них. Кроме того, их обвинили в том, что они пели неприличную солдатскую песню, сочиненную лет сто назад, и читали вслух «Оду к Приапу» Пирона.

Эта ода Пирона была шалостью ума и юности, порывом, который в свое время король Франции Людовик XV счел столь простительным, что, узнав о бедности поэта, наградил его пенсией из собственной шкатулки. Таким образом тот, кто сочинил стихи, был награжден добрым королем, а те, которые читали их, были присуждены деревенскими варварами к самой ужасной казни. — Трое аббевильских судей вели судопроизводство.

Их приговор гласил, что кавалер де ла Барр и его юный друг, о котором я только что упоминал, будут подвергнуты ординарной и экстраординарной пытке, что им отрежут кисть руки, вырвут клещами язык и затем бросят их живыми в огонь.— Из трех судей, вынесших этот приговор, двое не имели никаких прав судить: один потому, что был заклятым врагом родителей этих молодых людей, другой — потому, что, купив когда-то должность адвоката, он после того купил и выполнял обязанность прокурора в Аббевиле, потому, что главным занятием его была торговля быками и свиньями; потому, что он состоял под судом по приговору консулов города Аббевиля, и потому, что суд поверенных объявил его лишенным права исполнения судебной должности в государстве.— Третий судья, запуганный угрозами двух других, имел слабость подписать приговор и потом всю жизнь мучился столь же ужасными, сколь бесполезными, угрызениями совести.

Кавалер де ля Барр был казнен на удивление всей Европы, которая и теперь еще содрогается от ужаса. Друг его был приговорен заочно, так как с самого начала процесса нахо-

дился в чужих странах.— Приговор этот, до такой степени отвратительный и нелепый, будет вечным пятном на французской нации, он еще более достоин осуждения, чем приговор, вынесенный несчастному Каласу: судьи Каласа были виновны только в заблуждении, тогда как аббевильские судьи совершили преступление не по ошибке, а по варварской жестокости. Они присудили двух невинных юношей к такой же ужасной смерти, как казнь Равальяка и Дамиена, за проступок, который не стоил и восьмидневного ареста. Можно сказать, что со времен Варфоломеевской ночи не было ничего более ужасного. Тяжело рассказывать о подобном проявлении грубого варварства, которого не встретить и у самых диких народов, но истина обязывает к этому. Следует заметить также, что эти ужасы совершались из благочестия в эпоху наибольшего господства роскоши, изнеженности и совершенной разнузданности нравов.

Господин де Вольтер узнал, что один из этих юношей, жертв самого отвратительного фанатизма, когда-либо осквернявшего землю,— находился в одном из полков короля Прусского. Он уведомил об этом короля, который тотчас же великодушно пожаловал молодого человека чином офицера. Король навел, кроме того, справки относительно его поведения: он узнал, что молодой человек самоучкой научился инженерному искусству и черчению, узнал, что он ведет себя хорошо, скромно и порядочно и что поведение его ничем не оправдывает приговора его аббевильских судей. Он соблаговолил призвать его к себе, дал ему отряд, сделал его своим

инженером, назначил ему пенсию и таким образом исправил благодеяниями преступление, содеянное жестокостью и глупостью. Он написал г-ну де Вольтеру в самых трогательных выражениях о том, что он сделал для этого достойного уважения и несчастного человека. Мы все были свидетелями этого происшествия, столь позорного для Франции и сделавшего столько чести королю-философу. Этот великий пример будет служить уроком для людей, но исправит ли он их?

Наш старец тотчас же, несмотря на застывающую кровь своего возраста, воспламенился мыслью воспользоваться патриотическими взглядами нового министра, который — первый во Франции — выказывал себя отцом народа. Отечество, которое избрал для себя г-н де Вольтер, представляет собой полосу земли, в пять-шесть лье длины и два лье ширины, лежащую между Юрой, Женевским озером, Альпами и Швейцарией. Страну эту разоряли человек восемьдесят агентов судебного и податного ведомства, злоупотреблявших своей властью и страшно обижавших народ тайно от своего начальства. Страна погибала от ужасной нищеты. Господину де Вольтеру удалось добиться от благомыслящего министра указа, по которому эта местность была избавлена от этих грабителей и сделалась свободной и счастливой. «Я должен бы был умереть после этого, ибо выше этого я уже не могу подняться» — сказал г-н де Вольтер.

Однако на этот раз он еще не умер, зато умер его благородный соревнователь, его знаменитый противник Катрен Фрерон. При этом случился, по моему мнению, довольно

забавный инцидент: г-н де Вольтер получил из Парижа приглашение на похороны этого несчастного. Одна женщина, принадлежавшая, очевидно, к семье умершего, написала ему анонимное, находящееся у меня в руках письмо, в котором совершенно серьезно предлагала ему выдать замуж дочь Фрерона так же, как он выдал замуж внучку Корнеля. Она убедительно просила его об этом и даже указывала священника церкви св. Магдалины в Париже, к которому он должен обратиться по этому поводу. Господин де Вольтер сказал мне: «Если только Фрерон написал трагедии "Сид", "Цинна" и "Полиевкт", то я не откажусь выдать замуж его дочь».

Но он не всегда получал анонимные письма. Некто Клеман писал ему несколько раз, подписываясь своим именем. Этот Клеман, учитель в каком-то дижонском училище, считавший себя мастером в искусстве рассуждать и писать, приехал в Париж с намерением жить таким ремеслом, которое никакой учебной подготовки не требует. Он сделался «фолликуляром». Аббат де Вуазенон написал: *Zoile genuit Maevium, Maevius genuit Desfontaines, Guyotautem genuit Froron, Froron autem genuit Clement* («Зоил родил Мевия, Мевий родил Дефонтена, Гюйо родил Фрерона, Фрерон родил Клемана»). И вот как происходит вырождение знатных родов.

Этот Клеман с необычайной яростью, как бы защищая все свое достояние, набросился на маркиза де Сен-Ламбера, на Делиля и еще на нескольких академиков и все по поводу нескольких стихов. Господин де Вольтер написал о нем абба-

ту де Вуазенону: «Сколько бы он ни писал мне, ответа он от меня не получит — не стоит связываться; если бы это был Клеман Маро — ну, тогда дал бы я ему знать себя, а то просто Клеман, который в книжке более толстой, чем "Генриада", доказывает мне, что "Генриада" ничего не стоит, что я,— увы! — не хуже его знаю уже шестьдесят лет... Я начал свою карьеру двадцати лет со второй песни "Генриады". Тогда я был таков же, каков теперь г-н Клеман — я не понимал ничего. Вместо того, чтобы писать толстую книгу против меня, отчего бы ему не написать лучшую "Генриаду"? Что так легко!».

Есть люди, которые, приобретя привычку писать, не могут оставить ее до самой глубокой старости, как например, Гюэ и Фонтенель. Господин де Вольтер, удрученный годами и болезнями, работал всегда в веселом расположении духа. «Послание к Буало», «Послание к Горацию», «Тактика», «Диалог Пегаса и Старца», «Иван, который плачет и смеется» написаны им на восемьдесят втором году жизни. Он написал также «Вопросы "Энциклопедии"». Каждый том, по мере того, как он выходил, печатался зараз несколькими изданиями, и все они были с ошибками.

По поводу статьи «Мессия» следует отметить один довольно странный случай, показывающий, что глаза зависти не всегда видят хорошо. Статья «Мессия», уже напечатанная в большой парижской «Энциклопедии», принадлежит перу г-на Полье де Боттанса, главного пастора лозанской церкви, человека уважаемого как за его нравственность, так и за его ученость. Статья написана умно, продуманно, поучительно. Мы имеем оригинал, написанный целиком рукою

автора. Ее, по ошибке, приписали г-ну Вольтеру и нашли в ней множество заблуждений. Но как только стало известным, что ее писал священник, так сочинение тотчас же сделалось вполне христианским. Среди тех, которые попались в эту ловушку, надо считать экс-иезуита Нонота. Это тот человек, который вздумал отрицать, что в Дофинэ есть город Ливрон, который некогда был осажден по приказу Генриха III; человек, который не знал, что короли первого дома Франции имели по несколько жен одновременно, которому не известно, что Эвхериусь был создателем фиванской легенды. Он же написал в двух томах опровержение «Трактата о правах и духе народов» и наделал там тьму ошибок на каждой странице своих двух томов. Книга его разошлась благодаря тому, что он нападал на всем известного человека.

Изуверство этого Нонота доходит до того, что он в каком то религиозном или антифилософском словаре утверждает в статье «Чудеса», что в Дижоне из гостии (облатки причастия), проткнутой перочинным ножом потекла кровь, а другая гостия, в Доле, брошенная в огонь, полетела над алтарем. Монах Нонот, в доказательство этих двух фактов, приводит два латинских стиха одного президента из Франш-Контэ. Эти стихи, означают следующее: «Безбожник, зачем колеблешься ты признать человека Богом? Он доказал, что он человек по крови и Бог по пламени». Прекрасное доказательство! И им-то восхищается Нонот, говоря: «Вот каким образом следует поступать, чтобы уверовать в чудеса».

Но бедный Нонот, основывая свои верования на теологических дерзостях и на рассуждениях, заимствованных из до-

ма умалишенных, не знал, что в Европе есть более шестидесяти городов, где народ верит, что когда-то евреи протыкали ножом гостии, и из них текла кровь. Он не знает, что и по сию пору в Брюсселе празднуют память подобного происшествие. Он не знает чуда Медвежьей улицы в Париже, где народ каждый год сжигает фигуру уроженца Швейцарии или Франш-Контэ, который зарезал на этой улице Деву Марию с Младенцем. Он не знает чуда Кармелитов, по имени Бильет, и сотни других чудес в том же роде, которые празднуются подонками народа, и на которые указывают литературные подонки, желающие, чтобы люди верили в эти нелепости так же, как в чудо в Кане Галилейской и в чудо с пятью хлебами.

Все эти отцы Церкви — или выходцы из Бисетра, или выходцы из питейного дома; из них некоторые клянчили у г-на Вольтера на бедность, постоянно присылая ему пасквили и анонимные письма. Он бросал их в огонь, не читая. Размышляя о подлом и презренном ремесле этих несчастных, так называемых литераторов, он написал пьеску в стихах: «Бедняга» (Le pauvre Diable), в которой весьма ясно доказывает, что в тысячу раз лучше быть лакеем или привратником в порядочном доме, нежели влачить на улицах, в кафе и чердаках жалкое существование, еле-еле поддерживаемое продажей пасквилей, в которых судят королей, оскорбляют женщин, управляют государствами и ругают ближнего без тени остроумия.

В последние годы Вольтер выказывал глубокое равнодушие к своим произведения, которые он никогда не ставил

очень высоко и о которых никогда не говорил. Но их печатали достаточно, не спрашивая даже на то его согласие. Как только издание «Генриады», трагедий, истории или стихов («Fugitives») расходилось, так сейчас же предпринималось новое. Он писал издателям: «Не печатайте столько томов моих сочинений; с таким тяжелым грузом не доедешь до потомства». Но его не слушали и печатали второпях, не спрашивая его. Совершенно невероятным, но вполне верным фактом следует считать то, что в Женеве было напечатано великолепное издание его сочинений in quarto, из которого он ни одного листа не видал, и в которое попали несколько сочинений, принадлежащих вовсе не ему, а некоторым другим известным авторам. По поводу всех этих изданий он писал и говорил друзьям: «Я смотрю на себя, как на покойника, движимость которого подвергается распродаже».

Примечания

[1] *«Математические начала натуральной философии»* — фундаментальный труд И. Ньютона(1687).

[2] *Театинцы* — духовный орден, основанный в XVI столетии Таэтоном Твенским и Петром Араффа, епископом в Теато.

[3] Этот непереводимый шуточный куплет имеет приблизительно такой смысл: «Они будут встречены как варвары, мой друг».

[4] *Каудинское ущелье* (Furculae Caudinae) — ущелье, прославившееся в древности тяжелыми условиями мира, заключенного римлянами со своими победителями самнитянами.

[5] *Авраам Шоме* (Chaumeix), бывший фабрикант уксуса, сделавшийся янсенистом и духовидцем, был тоже оракулом Парижского парламента. Омер Флери цитирует его как отца Церкви. Впоследствии Шоме был школьным учителем в Москве. (*Прим. автора*).

[6] *Картуш* — знаменитый вор и разбойник.

[7] Настоящее имя Вольтера — Франсуа Мари Аруэ; *де Вольтер* — имя, прибавленное впоследствии.

[8] «Королева пьет!» — шуточное восклицание при игре с запеченным в пирог бобом, в которую во Франции играют 6 января в день Поклонения волхвов.

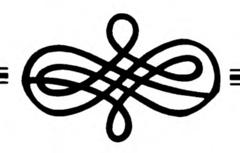
[9] *«Фолликуляр»* — этим словом Вольтер называл плохих журналистов.

[10] *Бисетр* — бывший картезианский монастырь, превращенный впоследствии в убежище для умалишенных.

[11] *Genus implacabile vatum* — «беспощадное племя поэтов» (*лат.*), парафраз Горациевского «genus irritabile vatum» — «раздражительное племя поэтов».

[12] *Фигурировать в изображении (in effigie) на городской площади* — т. е. встать у позорного столба, к которому выставляли преступников или, в случае бегства преступников, их изображение (отсюда: казнь *in effigie*).


Философская
проза



Трактат о веротерпимости,

написанный по поводу казни Жана Каласа в 1763 году

Введение

Смеем думать, что, к чести нашего столетия, в Европе не найдется ни одного просвещенного человека, который не считал бы веротерпимость долгом правосудия, долгом, который предписывают нам человечность, совесть, религия; законом, необходимым для сохранения мира и для процветания государств. Если же среди класса людей, позорящих литературу своей жизнью и своими сочинениями, некоторые и осмелятся восстать против этого взгляда, то им с успехом можно представить правила и образ действий пра-

вительства Соединенных Штатов Северной Америки, обоих парламентов Великобритании[1], Генеральных Штатов (Голландии), римского императора, императрицы Российской, короля Прусского, короля Шведского и польской республики. От Северного полярного круга до 50-го градуса широты, от Камчатки до берегов Миссисипи,— всюду веротерпимость устанавливалась без волнений и смут. Хотя польские конфедераты и примешивали кое-какие религиозные мотивы к проекту убийства своего короля и к своему союзу с турками, но это неуместное применение религии доказывает еще более необходимость веротерпимости для сохранения мира и спокойствия.

Каждый законодатель, исповедующий какую-либо религию и признающий права совести, должен быть веротерпим: он должен сознавать, как несправедливо и как жестоко принуждать человека выбирать между казнью и действиями, которые он считает преступными. Он видит, что все религии опираются на факты, утвержденные на известном роде доказательств, на истолковании известных книг, на одной общей идее беспомощности человеческого разума; он видит, что ко всем религиям принадлежали просвещенные и добродетельные люди; что противоположные мнения поддерживались людьми добросовестными, которые всю жизнь размышляли об этих вопросах. Неужели же законодатель будет настолько твердо убежден в своем веровании, чтобы считать врагами Бога тех, кто думает иначе, нежели он? Будет ли он рассматривать свое внутреннее руководящее им убеждение как юридическое доказательство, дающее ему право на жизнь

или на свободу людей, думающих иначе, нежели он? Неужели он не будет сознавать, что те, кто исповедует иное учение, имеют по отношению к нему такое же законное право, как и то, которым он вооружился против них?

Теперь представим себе человека, который не имеет никакой религии, считает их все нелепыми баснями. Будет ли этот человек нетерпимым? Разумеется — нет. Так как его доказательства совершенно иного рода, и основы его убеждений опираются на совершенно иные принципы, то и обязанность быть веротерпимым основывается для него на других мотивах. Если он смотрит на приверженцев различных религий, как на безумцев, то может ли он считать себя вправе рассматривать религию как преступление, безумие, не нарушающее общественного порядка, и лишать прав людей, которых это безумие не делает неспособными к пользованию своими правами? Может ли он, по совести, не терпеть их, когда терпит существование обманщиков, исповедующих верования, которые им чужды, верования обманутых ими людей, на счет которых они живут и обогащаются? Следовало бы иметь средство доказать юридически, что какой-либо человек, исповедующий известное нелепое мнение, не верит ему, но понятно, что такого средства быть не может. Даже идея, что такое мнение может быть опасным по своим последствиям, не оправдывает подобного закона нетерпимости. Только мнение, прямо провозглашающее смуту или убийство как долг, могло бы рассматриваться как преступление; но в этом случае это будет уже не религиозная нетерпимость, а охранение порядка и спокойствия общества.

Если же мы будем теперь рассматривать правосудие и охрану прав людей, то мы найдем, что свобода убеждений, свобода исповедовать их публично и сообразоваться с ними в своем поведении во всем, что не наносит ущерба правам другого человека, есть столь же реальное право, как и право личной свободы и собственности. Таким образом, всякое ограничение в пользовании этим правом противоречит справедливости и всякий закон против веротерпимости есть закон несправедливый.

Конечно, законом следует считать в этом случае лишь закон постоянный, так как возможно, что род лихорадочного возбуждения, вызываемый ревностью к религии, требует на известное время, в известной стране иного режима, чем при здоровом состоянии, но в таком случае подобные законы оправдываются единственно безопасностью и спокойствием тех, которых лишают прав. Общее благо человечества, составляющее главное стремление всех добродетельных сердец, требует свободы убеждений, совести, культа прежде всего потому, что эта свобода представляет собой единственное средство установить между людьми истинное братство, так как если невозможно соединить их в общем религиозном веровании, то надо научить их смотреть на всех людей с иными, чем у них, убеждениями как на братьев, и относиться к ним как к братьям. Эта свобода есть также и самое верное средство дать умам возможность проявить всю свойственную человеческой природе деятельность, узнать истину относительно всех вопросов, тесно связанных с моралью, и за-

ставить всех признать эту истину; а отрицать то, что знание истины составляет высшее благо для людей — невозможно. И действительно, невозможно, чтобы в какой-либо стране утвердился или продолжал существовать закон, противный тому, что общее мнение людей, получивших либеральное развитие, будет считать несоответствующим ни праву граждан, ни общему благу. Такая общепризнанная истина не может изгладиться из памяти, и заблуждение не может восторжествовать над ней. Во всех политических устройствах это есть единственная преграда, которую можно противопоставить произвольному насилию, злоупотреблению силой. Может ли политика иметь иные цели? Разве реальная сила, богатство, а в особенности счастье страны, не зависят от мира, царствующего внутри государства? Все эти вещи, связанные между собой, связаны и с терпимостью в области мнений, а в особенности, мнений религиозных, единственно волнующих народ. Веротерпимость в больших государствах необходима для устойчивости правительства. И действительно, правительству, имеющему в своем распоряжении средства общественного принуждения, нечего опасаться отдельных личностей, пока последние не могут собрать вокруг себя достаточного числа людей, чтобы оказать сопротивление, равное правительственной полиции и войскам, или же пока они не будут в состоянии лишить правительство той силы, которой оно располагает. Нетрудно убедиться в том, что религиозные мнения, которые, вследствие отсутствия веротерпимости, соединяют людей в меньшее число групп, одни только

способны дать отдельным личностям эту опасную власть. Веротерпимость же, напротив, не может производить никаких смут и отнимает всякий предлог к волнениям. Она естественным образом разъединяет мнения: в стране, разделенной на множество сект, ни одна не может претендовать на господство, и потому все они остаются спокойными.

Противники политической терпимости в протестантских странах утверждают, что не следует терпеть католичество, потому что оно стремится установить власть духовенства на развалинах монархической власти; а в католических странах говорят, что протестантские общины недопустимы, потому что они враждебны абсолютной власти. Разве для человека со здравым смыслом это противоречие не служит достаточным доказательством того, что следует терпеть все религии, дабы ни одна не могла приобрести господствующей власти, не могла бы сделаться опасной? Некоторые уверяют, что так как свобода мысли является естественным следствием терпимости и ведет к уничтожению морали, то нетерпимость необходима для счастья людей. Но это клевета на человеческую природу. Неужели же люди, как только начнут рассуждать, сделаются подлецами? Неужели же добродетель, честность основываются только на софизмах, которые исчезнут, как только люди получат свободу критиковать их? Мнение это опровергается фактами. Среди людей, совершающих преступления, встречается гораздо более людей верующих, нежели свободомыслящих, и мы отнюдь не должны смешивать свободное мышление — результат работы ума, с безнравственными

правилами, проповедуемыми подонками общества во всех странах. Эти правила — плоды грубых инстинктов, а не разума, с ними можно бороться и уничтожить их только разумом.

Если вы хотите, чтобы люди любили добродетель и были добродетельными, так предпочитайте людей, желающих сделать своих ближних разумными, лицам, старающимся прибавить новые заблуждения к заблуждениям, в которые люди могут быть вовлечены их инстинктами. Люди, верующие, что религия, исповедуемая ими, истинна, должны стремиться к веротерпимости: во-первых, чтобы иметь право на терпимость по отношению к себе в странах, где религия их не имеет преобладающего значения, а затем для того, чтобы их религия могла подчинить себе все умы. Каждый раз, как люди пользуются свободой защищать свои идеи, истина всегда торжествует. Смотрите, что с того недавнего времени, как позволено рассуждать о колдовстве, это столь распространенное с древнейших времен заблуждение почти совершенно исчезло. Неужели вы думаете, что необходимы палачи, убийцы для того, чтобы люди перестали верить в ложных богов и духов?

Но вот, хотя природа, разум, политика, истинное благочестие побуждают к веротерпимости, все же есть люди, которые стремятся к преследованию, и если более просвещенные, более гуманные правительства и не отдают им на жертву людей, то в их распоряжение предоставляют книги и, под страхом тяжкого наказания, стесняют свободу печатного слова. Что же из этого получается? В тайных изданиях свобода доходит до

разнузданности, и если в этих книгах провозглашаются опасные принципы, то ни один нравственный и честный человек не захочет,— если только имя автора пользуется дурной славой,— опровергать их, чтобы не скомпрометировать этим самого себя. Следовательно, мерами подавления достигается только то, что защитниками этих книг являются люди презираемые.

Иногда также весьма почтенные корпорации громко требуют, чтобы не допускались в государство книги, в которых опровергаются их мнения. Они, вероятно, не знают, что две эти фразы: «Прошу вас воспользоваться вашим влиянием, чтобы помешать моему противнику оспаривать мои идеи» и «Я не верю в то, что проповедую»,— совершенно тождественны.

Что сказали бы вы о человеке, который не хотел бы, чтобы судья выслушал обе стороны? А какую бы вы религию ни проповедовали, вы — когда дело касается истины — представляете собой лишь одну из спорящих сторон. Ваши судьи — разум и совесть каждого человека. Какое право имеете вы помешать человеку узнать истину? Какое право имеете вы запретить ему просвещать своих ближних? Если ваша вера имеет доказательства, то почему вы боитесь, чтобы ее рассматривали? Если же ее доказать нельзя, если она может быть внушена лишь особенной милостью Божьей, то зачем же вы хотите присоединить человеческое насилие к этой благодатной силе? Во Франции существует книга, которая содержит в себе наисильнейшее возражение против религии:

это реестр доходов духовенства, реестр слишком хорошо известный всем, хотя епископы и отказались представить его экземпляр королю.

Это одно из тех возражений, которые одинаково поражают и народ, и философа, и на которое может быть лишь один ответ: отдать государству то, что получило от него духовенство, и установить религию на тех началах жизни, на которых, как говорят, была основана жизнь общин, впервые устанавливавших христианство? Стали бы вы слушать профессора физики, который получал бы плату за преподавание одной системы и потерял бы свое состояние, преподавая другую систему? Стали бы вы слушать человека, проповедующего смирение и заставляющего называть себя «ваша светлость», провозглашающего принцип нестяжания и накопляющего богатства? Спрашивается также, почему духовенство, пользующееся приблизительно пятой частью государственных имуществ, хочет вести войну за счет народа? Если оно находит некоторые книги опасными для себя, пусть оно заставит написать их опровержение и подороже заплатит авторам. Впрочем, для того, чтобы скупить все антирелигиозные книги, печатающиеся в Европе, потребовалось бы не более двух миллионов в год, а этот расход не составил бы налога и в одну пятидесятую часть на духовные имущества: ни одной нации война не обходится так дешево.

В какой-то брошюре было сказано, что свободные мыслители нетерпимы. Это не имеет смысла, так как свободомыслие

и веротерпимость — синонимы. Приводимое тому доказательство было очень забавно: философы,— говорилось в брошюре,— подымают своих противников на смех и жалуются на вредные или отвратительные преимущества духовенства. Насмешка над нелепыми рассуждениями не есть отсутствие веротерпимости. Если бы эти плохо рассуждающие люди были честны и веротерпимы, то нападать на них было бы нехорошо, но они нахальны и придирчивы, а потому это только акт справедливости, услуга, оказываемая человечеству. Да, наконец, это ни в каком случае нельзя назвать нетерпимостью: смеяться над человеком или преследовать его — две вещи разные.

Если подвергающиеся нападению преимущества плохо обоснованы, то протестующий против них требует только восстановления отнятых у него прав. Разве это значит быть нетерпимым, если мы затеваем процесс против того, кто отнял у нас имущество? Процесс может быть неправильный, но нетерпимости тут нет.

Говорили также, что свободные мыслители были опасны потому, что составляли секту,— это опять-таки абсурд. Они не могут составлять секты, так как их главный принцип гласит: каждый должен пользоваться свободой думать и провозглашать то, что он думает. Но они соединяются против преследователей, а согласиться в том, чтобы защищать самое благородное и самое священное право, которое получил человек от природы,— не значит составлять секту.

Краткая история казни Жана Каласа

Убийство Жана Каласа, павшего в Тулузе 9 марта 1762 года под мечом правосудия, представляет собой одно из самых удивительных явлений, заслуживающих внимания современников и потомства. Мы скоро забываем бесчисленное множество людей, погибших в сражениях, забываем их не только потому, что это составляет неизбежное роковое следствие войны, но и потому, что те, которые умирают в битвах, могли также причинять смерть врагам своим и погибли защищаясь. Там, где опасность и выгода равны, мы перестаем удивляться, и даже жалость притупляется в нас. Но если отец семейства без вины предается во власть заблуждения, пристрастия или фанатизма; если обвиняемый не имеет иной защиты, кроме своей добродетели; если люди, в руках которых находится его жизнь, рискуют, убивая его, только ошибкой; если они безнаказанно могут, путем приговора, погубить его,— тогда поднимается всеобщий крик, каждый боится за себя, все видят, что никто не может быть уверен в безопасности своей жизни перед судом, установленным для того, чтобы оборонять жизнь граждан, и все в один голос требуют отмщения.

В этом удивительном процессе смешались вопросы о религии, о самоубийстве, детоубийстве. Следовало узнать, действительно ли отец и мать удавили своего сына, чтобы угодить

Богу, удавил ли брат своего брата, удавил ли друг своего друга, и могут ли судьи упрекнуть себя в том, что казнили смертью на колесе невинного отца или же пощадили преступных мать, брата и друга.

Жан Калас, шестидесяти восьми лет от роду, по профессии был купцом в Тулузе в течение сорока лет, и все признавали его добрым отцом семейства. Он принадлежал к протестантской религии, так же как его жена и все дети, за исключением одного отрекшегося от ереси сына, которому отец выплачивал небольшую пенсию. Он, по-видимому, был так далек от всякого нелепого изуверства, разрывающего все узы общества, что одобрил обращение своего сына Луи Каласа и в течение тридцати лет держал у себя служанкой ревностную католичку, вырастившую всех его детей. Один из сыновей Жана Каласа, Марк-Антуан, был литератором; он слыл неспокойным, мрачным и вспыльчивым. Этот молодой человек не мог ни заняться торговлей, к которой он был неспособен, ни адвокатурой, так как, чтобы быть принятым в корпорацию адвокатов, необходимы были свидетельства принадлежности к католическому вероисповеданию, которых он не мог получить. Поэтому он решился покончить с собой и намекнул на это намерение одному из своих друзей. Он укреплялся в своем решении, читая все, что было написано о самоубийстве.

Наконец, однажды, проиграв все свои деньги в карты, он избрал этот же день для приведения своего намерения в исполнение. Один приятель его семьи и его самого, по имени Лавес, юноша девятнадцати лет, известный чистотой нравов

и кротостью характера, сын знаменитого тулузского адвоката, прибыл из Бордо накануне (12 октября 1761 года) и случайно остался ужинать в семье Каласов. Отец, мать, Марк-Антуан, их старший сын, Пьер, их младший сын, ужинали вместе с ним. После ужина все перешли в маленькую гостиную. Марк-Антуан исчез. Наконец, когда, юный Лавес хотел уходить, Пьер Калас сошел с ним вниз, и они нашли там, около магазина, Марка-Антуана, в рубашке, повесившимся на двери. Платье его лежало сложенным на прилавке, рубашка не была даже в беспорядке, волосы были гладко причесаны, на теле не было ни раны, ни ушиба. Мы пропускаем здесь все подробности, переданные адвокатом. Мы не будем описывать отчаяние и горе родителей, крики их слышали соседи. Лавес и Пьер Калас, крайне взволнованные, побежали за доктором и за полицией. В то время как они хлопотали, а отец и мать рыдали и плакали, вокруг дома столпился народ.

Этот народ суеверен и заносчив, он смотрит как на чудовищ на тех, кто исповедует иную веру, нежели он. В Тулузе некогда торжественно благодарили Бога за смерть Генриха III и дали клятву в том, что убьют всякого, кто первый заговорит о призвании королем доброго Генриха IV. В Тулузе и по сие время еще празднуется каждый год процессией и фейерверком тот день, когда этот город перерезал четыре тысячи жителей-еретиков двести лет тому назад. Тщетно шестью указами городского совета запрещался этот отвратительный праздник, тулузцы продолжали праздновать этот день, как Игры Цветов. Какой то фанатик среди черни закричал, что

Жан Калас повесил своего собственного сына Марка-Антуана. Этот крик в одну минуту повторила вся толпа, другие прибавили, что умерший на следующий день должен был отречься от ереси, что семья его и юный Лавес повесили его из ненависти к католической религии,— минуту спустя в этом никто уже не сомневался.

Весь город проникся уверенностью, что, согласно протестантской религии, отец и мать обязаны убить своего сына, если он хочет перейти в католичество. Взволновавшиеся умы на этом не остановились. Выдумали, что протестанты Лангедока собрались накануне и избрали большинством голосов палача своей секты, и выбор пал на молодого Лавеса, что последний в 24 часа получил известие о своем избрании и приехал из Бордо, чтобы помочь Жану Каласу, его жене и их сыну удавить друга, брата, сына. Давид, городской голова Тулузы, возбужденный этими слухами и желая отличиться исполнительностью и быстротой действий, начал поступать против всех правил и постановлений. Семья Каласов, служанка-католичка и Лавес были закованы в кандалы. Составили протокол еще более неправильный, чем судопроизводство, и пошли еще далее: Марк-Антуан умер кальвинистом, и если он сам лишил себя жизни, его тело подлежало позорному погребению, но его похоронили с большой пышностью в церкви св. Стефана, вопреки кюре, протестовавшему против такого кощунства.

В Лангедоке существуют четыре братства пенитентов (кающихся) — белое, синее, серое и черное. Братья носят длинный капюшон с суконной маской о двух отверстиях для

глаз; они хотели уговорить герцога Фитц-Джемса, губернатора провинции, вступить в их корпорацию, но он отказался. Белые братья устроили Марку-Антуану торжественные похороны, как мученику. Никогда еще ни одна церковь не совершала с большей помпой погребение настоящего мученика; но эта помпа была ужасна. Над великолепным катафалком поставили скелет; скелет этот приводили в движение, и он представлял Марка-Антуана Каласа, держащего в одной руке пальму, а в другой перо, которым он должен был подписать свое отречение от ереси, и которым в действительности подписывал смертный приговор своего отца. Затем оставалось только канонизировать несчастного самоубийцу.

Весь народ смотрел на него, как на святого; некоторые молились ему, другие ходили поклониться его могиле; некоторые требовали от него чудес и рассказывали, что эти чудеса совершались. Один монах вырвал у него несколько зубов, чтобы иметь не поддающиеся разрушению реликвии. Одна немного глухая богомолка говорила, что она слышала звон колоколов. Один разбитый параличом священник выздоровел, приняв рвотное. Об этих чудесах составили протоколы. Пишущий эти строки имеет доказательство того, что один молодой человек сошел с ума, помолившись несколько ночей на могиле нового святого и не получив чуда, о котором молил.

Несколько судей принадлежало к братству белых пенитентов. Смерть Жана Каласа была неизбежной. Особенно подготовило народ к его казни приближение того празднества, которое тулузцы совершают каждый год в память из-

биения четырех тысяч гугенотов. В 1762 году была как раз столетняя годовщина этого события, и в городе происходили приготовления к торжеству: это еще более воспламеняло воображение людей, и в народе открыто говорили, что эшафот, на котором будут колесовать Каласов, будет величайшим украшением праздника; говорили, что провидение само послало жертв для заклания в честь нашей святой веры. Человек двадцать слышали такие и еще более ужасные речи. И это происходит в наше время! В то время, когда философия сделала такие успехи! Когда писатели академий стараются смягчить нравы! Кажется, что фанатизм, предчувствуя торжество разума, отбивается под ударами его с удвоенным бешенством.

Тринадцать судей собирались ежедневно для ведения этого процесса. Против семьи Каласов не было и не могло быть никаких доказательств, но доказательством служила якобы оскорбленная религия. Шесть судей долгое время упорно стояли на колесовании Жана Каласа, его сына и Лавеса и на сожжении на костре его жены. Семеро других, менее фанатичных, хотели, чтобы, по крайней мере, произведено было следствие. Прения тянулись долго. Один из судей, убежденный в невиновности подсудимых и в невозможности преступления, стал горячо защищать их; он противопоставил рвение человеколюбия рвению жестокости и стал защищать Каласов во всех домах Тулузы, где непрерывные крики ложно понятой религии требовали крови этих несчастных. Другой судья, известный своей жестокостью, наоборот, говорил в городе с ужасным озлоблением против Каласов. Одним сло-

вом, они наделали так много шума, что оба принуждены были отказаться от участия в деле и выехали из города. Но по странной и несчастной случайности, судья, защищавший Каласов, по добросовестности, не взял своего отказа назад, тогда как другой вернулся, чтобы подать голос против того, кого не должен был судить, а этот голос и был решающим в приговоре к колесованию; было только восемь голосов против пяти, так как один из шести судей, противившихся такому решению после многих споров перешел на сторону обвинения.

Мне кажется, что когда дело идет о детоубийстве, о предании отца семейства самому страшному истязанию, приговор должен бы постановляться единогласно, потому что доказательства такого неслыханного преступления должны быть очевидны для всякого: малейшее сомнение в подобном случае должно смущать и устрашать судью, готовящегося подписать смертный приговор. Слабость нашего разума и несостоятельность наших законов обнаруживаются каждый день; но более всего выказывается эта несостоятельность в тех случаях, когда преобладание одного голоса предает мучительной смерти кого-либо из граждан. В Афинах требовался перевес пятидесяти голосов для произнесения смертного приговора. Что же из этого следует? То, что нам без всякой пользы для нас известно, а именно, что греки были мудрее и человечнее нас.

Казалось бы, невозможно было представить себе, чтобы Калас, 68-летний старик, с больными и распухшими ногами, мог один удавить своего двадцативосьмилетнего сына, ода-

ренного более чем обыкновенной силой. Для этого понадобилась помощь его жены, сына Пьера Каласа, Лавеса и служанки. Эти люди не расставались весь вечер в этот роковой день. Но это предположение было так же нелепо, как и первое: каким образом служанка, ревностная католичка, потерпела бы, чтобы еретики убивали молодого человека, выросшего на ее руках, за приверженность к ее собственной религии? Каким образом Лавес приехал нарочно из Бордо, чтобы задушить своего друга, о предполагаемом обращении которого он ничего не знал? Каким образом они могли удавить молодого человека более сильного, чем все они вместе, без продолжительной и упорной борьбы, без ужасных криков, которые привлекли бы всех соседей, без множества ударов, без ран, даже не разорвав его одежды? Очевидно, что если бы совершено было убийство, все обвиняемые были бы одинаково виновны, так как не расставались ни на минуту; очевидно, что они не были виновны; очевидно, что один отец не мог совершить преступление, а между тем, суд его одного приговорил к колесованию. Мотивировка приговора была столь же непонятна, как и все остальное.

Судьи, стоявшие за казнь Каласа, убедили прочих, что этот слабый старик не вынесет мучений: он признается под ударами палачей в своем преступлении и выдаст сообщников. Однако они были смущены, когда старик, умирая на колесе, призвал Бога в свидетели своей невинности и молил Его простить его судьям. Они принуждены были произнести другой противоположный первому приговор; но когда один из членов

совета растолковал им, что этот приговор уничтожает первый, что они осуждают сами себя, что так как в момент предполагаемого преступления все обвиняемые находились вместе, то освобождение всех обвиненных несомненным образом доказывает невиновность казненного отца. Тогда судьи решили изгнать его сына Пьера Каласа. Это изгнание было так же нелепо, как и все остальное. Пьер Калас был или виновен, или невиновен в убийстве: если он был виновен, то его следовало казнить так же, как отца; если он был невиновен, то не за что его было подвергать изгнанию. Но судьи, напуганные казнью отца и трогательной набожностью, с которой он умер, вздумали спасти свою честь, делая вид, что они даруют помилование сыну, как будто это не было новым превышением права относительно помилования. Они подумали, что изгнание молодого человека, бедного и беспомощного, не имеет значения, не составляет большой несправедливости после той, которую они совершили. Начали с того, что Пьера Каласа в тюрьме стали стращать тем, что его постигнет участь его отца, если он не отречется от своей веры. Пьер Калас клянется в том, что это правда.

Выйдя из города, Пьер Калас встретил аббата, занимавшегося обращением в католичество; аббат заставил его вернуться в Тулузу. Его заключили в доминиканский монастырь и принудили соблюдать все обряды католической религии: это должно было быть ценою крови отца. Религия, за которую хотели отомстить, получила удовлетворение. Дочерей отняли у матери и заключили в монастырь. Женщина эта, чуть не

обрызганная кровью мужа, державшая в своих объятиях мертвого сына, видевшая другого сына осужденным на изгнание, разлученная с дочерьми, лишенная всего своего достояния, одинокая на всем свете, без хлеба, без пристанища, умирала под бременем своего несчастья. Некоторые лица, рассмотрев основательно все обстоятельства этого ужасного дела, были так поражены им, что уговорили вдову Калас, жившую в полном уединении, идти просить правосудия у подножия трона. Она не в силах была поддерживать свое существование, и жизнь ее угасала. Кроме того, ее, как англичанку по рождению, перевезенную во французскую провинцию в ранней юности, пугало уже одно слово «Париж». Она воображала себе, что столица государства должна быть еще более жестокой, чем Лангедок. Наконец, мысль отомстить за память мужа восторжествовала над ее слабостью. Она приехала в Париж умирающая и удивилась, что нашла здесь поддержку и сочувствие.

В Париже разум всегда берет верх над фанатизмом, как бы ни был силен последний, тогда как в провинции фанатизм почти всегда торжествует над разумом.

Господин де Бомон, знаменитый адвокат Парижского парламента, прежде всего вступился за нее и составил заключение, подписанное пятнадцатью адвокатами. Не менее красноречивый адвокат Луазо написал доклад в пользу этой семьи. Господин Мариет, адвокат совета, составил юридическое прошение, убедительное для каждого. Эти три великодушных защитника законов и невинности, предоставили несчастной вдове доход с издания их защитительных речей[2]. Париж и вся Европа тронулись жалостью и требовали пра-

восудия для этой несчастной. Приговор был произнесен всем обществом ранее, чем он мог быть подписан советом. Сострадание проникло в министерство, несмотря на непрерывный поток дел, часто заглушающий жалость, и несмотря на привычку видеть несчастных, привычку, от которой грубеют сердца. Дочерей возвратили матери. Все три они в траурных вуалях заставили судей пролить слезы жалости. И несмотря на это, у несчастной семьи нашлись еще враги, так как тут замешана была религия.

Несколько личностей, которых называют ханжами, громко стали говорить, что лучше было колесовать без вины одного старого кальвиниста, нежели принудит восемь судей Лангедока сознаться, что они ошиблись. При этом употреблено было даже такое выражение: «На свете больше судей, чем Каласов», из чего заключили, что семья Каласов должна быть принести в жертву чести судебного сословия. А о том не думали, что честь судей, как и всех людей, состоит в готовности исправлять свое ошибки. Во Франции не верят, что Папа, со всеми своими кардиналами, непогрешим; точно так же могли бы не верить и тому, будто восемь тулузских судей непогрешимы. Все остальные здравомыслящие и беспристрастные люди говорили, что приговор тулузских судей был бы отменен во всей Европе, даже если бы особые соображения помешали отменить его в совете.

В таком положении находилось это удивительное дело, когда в некоторых беспристрастных, но чувствительных душах зародилось желание предложить публике несколько рассуждений о веротерпимости, о снисходительности, о сострадании

дании, которое аббат Гутвил в своей напыщенной и полной заблуждений статье называет чудовищным догматом и которое разум именует принадлежностью природы.

Или тулузские судьи, увлеченные фанатизмом черни, приговорили к колесованию невинного отца, что является беспримерным деянием, или этот отец и его жена удавили своего старшего сына, с помощью другого сына и друга, что противно природе. В том и другом случае злоупотребление самой священной религией произвело великое преступление. Следовательно, интересы человечества требуют рассмотреть вопрос, должна ли религия быть милосердной или жестокой.

Последствия казни Жана Каласа

Если белые пенитенты были причиной смертной казни невинного, совершенного разорения целой семьи, ее гибели и позора, которым должна бы быть заклеймена несправедливость, но который в действительности постигает только казненного; если поспешность белых пенитентов, прославлявших как святого человека, которого следовало оставить, сообразно с вашим диким законом, без погребения, заставила колесовать добродетельного отца семейства, это несчастье должно действительно сделать их пенитентами — кающимися — на всю их остальную жизнь. Как они, так и судьи должны

плакать, но не в длинной белой одежде и не в маске, скрывающей их лицо.— Братства пользуются уважением, они учат народ; но какова бы ни была польза, приносимая ими государству, разве эта польза может сравниться с тем ужасным злом, которое они причинили? Братства, по-видимому, созданы рвением, воодушевляющим в Лангедоке католиков против тех, которых мы называем *гугенотами*. Можно подумать, что люди дали обет ненавидеть своих братьев; так как религии нам хватает лишь на то, чтобы злобствовать и преследовать, но не хватает на то, чтобы любить и помогать.

А что было бы, если бы этими братствами руководили энтузиасты, как это было прежде в некоторых конгрегациях ремесленников и *господ*, у которых возведено было в искусство и в систему вызывать видения, как выразился один из наших наиболее ученых и красноречивых судей? Что было бы, если бы учредили в этих братствах темные комнаты, называемые комнатами *размышления*, расписанные чертями с рогами и когтями, адское пламя, кресты и мечи, а над всем этим святое имя Иисуса? Какое зрелище для возбужденного воображения, находящегося в полном подчинении у духовных руководителей! Мы все знаем, насколько в былые времена некоторые братства были опасны. Фрероты и флагелланты производили смуты. Лига начала свои действия с таких ассоциаций. Зачем отличаться таким образом от прочих граждан? Разве они себя считают лучше их? Это одно уже составляет оскорбление нации. Разве хотели, чтобы все христиане и вошли в братство? Чудный вид представляла бы Европа в капюшонах и в масках с маленькими круглыми ды-

рочками для глаз! Неужели можно серьезно думать, что Бог предпочитает этот балахон кафтану? Мало того, это одеяние есть мундир бунтовщиков, предупреждающий неприятелей, чтобы они держались настороже. Оно может возбудить в умах мысль о гражданской войне, которая могла бы кончиться роковыми излишествами, если бы король и министры не были столь же мудры, сколь эти фанатики безумны.

Мы знаем все, во что обошлись споры христиан о догматах: кровь текла начиная с IV века, и на эшафотах, и в сражениях. Ограничимся здесь обзором войн и ужасов, вызванных Реформацией и посмотрим, отчего они произошли во Франции. Может быть, сжатая, но верная картина стольких бедствий откроет глаза многим несведущим людям и тронет благородные сердца.

Идея Реформации в XVI веке

Когда в эпоху возрождения литературы просвещение коснулось умов, начали раздаваться жалобы на злоупотребления: все признают, что жалобы эти были справедливы.

Папа Александр VI открыто купил себе тиару, а его пятеро незаконных сыновей поделили между собой связанные с нею привилегии. Сын его, кардинал герцог Борджиа, с согласия своего отца, папы, умертвил вельмож Вителли, Урбино, Гра-

вина, Оливеретто и множество других, чтобы завладеть их землями. Юлий II, с теми же намерениями, отлучил от церкви Людовика XII и отдал его королевство другому. Сам же он, со шлемом на голове и с панцирем на груди, предал мечу и огню часть Италии. Лев X, чтобы платить за свои удовольствия, торговал индульгенциями, как торгуют на рынке съестными припасами. Те, которые поднялись против этих грабежей, были бесспорно правы по отношению к морали. Посмотрим, были ли они также правы относительно нас в политике?

Они говорили, что Иисус Христос, никогда не требовавший налогов и податей, никогда не продававший отпущения грехов ни в этой, ни в будущей жизни, не мог не платить податей чужеземному государю.

Если бы аннаты и процессы в римском суде и папские разрешения, существующие еще и по сие время, стоили нам только пятьсот тысяч франков в год, то мы с царствования Франциска I в 250 лет заплатили 125 миллионов франков, а если принять во внимание различную ценность серебряного сплава, эта сумма доходит до 250 миллионов нынешних денег. Следовательно, мы, не впадая в грех богохульства, можем сознаться, что еретики, предлагая отмену этих удивительных налогов, которые для потомства будут непонятны, отнюдь не делали вреда государству и были скорее хорошими счетчиками, нежели дурными подданными. Прибавим, что они одни только знали греческий язык и были знакомы с Древним миром. Не будем также скрывать, что, несмотря на свои заблуждения, они способствовали развитию человеческого ума, столь долго пребывавшего в глубоком невежестве.

Но так как они отрицали чистилище, в которое следует верить, и которое, кроме того, доставляло большой доход монахам; так как они не поклонялись мощам, которые следует почитать, ибо они приносят еще больший доход; наконец, так как они нападали на весьма почитаемые догматы,— их предавали сожжению. Король, который покровительствовал им и поддерживал их в Германии, в Париже пошел во главе процессии, после которой многих из этих несчастных предали смерти. И вот какова была их казнь. Их подвешивали к концу длинной балки, качающейся коромыслом на столбе; под ними разведен был большой огонь; их то опускали в него, то поднимали кверху. Таким образом, их заставляли испытывать мучения медленной смерти до тех пор, пока они не умирали в самых продолжительных и ужасных муках.

Немного спустя, после смерти Франциска I, несколько членов парламента в Провансе, натравленные духовенством на жителей Мирандоля и Кабриера, выпросили у короля войско для исполнения казни над девятнадцатью гражданами этой страны, приговоренными ими. Они истребили шесть тысяч человек, не разбирая пола, не щадя ни стариков, ни детей, и сожгли тридцать селений дотла. Жители эти, до сих пор никому не известные, конечно, были виновны в том, что родились вальденцами — это было единственное их преступление. Триста лет назад они поселились среди этих пустынь и гор, которые, путем невероятного труда, сделали плодородными. Их спокойный пастушеский образ жизни представлял собой образец жизни людей первых времен мироздания. Они знали соседние города только благодаря торговле плодами,

которые они там продавали; военные приемы им были незнакомы; они не защищались, и их перебили, как стадо животных, загнанных в загороженное место.

После смерти Франциска I, государя известного более любовными похождениями и своими неудачами, нежели жестокостью,— казнь тысячи еретиков, а в особенности казнь советника Дюбур и, наконец, кровавая расправа в Васси возмутили преследуемых, секта которых умножилась при свете костров и под мечом палачей. Бешенство уступило место терпению, и они стали подражать зверствам своих врагов: девять гражданских войн залили Францию кровью, мир, более ужасный чем война, дал Варфоломеевскую ночь, подобной которой не встречается в летописях преступления. Лига умертвила Генриха III и Генриха IV рукою монаха-якобинца и рукою чудовища, бывшего монаха-фельянта[3]. Есть люди, утверждающие, что гуманность, снисходительность, свобода совести — вещи ужасные; но, говоря чистосердечно, разве бы они произвели такие, ни с чем не сравнимые бедствия?

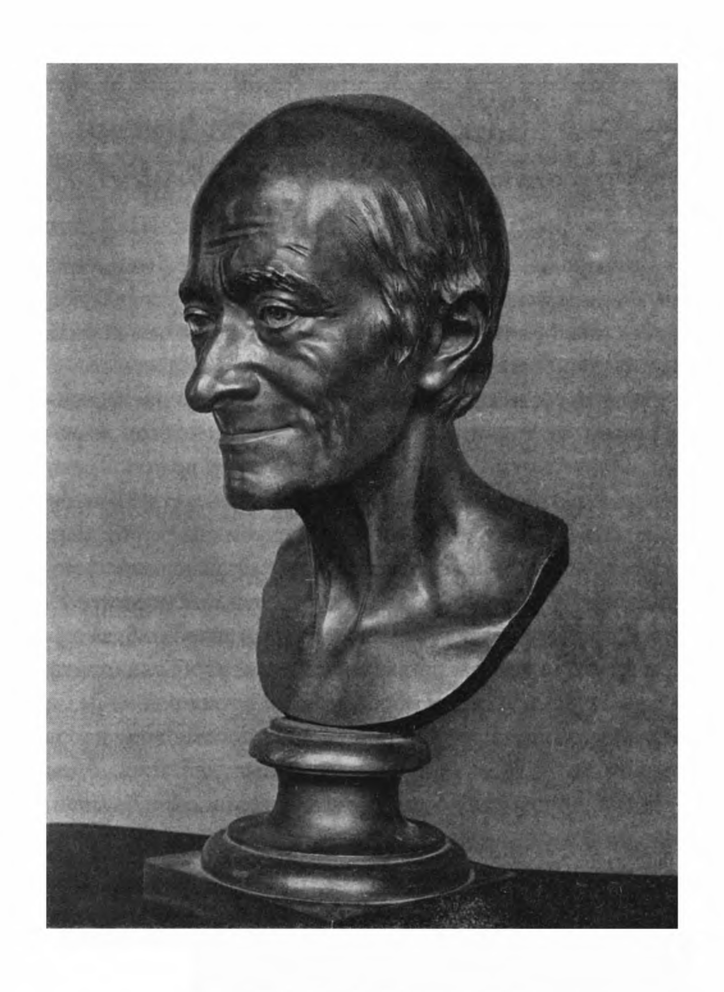
Есть ли нетерпимость естественное и человеческое право

Естественным правом называется то, что природа указывает всем людям. Вы воспитали вашего ребенка — он обязан оказывать вам уважение, как отцу, и благодарность, как

благодетелю. Вы имеете право на продукты земли, возделанной вашими руками. Вы дали и получили обещание — оно должно быть выполнено. Человеческое право не может быть основано ни на чем ином, как на этом естественном праве, а великое всемирное начало того и другого на всей земле заключается в следующем: «Не делай другому того, что ты не желаешь, чтобы делали тебе». Мы не понимаем, как, следуя этому принципу, один человек мог бы сказать другому: «Верь в то, во что я верю, и во что ты не можешь верить — иначе ты умрешь». Так говорят в Португалии, в Испании, в Гоа. В некоторых других странах теперь говорят уже только: «Верь, или я тебя возненавижу; верь — или я тебе буду делать все зло, какое могу; чудовище, ты не исповедуешь мою религию, значит, у тебя нет религии; ты должен быть ненавистен твоим соседям, твоему городу, твоей провинции».

Если бы человеческое право допускало подобный образ действий, то японец должен бы был ненавидеть китайца, китаец сиамца, последние преследовали бы обитателей страны Ганга, которые напали бы на жителей берегов Инда; монгол вырвал бы сердце первому попавшемуся уроженцу Малабара, малабарец зарезал бы перса, перс — турка, и все вместе набросились бы на христиан, которые давно уже грызут друг друга.

Следовательно, право нетерпимости — нелепо и жестоко: это право тигров и даже еще хуже того: тигры раздирают жертву, чтобы насытиться, а мы истребляем друг друга из-за параграфов.



Ж. Гудон. Бронзовый бюст Вольтера

Известна ли была нетерпимость у греков

Все народы, о которых история дает нам кое-какие сведения, всегда рассматривали различные религии, как связующие их всех вместе элементы: это была ассоциация человеческого рода. Между богами, как и между людьми, существовало как бы правило гостеприимства. Если иностранец приезжал в чужой город, он начинал с того, что поклонялся богам этого города. Почтение оказывали даже богам своих врагов. Троянцы обращались с молитвами к богам, принимавшим сторону греков. Александр отправился в Ливийскую пустыню, чтобы испросить совета бога Аммона, которого греки называли *Зевсом*, а римляне *Юпитером*, хотя и те, и другие имели своего Зевса и Юпитера у себя дома. Когда осаждали какой-нибудь город, то приносили жертвы богам того города, чтобы склонить их на свою сторону. Таким образом, и во время войны религия соединяла людей и иногда смягчала их ярость, хотя порою и внушала им жестокие и бесчеловечные действия. Может быть, я и ошибаюсь; но мне кажется, что ни один из цивилизованных народов древности не стеснял свободу мысли. У всех была какая-нибудь религия, но мне кажется, что они поступали относительно людей так же, как относительно богов: все они признавали высшее божество, но присоединяли к нему множество низших божеств. Культ у них был один, но они допускали множество особых систем поклонения.

Греки, например, как бы они ни были религиозны, допускали, чтобы эпикурейцы отрицали провидение и существование души. Я не говорю уже о других сектах, которые все оскорбляли здравое понятие о высшем существе и, тем не менее, были терпимы. Сократ, ближе всего подошедший к познанию Бога, один только понес за это наказание и умер мучеником за Божество,— это единственный человек, которого греки умертвили за убеждения. Если это действительно было мотивом его осуждения, это говорит не в пользу нетерпимости, так как наказание пало на долю того, кто один только прославлял Бога, а почет оказан был тем, которые давали о Божестве самые возмутительные понятия. Поэтому враги веротерпимости не могут, по моему мнению, ссылаться на отвратительный пример судей Сократа. — Очевидно, кроме того, что он был жертвой разъяренной против него партии. Он восстановил против себя софистов, ораторов, поэтов, преподававших в школах, и даже воспитателей знатных детей. Он сам сознается в речи, передаваемой Платоном, что он ходил из дома в дом и доказывал учителям, что они — невежды.

Такой образ действий был недостоин того, кого оракул объявил мудрейшим из людей. На него напустили жреца и члена Совета пятисот, которые и составили против него обвинение. В чем? — Сознаюсь, что не совсем это понимаю, так как в его «Апологии» это выражено весьма смутно. Его вообще обвинили будто бы в том, что он внушал юношам идеи против религии и правительства. Так поступают всегда

и во всем свете все клеветники; но на суде требуются достоверные факты, определенные и обстоятельные пункты обвинения. А этого-то и не дает нам процесс Сократа; мы знаем только, что вначале за него было двести двадцать голосов. Итак, мы видим, что в Суде пятисот было двести двадцать философов. Эта большая цифра, и я сомневаюсь, чтобы она нашлась где бы то ни было в другом судилище. Наконец, большинство высказалось за цикуту.

Но вспомним при этом, что афиняне, опомнившись, возненавидели обвинителей и судей; что Мелит, главный инициатор приговора, сам был приговорен к смерти за эту несправедливость, что другие были изгнаны, и Сократу возведен был храм. Никогда оскорбление философии не было лучше отомщено, никогда не было ей оказано большого почета. В сущности, пример Сократа может служить самым страшным аргументом, какой только можно выставить против нетерпимости. У афинян был алтарь, посвященный чужеземным богам, богам, которых они не знали. Может ли быть более высокое доказательство не только религиозной терпимости по отношению ко всем народам, но еще и уважения к их верованиям?

Один честный человек — не невежда, не враг ни разума, ни честности, ни отечества[4], оправдывая недавно Варфоломеевскую ночь, приводит в пример Фокидскую войну, которая названа *священной войной*, словно эта война возгорелась из-за культа, из-за догмата, из-за вопросов теологии, тогда как она возникла просто из-за спора за кусок поля. — Хлебные снопы не символы верования; никогда ни один гре-

ческий город не воевал за идеи, да и чего же хочет этот скромный и кроткий человек? Разве он хочет, чтобы мы затеяли священную войну?.

Были ли веротерпимы римляне

У древних римлян со времен Ромула и до тех пор, когда христиане стали спорить с римскими жрецами, вы не видите ни одного человека, преследуемого за убеждения. Цицерон сомневался во всем, Лукреций отрицал все — и его за это никто даже не упрекнул. Вольнодумство зашло так далеко, что натуралист Плиний начинает свою книгу с отрицания Бога и говорит: если и есть какой-либо Бог, то этот Бог — солнце. Цицерон говорит об аде так: «Нет даже достаточно глупой старой бабы, чтобы верить в него». Ювенал сказал: «И дети в него не верят». Отвергнем эти мнения и простим их народу, не просвещенному Евангелием; эти мнения ложны, безбожны — но признаем, что римляне были весьма веротерпимы, если ни один голос не поднялся против них. Главным принципом сената и народа в Риме было: «Пусть боги сами справляются с обидами, нанесенными богам». Этот царственный народ думал лишь о том, чтобы завоевать мир, управлять им и цивилизовать его. Римляне, покорив нас, сделались нашими законодателями; но никогда Цезарь, наложивший на нас цепи, давший нам свои законы и свои игры, не подумал за-

ставить нас отказаться от ваших друидов ради него, хотя он сам был верховным жрецом господствовавшего народа. Римляне не придерживались всех культов, они не давали им всем общественной санкции; но они допускали их все. В царствование Нумы у них не было никакого материального предмета культа, не было ни изображений, ни статуй. Вскоре они воздвигли алтари богам, с которыми их познакомили греки.

Закон двенадцати таблиц сводился к тому, чтобы общественный культ совершался лишь в честь высших богов, признанных сенатом. Исида имела в Риме храм до тех пор, пока Тиберий не разрушил его, когда жрецы этого храма, подкупленные серебром Мунда, позволили ему сидеть в храме под именем бога Анубиса, с женщиной, называвшейся Паулиной. Правда, что эту историю рассказывает один только Иосиф, который не был современником события, был легковерен и склонен к преувеличению. Вряд ли в такое просвещенное время, как царствование Тиберия, женщина высшего сословия была настолько глупа, чтобы поверить, будто пользовалась ласками бога Анубиса.— Но правда это или неправда, несомненно, однако, то, что египетское суеверие воздвигло в Риме храм с согласия римлян. Евреи вели в Риме торговлю со времени пунических войн; у них были синагоги в царствование Августа, и они удержали их почти все время так же, как в современном Риме. Можно ли представить лучший пример того, что римляне считали веротерпимость самым священным законом человеческого права?

Нам возражают, что христиане, как только появились, стали терпеть преследования от римлян, которые не преследовали никого. Для меня очевидно, что факт этот неверен. Прибегаю к свидетельству самого апостола Павла. Из «Деяний апостолов» мы видим, как Павел был обвинен евреями в том, что хочет разрушить закон Моисея посредством учения Иисуса Христа. Апостол Иаков предложил апостолу Павлу обрить себе голову и пойти с четырьмя евреями в храм для очищения, «дабы все знали, что распространяемое о тебе есть ложь и что ты продолжаешь сохранять закон Моисея». Христианин Павел ходил совершать все церемонии иудейской веры в течение семи дней,— но эти семь дней еще не прошли, как азиатские евреи его узнали и, видя, что он вошел в храм не только с евреями, но и с язычниками, подняли крик об осквернении святыни. Ап. Павла схватили и повели к губернатору Феликсу, а затем обратились к суду Феста. Евреи толпой потребовали его смерти, Фест отвечал им: «У римлян нет обычая казнить человека раньше, чем обвиняемый не будет поставлен лицом к лицу с обвинителями и не получит возможности защищать себя». Слова эти особенно замечательны, так как их произнес римский судья, который, по-видимому, не питал никакого уважения к ап. Павлу и не чувствовал к нему ничего, кроме презрения; он счел его за помешанного и самому ему сказал, что он сумасшедший. Итак, Фест соблюдал лишь справедливость римского закона, оказывая покровительство незнакомому человеку, которого не мог уважать.

И вот, следовательно, сам Святой Дух заявляет, что римляне никого не преследовали и были справедливы. Не рим-

ляне восстали против Павла, а евреи. Иаков, брат Иисуса, был побит каменьями по приказанию еврея-саддукея, а не римлянина. Одни только евреи побили каменьями св. Стефана, и если апостол Павел хранил одежды избивавших, то, конечно, действовал не как римский гражданин.

Первым христианам не из-за чего было ссориться с римлянами: врагами их были только иудеи, от которых они начинали отделяться. Все знают, с какой беспощадной ненавистью преследуют все сектанты тех, которые отделились от их секты. По всей вероятности, в синагогах Рима происходили беспорядки. Светоний, упоминая об этих беспорядках в «Жизни Клавдия», ошибался, говоря, что они происходили по наущению Христа; он не мог знать подробностей жизни столь презираемого римлянами народа, как евреи; но он не ошибался относительно мотивов этих ссор. Светоний писал в царствование Адриана во II веке, когда римляне еще не делали различия между христианами и иудеями. Из слов Светония видно, что римляне не только не угнетали первых христиан, но запрещали иудеем преследовать их. Они хотели, чтобы римская синагога относилась к своим отделившимся братьям с той же снисходительностью, с какой относился к ней самой Римский сенат. Изгнанные иудеи вскоре вернулись и даже заняли почетные должности, вопреки законам, исключавшим их из этих должностей; это сообщают Дион Кассий и Ульпиан. Возможно ли было, что, после разрушения Иерусалима, императоры раздавали почетные места иудеям и, вместе с тем преследовали, предавали палачам и диким зверям христиан,

считавшихся иудейской сектой? Говорят, что Нерон начал на них гонение. Тацит говорит, что их обвинили в поджоге Рима и предоставили их в жертву народной ярости. Играло ли при этом обвинении какую-нибудь роль их верование? Конечно, нет. Можем ли мы сказать, что китайцы, которых несколько лет тому назад перерезали голландцы в Батавии, сделались жертвой религии? При всей охоте ошибиться, невозможно приписать нетерпимости гибель при Нероне кучки несчастных полуиудеев, полухристиан.

О мучениках

Впоследствии появились христианские мученики. Трудно узнать точную причину, по которой эти мученики были осуждены, но, мне кажется, можно смело утверждать, что при первых цезарях ни один не был приговорен только за свою религию: религии все были терпимы. Каким же образом могли преследовать и судить темных людей за их особый культ в такое время, когда допускались все культы? Тит, Траян, Антонин и Деций не были варварами: можно ли себе представить, что они одних христиан лишили бы свободы, которой пользовались все на земле? Разве осмелились бы даже обвинить их в каких-то тайных мистериях, когда мистерии Исиды, Митры, сирийской богини — все, чуждые римскому культу, были дозволены? Очевидно, что преследование происходи-

ло по иным мотивам и что особенного рода ненависть, основанная на государственных соображениях, заставила проливать христианскую кровь.

Так, например, когда св. Лаврентий отказывает римскому префекту Корнелию Секуларию в находящихся у него на хранении деньгах христиан, то само собой разумеется, это раздражает императора и префекта. Они не знали, что св. Лаврентий роздал эти деньги бедным и совершил доброе, святое дело. Они сочли его бунтовщиком и умертвили.

Рассмотрим мученическую смерть св. Полиевкта. Разве его осудили за одну только его веру? Он идет в храм, где совершается благодарственное жертвоприношение за победу императора Деция. Полиевкт оскорбляет приносящих жертву, опрокидывает алтари и разбивает статуи — в какой же стране в мире прошло бы безнаказанным подобное бесчинство? Христианин, публично разорвавший указ императора Диоклетиана и навлекший на своих собратьев великое гонение последних лет жизни этого императора, выказал много религиозного рвения, но мало ума, и потом жестоко каялся в том, что был причиной несчастия своих единоверцев. Это неразумное рвение, не раз даже осуждавшееся отцами Церкви, и было, по всей вероятности, причиной гонений.

Я, конечно, не могу сравнивать первых реформаторов с первыми христианами; я не ставлю рядом заблуждения и истину; но я напомню, что предшественник Кальвина Фарель, сделал в Арле то же, что Полиевкт сделал в Армении. По улицам носили статую св. Антония-отшельника; Фарель набрасывает-

ся на монахов, несущих статую, бьет их, разгоняет и бросает св. Антония в реку. Он заслуживал смерти, от которой избавился бегством. Если бы он только закричал монахам, что не верит, будто ворон приносил св. Антонию полхлеба в пустыню, будто св. Антоний беседовал с кентаврами и сатирами, он заслужил бы строгий выговор за нарушение порядка; но если бы он просто вечером после процессии спокойно обсуждал историю о вороне, кентаврах и сатирах, ему бы, конечно, ничего не сделали.

Неужели римляне, потерпевшие, чтобы нечестивый Антиной был причтен к второстепенным богам,— предали бы на растерзание диким зверям всех виновных только в мирном поклонении праведнику! Неужели они, признавая Высшее Божество, господствующее над всеми второстепенными богами, и выражая это верование формулой Deus optimus maximus, стали бы преследовать тех, которые поклоняются единому Богу.

Нельзя поверить тому, что при императорах христиане подвергались какому-либо испытанию веры, т. е. что к ним приходили расспрашивать их об их верованиях. С этой стороны никогда не тревожили ни еврея, ни сирийца, ни египтянина, ни бардов, ни друидов, ни философов. Мучениками становились те, которые возмущались против ложных богов. Не веря им, они поступали мудро и благочестиво; но если они, не довольствуясь поклонением Богу в духе и истине, открыто восставали против установленного культа, как бы он ни был нелеп, то приходится признать, что нетерпимость проявляли они. Тертуллиан в своей «Апологетике» признается, что на хри-

стиан смотрели как на бунтовщиков: обвинение было несправедливо; но оно доказывало, что судей восстанавливала против христиан не одна только религия. Он признается, что христиане отказывались украшать свои двери лавровыми ветвями во время публичных торжеств по поводу побед императоров: это предосудительное воздержание легко было принять за оскорбление величества.— Впервые юридическая строгость была применена к христианам при Домициане; но наказание ограничилось ссылкой, продолжавшейся менее года. Лактанций, пишущий вообще необузданно, сознается, что от Домициана до Деция Церковь пользовалась спокойствием и процветала. «Этот продолжительный мир,— говорит он,— был прерван, когда отвратительное животное Деций стал угнетать Церковь».

Я не хочу приводить здесь мнение ученого Додвеля о малом числе мучеников; но если римляне так ужасно преследовали христианскую веру, если сенат умертвил в неслыханных мучениях столько невинных, если римляне бросали христиан в кипящее масло, если они выводили девушек нагими на растерзание зверям в цирке,— почему они не трогали главных епископов Рима? Св. Ириней между этими епископами считает мучеником одного лишь Телесфора в 169 году, и то еще нет доказательства тому, что Телесфор был казнен смертью. Зефирин управлял римской паствой в течение 18 лет и мирно почил в 219 году. Правда, в древних мартирологах записаны почти все первые папы; но слово masterium (которое мы переводим: *мученичество*) принималось тогда в своем настоящем значении: оно означало *свидетельство*, а не *мученичество*.

Трудно согласовать ярость преследования с свободой, которой пользовались христиане, чтобы созывать соборы; а этих соборов церковные писатели насчитывают 56 в течение трех первых веков христианства. Гонения были, но если бы они были так сильны, как говорят, то Тертуллиан, писавший столь энергично против установленного культа, по всей вероятности, не умер бы своею смертью. Мы знаем, что императоры не читали его «Апологетики», что писание неизвестного автора в Африке могло не дойти до тех, которые управляли судьбами мира; но оно не должно было оставаться неизвестным для лиц, имевших доступ к проконсулу Африки. Это писание должно было навлечь много ненависти на его автора, и однако он не испытал мученичества.

Ориген публично учил в Александрии и не был казнен. Тот же Ориген, столь свободно проповедовавший язычникам и христианам, первым говоривший о Христе и отрицавший Бога в трех лицах в беседах со вторыми,— самым положительным образом говорит в своей третьей книге против Цельса, что мучеников было очень мало. А между тем, он говорит: «Христиане ничем не пренебрегают, чтобы обратить всех в свою веру: они ходят по городам, селам и деревням». Эти беспрестанные странствия, без сомнения, легко могли быть истолкованы жрецами как попытки производить смуту, и, тем не менее, эти хождения были терпимы, даже среди всегда неспокойного, склонного бунтовать, трусливого египетского народа, растерзавшего римлянина за убийство кошки, народа во все времена презренного, что бы ни говорили поклонники

пирамид. Кто же должен был скорее восстановить против себя жрецов и правительство, как не св. Григорий Богослов, ученик Оригена?

Григорию предстал во сне старец, посланный Богом и сопровождаемый окруженною ослепительным светом женщиной: женщина эта была Дева Мария, а старец — св. евангелист Иоанн. Иоанн продиктовал Григорию символ веры, и Григорий отправился проповедовать его. По дороге в Новую Кесарию он проходил мимо храма, где вопрошали оракула, и где дождь принудил путника провести ночь. Он сотворил там несколько раз крестное знамение. На другой день главный жрец храма с удивлением заметил, что демоны, отвечавшие ему раньше, не хотели более пророчествовать. Он позвал их, демоны пришли и сказали, что они больше не придут; что они не могут жить в этом храме, так как Григорий провел в нем ночь и совершил крестное знамение. Тогда жрец приказал схватить Григория, который сказал ему: «Я могу прогнать демонов, откуда хочу, и заставить их войти, куда мне угодно.— Так заставь их вернуться в мой храм»,— сказал жрец.

Тогда Григорий оторвал клочок от книги, которую держал в руках и начертал следующие слова: «Григорий — сатане: повелеваю тебе вернуться в этот храм». Эту записку положили на жертвенник; демоны повиновались и прорекали в этот день, как всегда, после чего они, как известно, смолкли. Этот факт из жизни Григория Богослова передает Григорий Нисский. Разумеется, жрецы должны были быть раздражены против Григория и в своем гневе предать его суду. Одна-

ко, этот самый большой враг их не подвергся никаким преследованиям.

В житии св. Киприана говорится, что он был первый епископ Карфагенский, приговоренный к смерти. Мученическая смерть св. Киприана относится к 259 году. Итак, в течение долгого времени ни один карфагенский епископ не пострадал за свою веру. История не говорит, какие клеветы были взведены на св. Киприана, кто были его друзья, почему проконсул Африки был раздражен против него. Св. Киприан пишет епископу римскому Корвелию: «Недавно народ карфагенский взбунтовался и раздались крики, что меня следует бросить львам». Весьма правдоподобно, что эксцессы свирепого карфагенского народа были наконец причиной смерти Киприана; но, во всяком случае, осудил его за веру не император Галл из Рима, вблизи которого мирно проживал Корнелий.

К явным причинам часто примешивается столько тайных мотивов, по которым преследуют человека, что невозможно распознать в прошедших столетиях скрытый источник несчастий самых выдающихся личностей, а тем более — казни человека, известного только своей партии. Заметьте, что св. Григорий и св. Дионисий, епископ Александрийский, не были казнены, хотя и жили одновременно со св. Киприаном. Почему они, будучи, по меньшей мере, столь же известны, как и епископ Карфагенский, не были потревожены? И почему св. Киприан был предан смерти? Не кажется ли вам, что один из них пал жертвой личных и могучих врагов, жертвой клеветы, под предлогом государственной пользы, кото-

рая нередко присоединяется к религии, другим же удалось избежать человеческой злобы.

Невозможно предположить, чтобы одно только обвинение в принадлежности к христианской вере могло погубить св. Игнатия при милостивом и справедливом Траяне, если христианам даже позволено было сопровождать и утешать его по дороге в Рим. В Антиохии часто бывали смуты; это был неспокойный город, где Игнатий был тайно епископом. Может быть, эти смуты, злобно приписываемые христианам, вводили в заблуждение правительство. Так, например, св. Симеон был обвинен перед Шапуром в том, что был римским шпионом. История его мученичества говорит, что царь Шапур предложил ему поклониться солнцу; но известно, что персы не поклонялись солнцу, они считали его только символом доброго начала, Ормузда, признаваемого ими за творца. Несмотря на всю веротерпимость, невольно чувствуешь негодование против тех, которые громкими фразами обвиняют Диоклетиана в том, что он преследовал христиан со времени своего восшествия на престол.

Выслушаем по этому поводу Евгения Кесарийского, свидетельство его не может быть опровергнуто; любимец и панегирист Константина, отъявленный враг предыдущих императоров заслуживает доверия, когда он пишет в их оправдание. Вот что он говорит: «Императоры долгое время оказывали явное благоволение христианам: они поручали им управление провинциями, некоторые христиане жили во дворце, они даже женились на христианках. Диоклетиан взял себе в жены

Приску, дочь которой сделалась женой Максимина Галерия» и т. д. Пусть это свидетельство заставит смолкнуть клевету; не должно ли было гонение, начатое Галерием после девятнадцати лет милостивого и благодетельного царствования, произойти вследствие какой-то интриги, о которой мы не знаем.

Посмотрите, насколько басня о фивском легионе, истребленном, как говорят, до единого человека из-за религии,— нелепа. Разве не нелепо было заставить идти этот легион из Азии через Большой Сен-Бернар, чтобы усмирять восстание в Галлии год спустя после того, как это восстание было уже подавлено. Невозможно также, чтобы перебили шесть тысяч человек пехоты и семьсот всадников в проходе, где двести человек могли остановить целую армию. Рассказ об этой баснословной резне уже начинается с очевидной лжи. «В то время как земля стонала под тиранией Диоклетиана, небеса населялись мучениками». Вышеприведенное происшествие случилось около 286 году, в то время, когда Диоклетиан наиболее милостиво относился к христианам и когда Римская империя процветала. Наконец, что должно бы прекратить все споры,— это то, что никакого фивского легиона никогда и не существовало. Римляне были слишком горды и слишком разумны, чтобы составлять легион из египтян, которые в Риме служили только рабами.

О вреде ложных легенд и о гонениях

Ложь слишком долго властвовала над людьми; пора узнать те отрывки истины, которые можно разобрать среди тумана басен, покрывающего историю Рима от времен Тацита и Светония и почти всегда окутывающего летописи других народов древности. Можно ли поверить, например, что римляне, этот серьезный и строгий народ, у которого мы заимствовали наши законы, принуждали христианских девственниц, дочерей высших классов, к проституции? Как это мало похоже на этих суровых законодателей, которые так строго наказывали проступки весталок.

Заметьте также, что в рассказах о мучениках, составленных исключительно христианами же, везде говорится, что христиане толпами приходили в тюрьму, где был заключенный, сопровождали его на место казни, собирали его кровь, погребали тело, творили чудеса с его останками. Если бы преследовалась одна только религия, то почему же не убивали этих явных христиан, ухаживавших за своими осужденными братьями и обвинявшихся в волхвовании с их останками? Разве с ними не поступили бы так же, как мы поступали с вальденцами, альбигойцами, гусситами и различными протестантскими сектами? Мы их резали, жгли толпами, не разбирая пола и возраста. Разве в достоверных рассказах о древних гонениях встречается что-либо хотя бы мало-мальски похожее на

Варфоломеевскую ночь и на избиения в Ирландии? Есть ли в этих рассказах хотя бы одна черта, напоминающая ежегодно празднуемый и по сие время в Тулузе день, когда целое население в торжественной процессии благодарит Бога за то, что жители города, двести лет тому назад, перерезали четыре тысячи своих сограждан?

Говорю об этом с ужасом, но вполне правдиво: гонителями, палачами, убийцами были мы, христиане! И преследовали мы таким образом кого же? — Наших братьев! Мы сами, с крестом и Евангелием в руках, разрушили сотни городов и не переставали проливать кровь и зажигать костры, начиная с царствования Константина до неистовства кровожадных зверей, обитавших в Севеннах.

Теперь, слава Богу, эти ужасы прекратились. Время от времени мы еще отправляем на виселицу кое-каких несчастных в наших провинциях. С 1745 года мы повесили восемь человек так называемых «проповедников», или «служителей Евангелия», за которыми никакой иной вины не было, кроме того, что они молились Богу за короля на местном наречии и дали каплю вина и кусочек хлеба нескольким глупым крестьянам. Об этом в Париже, где думают только об удовольствиях, ничего не знают, да и вообще совсем не знают, что делается в провинции и в чужих странах. Эти процессы кончаются в час времени,— скорее, чем судят дезертиров. Если бы король знал об этом, он помиловал бы. Ни в какой протестантской стране не обращаются так с католическими священниками. В Англии и Ирландии более ста католиче-

ских священников. Они всем известны и жили там весьма мирно во время последней войны[5].

Неужели мы всегда после всех будем усваивать здравые суждения других наций? Они исправились — когда же исправимся мы? Шестьдесят лет потребовалось, чтобы признать то, что доказал Ньютон; мы с трудом начинаем спасать жизнь наших детей прививкою оспы; мы с очень недавнего времени начали применять новые принципы в земледелии — когда же мы начнем применять истинные принципы гуманности? И как смеем мы упрекать язычников в том, что они проливали кровь мучеников, когда мы сами делали то же, при тех же условиях? Допустим, что римляне умертвили множество христиан за одну только их религию — в этом случае римляне достойны строгого осуждения. Разве мы хотим сделать ту же несправедливость? И обвиняя их в том, что они преследовали за веру, разве мы сами хотим быть гонителями?

Если бы встретился достаточно недобросовестный человек или фанатик, который сказал бы мне: «Зачем вы объясняете нам наши заблуждения и наши ошибки? Зачем опровергаете наши ложные чудеса и наши лживые легенды? Они питают набожность некоторых людей; есть и необходимые заблуждения; не удаляйте из тела застарелый нарыв, так как это удаление поведет за собой разрушение всего тела». Вот что я бы ответил ему:

«Все эти ложные чудеса, которыми вы только колеблете веру в настоящие, все эти нелепые рассказы, которые вы приплетаете к правдивым сказаниям Евангелия, гасят веру в серд-

цах. Многие люди, желающие просветиться и не имеющие на то времени, говорят: «Учителя моей религии обманули меня,— значит, религии нет, и лучше предаться влечениям природы, нежели сделаться жертвой заблуждения; я предпочитаю зависеть от естественного закона, а не от людских выдумок». Другие, к сожалению, идут еще дальше; они видят, что обман наложил на них узду и сбрасывают с себя за одно и узду истины, склоняясь к атеизму: люди делаются дурными из-за того, что другие были жестокими и лукавыми».

Вот каковы, без сомнения, последствия благочестивых обманов и всяких суеверий. Люди, обыкновенно, доводят свои рассуждения до полдороги и делают такого рода заключения: «Иаков Ворагинский, автор "Золотой легенды", и иезуит Рибаденейра, составитель "Жизни святых", наговорили кучу глупостей — следовательно, Бога нет; католики истребили известное число гугенотов, а гугеноты, с своей стороны, истребили известное число католиков — следовательно, Бога нет; исповедью, причащением и другими таинствами пользовались для того, чтобы совершать самые ужасные преступления — значит, Бога нет».

Я же выведу совершенно иное заключение: «Следовательно, есть Бог, который, после этой краткой жизни, где мы так мало понимали его и совершали так много преступлений его именем, дает нам утешение в стольких ужасных бедствиях; ибо, принимая во внимание все религиозные войны, все папские расколы, которые, по большей части, вызывали кровопролития, все обманы, натворившие столько бед, неугасимую враж-

ду, зажженную разностью убеждений; видя все зло, причиняемое изуверством, мы должны признать, что люди давно уже терпели ад на земле».

Крайняя нетерпимость

Но неужели же каждый гражданин будет иметь право верить только своему разуму и думать то, что этот просвещенный или обманутый ум внушит ему? Разумеется, если он только не будет нарушать порядок. Верить или не верить не зависит от воли человека, но от него зависит уважать обычаи своей страны. И если вы мне скажете, что преступно не верить в господствующую религию, то вы этим обвиняете ваших предков, первых христиан, и оправдываете тех, которые предали их смерти. Вы скажете, что здесь большая разница, что все религии — дело рук человеческих, тогда как римско-католическая — учреждена самим Богом. Но, говоря чистосердечно, разве потому, что наша религия божественна, она должна господствовать при помощи ненависти, неистовства, изгнания, конфискации имуществ, тюрем, пыток, убийств и благодарений Богу за совершение этих убийств? Чем выше христианская вера, тем менее человек должен навязывать ее: если Бог ее создал, то Бог и поддержит ее без вашей помощи. Вы знаете, что нетерпимость порождает лишь лицемеров или бунтовщиков,— какие ужасные крайности! Наконец, неужели вы хотите при помощи палачей поддерживать

религию Бога, которого убили палачи и который проповедовал лишь терпение и кротость? Взгляните на ужасные последствия права нетерпимости.

Если бы дозволено было отнимать имущество, заключать в тюрьмы, убивать граждан, которые, под известным градусом широты, не исповедуют веру, допущенную под этим градусом, то какое исключение сделаете вы для стоящих во главе государства? Религия связывает одинаково и монарха, и нищего; поэтому более пятидесяти богословов и монахов поддерживали то чудовищное заблуждение, что дозволяется низлагать и убивать государей, не принадлежащих к господствующей церкви, и парламенты всех государств всегда осуждали эти решения злостных богословов.

Труп Генриха IV еще не остыл, а Парижский парламент издал уже указ, утверждавший независимость короны от господствующей религии. Кардинал Дюперрон, обязанный своим саном Генриху IV Великому, поднял в генеральных штатах 1614 году свой голос против парламентского указа и заставил отменить его. Все газеты того времени передают выражения, употребленные им в своей речи: «Если бы какой-либо государь сделался арианином, то, разумеется, пришлось бы низложить его». Конечно нет, господин кардинал. Допустим ваше фантастическое предположение, что один из наших королей, прочитав историю соборов и отцов Церкви и колеблясь между Никейским собором и Константинопольским, объявил бы себя последователем Евсевия Никомидийского, я все-таки буду повиноваться моему государю, все-таки буду считать себя

связанным данной ему присягой, и если бы вы посмели восстать против него, и я был бы вашим судей, я объявил бы вас виновным в оскорблении величества.

Дюперрон повел спор далее, но я оставляю его. Не место разбирать здесь эти возмутительные фантазии; скажу только в один голос со всеми гражданами, что мы обязаны были повиноваться Генриху IV не потому, что он был помазан на царство в Шартре, но потому, что неоспоримое право рождения давало корону этому государю, достойному ее по своей храбрости и доброте. Поэтому мы смело можем сказать, что всякий гражданин должен по праву наследовать имение своего отца и что совершенно непонятно, каким образом он может быть лишен этого наследия и вздернут на виселицу за то, что верует так, а не иначе.

Известно, что ни один из наших догматов не был ясно истолкован и единогласно принят нашей церковью. Иисус Христос не сказал вам, от кого исходит Святой Дух, и Римская церковь долго верила вместе с Греческой, что Дух Святой исходит только от Отца; затем она прибавила, что он исходит также от Сына. Я вас спрашиваю: если на другой день после этого решения какой-либо гражданин еще придерживался вчерашнего символа веры — был бы он достоин смерти? Было ли бы менее жестоко и несправедливо наказывать теперь того, который думает так, как думали прежде? Были ли виновны, во времена Гонория I, те, которые не верили, что в Иисусе Христе две воли?

Мы должны бы поучиться у апостолов и евангелистов, как вести себя в наших нескончаемых ссорах. Между апостолом Петром и Павлом мог произойти большой раскол. Павел в своем Послании к Галатам говорит, что он лично противостал Петру потому, что он подвергался нареканию, ибо до прибытия «некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных... Но когда я увидел,— прибавляет он,— что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: "Если вы, иудеи, живете по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаете жить по-иудейски?"» — Это было мотивом к большому спору: должны ли новые христиане соблюдать иудейские обычаи или нет. В это же время апостол Павел пошел в Иерусалимский храм приносить жертву.

Мы знаем, что первые пятнадцать иерусалимских епископов были обрезанные иудеи, что они соблюдали субботу и не ели запрещенного мяса. Если бы какой-нибудь епископ в Испании или Португалии подвергнул себя обрезанию и соблюдал бы субботу, его неминуемо сожгли бы на костре. А между тем по этому основному вопросу веры согласие не нарушалось ни между апостолами, ни между первыми христианами. Если бы евангелисты походили на современных писателей, то им представлялось бы обширное поле борьбы между собой. Евангелист Матфей насчитывал 28 поколений от Давида до Иисуса, а св. Лука — сорок одно поколение, и поколения, указанные у первого, совершенно отличны от указанных у второго. А между тем никакого спора не возникает по пово-

ду этих очевидных несогласий, прекрасно разъясненных некоторыми отцами Церкви. Ни любовь к ближнему, ни мир от этого не пострадали. Какого урока надо еще для того, чтобы терпеть друг друга и смиренно молчать о том, чего мы не знаем!

Апостол Павел в послании к некоторым иудеем в Риме, обращенным в христианство, говорит во всей третьей главе о том, что вера доставляет блаженство, дела же не оправдывают никого. Апостол Иаков же, наоборот, в своем послании к 12 коленам, рассеянным по всей земле (гл. II), непрестанно повторяет, что вера без дел мертва и что нельзя спастись без добрых дел. Вот что разъединило две большие общины между нами, и что не разъединило апостолов.— Если бы гонение на тех, с кем мы спорим, было бы делом благочестивым, то тот, кто убил наибольшее число еретиков, сделался бы самым первым святым в Царствии Небесном. Какую бы печальную роль играл в нем человек, который только обирал бы своих братьев и сажал бы их в тюрьмы, рядом с ревнителем веры, который перерезал бы их несколько сотен в Варфоломеевскую ночь? Вот вам доказательство.

Преемник св. Петра и его консистория не могут заблуждаться: они одобрили, торжественно санкционировали дело Варфоломеевской ночи, следовательно, это дело было свято; следовательно, из двух убийц, одинаково ревностных к вере, тот, который распорол бы животы двадцати четырем беременным гугенотским женщинам, должен быть возвеличен в славе вдвое против того, который распорол бы животы двенад-

цати женщин. По той же причине и севеннские фанатики должны бы верить, что они будут прославлены в небесах соразмерно тому числу священников, монахов и католических женщин, которых они умертвили. Какие странные права на приобретение вечного блаженства!

Учил ли Иисус Христос нетерпимости

Посмотрим теперь, установил ли Иисус Христос кровавые законы, приказывал ли он быть нетерпимыми, строить тюрьмы инквизиции, учреждать должность палачей для аутодафе.

Если я не ошибаюсь, в Евангелии мало таких мест, из которых сторонники гонений могли бы заключить, что нетерпимость и принуждение законны. Одно из этих мест — это притча, в которой Царство Небесное уподобляется царю[5], приглашающему гостей на брачный пир своего сына. Он велит своим слугам сказать им: «Вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото и все готово; приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши этим, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц их и сжег город их.

Тогда он говорит рабам: «Пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Один из этих гостей пришел не в брачной одежде и царь приказал его заковать в цепи и бросить в тьму внешнюю.— Вполне очевидно, что это аллегория, относящаяся к Царству Небесному, и никто не должен выводить отсюда право заковывать в цепи или заключать в тюрьму соседа, который пришел бы к нему на ужин в недостаточно нарядном платье. В истории также мне никогда не попадался государь, который повесил бы своего придворного за такой проступок. Нечего опасаться также и того, чтобы какой-либо царь, убив своих тельцов, послал бы своих слуг к сановникам и вельможам приглашать их на ужин, а те убили бы этих слуг. Приглашение на пир означает проповедь спасения, избиение посланных царя изображает преследование тех, которые проповедуют мудрость и добродетель.

Другое место — это притча о человеке, который сделал большой ужин и звал многих[6]. И когда наступило время ужина, он послал своего раба сказать званным: «Идите, ибо все готово». Но один извинился тем, будто купил землю и должен пойти посмотреть ее, хотя это извинение не соответствовало действительности — ночью землю смотреть нельзя. Другой сказал, что купил пять пар волов и должен испытать их; это извинение также никуда не годится — быков не испытывают в час ужина. Третий сказал, что он только что женился, и его отговорка, разумеется, весьма приемлема. Тогда разгневанный хозяин дома приказал позвать на пир нищих, слепых, хромых и увечных и, видя, что есть еще место, он сказал рабу: «Пойди

по дорогам и изгородям и принуди[7] прийти, чтобы наполнился дом мой». Правда, здесь не сказано, что эта притча означает Царство Небесное, и словами «принуди их прийти» слишком часто злоупотребляли; но один раб, очевидно, не мог силой принудить всех встречных идти на ужин к своему господину, да кроме того, такие взятые насильно люди не были бы приятными гостями за столом. «Принудить их прийти» означает, согласно мнению самых достоверных комментаторов, если не «упроси», то «уговори, убеди». Какое же отношение имеет эта притча к преследованию за веру? Уж если принимать все в буквальном смысле, то неужели надо сделаться хромым, слепым и убогим и силой быть привлеченным в лоно Церкви?

Христос в той же главе говорит: «Когда делаешь обед, не зови друзей твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых»[7]. Неужели же из этих слов кому-нибудь пришло бы в голову заключить, что он не должен обедать со своими родственниками или друзьями, если они люди со средствами? Иисус после притчи о пире говорит: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И далее: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек — имеет ли он, что нужно, для совершения ее?»[8]. Неужели найдется на свете человек с настолько извращенным умом, чтобы заключить из этого, что он должен действительно возненавидеть отца и мать? И неужели непонятно,

что эти слова означают: «Будьте тверды в выборе между Мною и вашими самыми сильными привязанностями». Некоторые приводят текст Евангелия от Матфея: «Если же и церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь». Но этим вовсе не сказано, что надо преследовать язычников и сборщиков королевских податей; хотя они и прокляты, но не отданы в руки произвола. Этих сборщиков не только не лишают их гражданских привилегий, но им еще даны громадные привилегии перед другими гражданами. Это единственная профессия, осуждаемая Евангелием и пользующаяся наибольшим покровительством правительств. Почему же мы не должны иметь столько же снисходительности к нашим заблуждающимся братьям, сколько мы имеем почтения к братьям, ловко обделывающим дела?

Другое место Евангелия, которым грубо злоупотребляли, мы находим в Евангелии от Матфея[9] и от Марка[10], где говорится, что Христос, взалкав однажды, подошел к смоковнице, на которой были только листья, так как было еще не время плодов. Он проклял смоковницу, которая тотчас же засохла. Этому чуду дают несколько различных объяснений; но есть ли между ними хотя бы одно, оправдывающее преследования? Смоковница не могла давать плодов в марте — ее засушили; разве следует из этого, что мы должны сушить наших братьев, причиняя им вред в любое время года? Будем чтить в Писании места, затрудняющие наш любопытный и поверхностный ум, но не будем пользоваться ими для того, чтобы оправдывать свою жестокость и злобу. Дух преследования,

привязывающийся ко всему, ищет себе оправдания в изгнании торгующих из храма и в рассказе о демонах, изгнанных из тела бесноватого, чтобы вселить их в тела тысячи нечистых животных. Но разве не очевидно, что эти два примера изображают собою наказание, которое сам Бог налагает за нарушение закона? Превращение храма в торжище было неуважением к дому Господню. Синедрион и священники допускали эту торговлю в видах удобства жертвоприношений, и Бог, которому приносились эти жертвы, мог, хотя бы скрываясь под видом человека, уничтожить эту профанацию. Он точно так же мог наказать и тех, которые вводили в страну целые стада животных, запрещаемых его законом. Эти примеры не имеют ни малейшего отношения к гонениям за догмат. Дух нетерпимости покоится, следовательно, на весьма плохих рассуждениях, если он цепляется за такие ничтожные доводы.

Почти все остальные слова Иисуса Христа проповедуют кротость, терпение, снисхождение. Вспомните отца, принимающего блудного сына; работника, приходящего после всех и получающего полную плату; доброго самаритянина; сам Христос оправдывает своих учеников в том, что они не постятся; он прощает грешницу; прелюбодейной жене только приказывает не грешить, он снисходит даже до безобидной радости гостей в Кане, которые, будучи уже разгорячены вином, требуют нового вина, и он, склоняясь к их просьбе, творит для них чудо, превращая воду в вино. Он не гневается даже на Иуду, который продаст его; он приказывает Петру вло-

жить меч в ножны; порицает сынов Заведеевых, которые, по примеру Илии, хотели низвести с неба огонь на город, отказавшийся приютить их.

Наконец, он умирает жертвой зависти. Если можно сравнивать Бога с человеком, то смерть его имеет, в сущности, много сходства со смертью Сократа. Греческий философ умирает по злобе софистов, жрецов и первых из народа; законодатель христиан пал жертвой книжников, фарисеев и священников. Сократ мог избегнуть смерти, но не захотел. Иисус Христос добровольно предал себя. Греческий философ не только простил своих клеветников и своих несправедливых судей, но даже просил их и к детям его отнестись так же, как к нему, если они когда-либо будут иметь счастье удостоиться их ненависти. Христианский законодатель, повинуясь более высокому чувству, просил Отца простить своим врагам. Если Иисус Христос, по-видимому, боялся смерти, и страх его был столь велик, что на лице его выступил кровавый пот, редкий и сильнейший признак волнения, то это значит только, что он соблаговолил унизиться до обычной слабости человеческого тела, в которое он был облечен. Тело его трепетало, но душа была непоколебима; он учит нас тому, что истинная сила, истинное величие состоит в том, чтобы переносить мучения, под бременем которых изнемогает наше тело. Величайшее мужество проявляется в том, чтобы идти навстречу смерти, страшась ее.

Сократ называл софистов невеждами и уличал их в недобросовестности. Иисус Христос, пользуясь своим божествен-

ным правом, называл книжников и фарисеев безумцами, слепыми порождениями ехидны. Сократа не обвиняли в намерении основать секту, Иисуса Христа не обвиняли в желании ввести новое учение. В Евангелии сказано, что старейшины, первосвященники и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти[11]. Если же они искали лжесвидетельства, значит, они не обвиняли его в проповеди против веры. И он, действительно, подчинялся закону Моисея от детства своего до смерти. Над ним совершили обрезание на восьмой день, как над всеми детьми иудейскими. Если он затем крестился в Иордане, то это также было одним из священных обрядов у иудеев, как и у других восточных народов. Все беззакония смывались водой крещения; таким же образом посвящали священников; в день торжественного искупления грехов иудеи погружались в воду; тоже делали и с новообращенными. Иисус Христос исполнял все постановления закона: он соблюдал субботу; не вкушал запрещенного мяса; праздновал все праздники и даже перед смертью своей совершил пасху. Его не обвиняли ни в каком-либо новом учении, ни в введении чужеземного культа. Рожденный иудеем, он всю жизнь свою провел как иудей.

Двое свидетелей донесли на него: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Такие слова были недоступны пониманию иудеев-материалистов; но это все-таки не было обвинением в учреждении новой секты. Первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, ты ли Христос, Сын Божий?»[12]. Мы не знаем, что подразумевал

первосвященник под названием «Сын Божий». Так называли иногда праведников, как называли злых людей сынами *Велиала*. Грубые иудеи не могли постигнуть тайну Сына Божия, самого Бога, сошедшего на землю. Иисус отвечал ему: «Ты сказал; даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Синедрион счел этот ответ богохульством; но он не имел права казнить мечом; поэтому старейшины отвели Христа к римскому правителю Пилату и ложно показали на него, будто он возмущает народ, говоря, что не следует платить дань кесарю, да еще именует себя царем Иудейским. Следовательно, он, очевидно, обвинялся в государственном преступлении. Пилат, узнав, что Иисус — галилеянин, отослал его сначала к Ироду, тетрарху Галилеи. Ирод подумал, что Иисус не может быть вождем партии и заявлять притязания на престол. Он отнесся к нему с презрением и отослал обратно к Пилату, имевшему недостойную слабость осудить его, чтобы успокоить восставших против него самого. К тому же он, по словам Иосифа, испытал уже однажды такое возмущение иудеев. Пилат был менее великодушен, нежели впоследствии Фест.

Теперь я спрашиваю: терпимость к вере или нетерпимость есть божественное право? Если вы желаете походить на Христа, будьте мучениками, а не палачами.

Полезно ли поддерживать суеверие в народе

Такова слабость человеческого рода и такова его испорченность, что для него лучше оставаться под властью всевозможных суеверий, если они только не ведут к убийству, нежели жить без религии. Человек всегда нуждался в узде, и хотя нелепо поклоняться фавнам, сильванам, наядам, гораздо разумнее было почитать эти фантастические существа, нежели впасть в атеизм. Атеист рассуждающий, грубый и могучий, был бы столь же ужасным бичом, как и кровожадный изувер. Когда люди не имеют здравого понятия о божестве, то это понятие заменяется ложными представлениями, подобно тому, как в тяжелые времена пускают в ход плохую монету, за неимением хорошей. Язычник боялся совершать преступления, чтобы не быть наказанным ложными богами; индус боится своей пагоды. Везде, где только есть установившееся общество, религия необходима; законы ведают открытые преступления, а религия — тайные. Когда же люди достигли обладания чистой и здравой верой, суеверие становится не только бесполезным, но и опасным. Не следует стараться кормить желудями тех, кого Бог соблаговолил кормить хлебом. Суеверие относится к религии, как астрология к астрономии — это безумная дочь мудрой матери. Эти две дочери долго держали в своем подчинении землю. В века нашего варварства, когда не было, пожалуй, и двух феодалов, имевших у себя

Новый завет, извинительно было рассказывать разные басни народу, т. е. этим невежественным баронам, их глупым женам и их грубым вассалам.

Им говорили, что св. Христофор перевез младенца Иисуса с одного берега на другой; их кормили баснями о колдунах и бесноватых; они верили, что св. Генуй лечил от ревматизма, а св. Клара от болезни глаз. Дети верили в оборотней, а отцы в шнурок св. Франциска. Количество реликвий было неисчислимо. Следы этих суеверий оставались у народов еще долгое время — даже и тогда, когда религия очистилась от них. Известно, что когда Ноайль, епископ Шалонский, приказал убрать и бросить в реку реликвию — св. пупок Иисуса Христа, весь город Шалон восстал против него. Но епископ был настолько же храбр, насколько благочестив, и ему удалось убедить жителей Шалона, что можно поклоняться Иисусу Христу в духе и истине, не сохраняя его пупка в церкви. Те, которых называли янсенистами, немало способствовали искоренению в умах нации многих ложных идей, позоривших христианскую религию. Люди перестали верить, что стоит лишь в течение тридцати дней читать молитву Деве Марии, чтобы получить желаемое и чтобы можно было грешить безнаказанно.

Наконец, наше городское население начало догадываться что не св. Женевьева посылает и останавливает дождь, а сам Бог распоряжается стихиями. Монахи удивлялись, что их святые перестали творить чудеса, и если бы авторы «Жизни св. Франциска Ксаверия» вернулись с того света, они не посмели бы написать, что этот святой воскресил девять мертвых,

что он находился одновременно на суше и на море и что, когда распятие его упало в море, его принес ему морской рак. То же самое и с отлучением от Церкви. Наши историки рассказывают, что когда король Роберт был отлучен от Церкви Папой Григорием V за женитьбу на своей куме, принцессе Берте, то слуги выбрасывали в окно блюда, которые подавались королю, а королева, в наказание за этот греховный брак, родила гуся. Теперь же сомневаются в том, что слуги выбрасывали кушанье отлученного от Церкви короля Франции, а королева разрешилась по этому случаю гусенком. Каждый день свет разума все более проникает во Франции, как в лавки купцов, так и в дома знатных господ. Следовательно, мы должны ухаживать за этими плодами разума, тем более, что нельзя помешать их развитию.

Если великие мастера заблуждений, которых так долго осыпали почестями и деньгами за то, что они затемняли народный ум, приказали бы верить, что зерно должно сгнить, чтобы дать росток, что Земля неподвижна, что она не вращается вокруг солнца, что приливы и отливы не происходят под влиянием закона тяготения, что радуга получается не от преломления световых лучей и т. д., если бы они свои предписания основывали на плохо понятых текстах Святого Писания, то как бы отнеслись к ним все образованные люди? Пожалуй, название животные не будет для них слишком сильным, а если еще к тому эти мудрые наставники пользуются силой и гонениями для того, чтобы распространять и утверждать свое невежество, то разве неуместно будет назвать их дикими *зверями*! Чем более пренебрегают суевериями монахов,

тем с большим уважением относятся к епископам и священникам: они делают только добро, тогда как суеверия ультрамонтанских монахов сделали бы много зла. Но из всех суеверий самое опасное есть то, которое заставляет ненавидеть ближнего за его убеждения. И разве не разумнее было бы поклоняться святому пупку, святой крайней плоти, молоку и платью Девы Марии, нежели ненавидеть и преследовать своего брата?

Добродетель выше знания

Чем меньше догматов, тем меньше споров; а чем меньше споров, тем меньше несчастий. Если это неправда — то я ошибаюсь.

Религия установлена для того, чтобы мы были счастливы в этой жизни и в будущей. А что надо делать, чтобы быть счастливым в будущей жизни? Быть справедливыми.

Чтобы быть счастливым в этой жизни, насколько это допускает низменность нашей природы, что мы должны делать? Быть снисходительными.

Верхом безумия следует считать убеждение, что все люди должны одинаково думать об отвлеченных предметах. Гораздо легче было бы покорить весь мир оружием, нежели подчинить себе все умы одного только города. Евклиду легко удалось убедить всех людей в истинах геометрии — почему? Потому что нет ни одной из этих истин, которая не свя-

зана была бы с маленькой аксиомой *дважды два четыре*. При соединении метафизики и теологии дело обстоит несколько иначе.

Когда епископ Александр и священник Арий принялись спорить о том, каким образом Слово (Логос) исходит от Отца, император Константин написал им слова, приводимые Евсевием и Сократом: «Вы великие безумцы, ибо спорите о том, чего не можете понимать». Если бы обе стороны были настолько мудры, чтобы признать справедливость слов императора, то христианский мир не заливался бы кровью в течение трех столетий. Что же может быть, в самом деле, нелепее и ужаснее, как сказать людям: «Друзья мои? Недостаточно быть верными подданными, почтительными детьми, любящими родителями, добрыми соседями, иметь все добродетели, соблюдать верность в дружбе, избегать неблагодарности, мирно поклоняться Иисусу Христу; надо еще, чтобы вы знали, каким образом зарождаются в предвечности, и если вы не умеете отличать "единосущное" от "подобосущного", мы объявляем вам, что вы будете гореть в вечном огне, а пока мы вас придушим».

Если бы кто-либо представил подобное решение Архимеду, Посидонию, Варрону, Катону, Цицерону — что бы они на это ответили? Константин отступился от своего решения заставить молчать обе стороны; он мог бы позвать предводителей спорящих к себе и спросить их, по какому праву они поднимают смуту: «Разве вы принадлежите к божественной семье? Какое вам дело до того, что Логос рожден или сотворен, только бы вы оставались верными ему, только бы вы пропо-

ведовали добродетель и следовали бы ее началам? Я совершил много ошибок в своей жизни, и вы также; вы честолюбивы, и я также; царская власть досталась мне путем интриг и преступлений; я истребил почти всех моих близких. Я раскаиваюсь во всем этом и желаю искупить мои злодеяния, устроив мир в Римской империи; не мешайте мне сделать единственное добро, которое может еще заставить людей забыть мои прежние варварские поступки; помогите мне окончить дни мои с миром».

Может быть, он и не убедил бы спорящих; может быть, ему показалось лестным заседать на соборе в пурпурной мантии и с драгоценной короной на голове. Вот что открыло дорогу всем ужасам, пришедшим из Азии, с Востока на Запад. Из каждого оспариваемого стиха вышел огненный дух гнева, вооруженный софизмом и кинжалом и вселивший в души людей безумие и жестокость. Явившиеся после того гунны, герулы, готы и вандалы сделали бесконечно менее зла; самое главное зло, которое они сделали, было то, что они сами вмешались в эти роковые споры.

О всеобщей веротерпимости

Не нужно ни особенного искусства, ни необыкновенного красноречия, чтобы доказать, что христиане должны быть терпимы друг к другу. Я иду дальше и говорю, что все люди должны считать других своими братьями: «Как! Турок мой

брат? Китаец мой брат? И еврей, и сиамец мои братья?» — Да, конечно, разве мы не дети одного Отца, не творения одного Бога? Но эти народы нас презирают, они считают нас идолопоклонниками! Ну что же! Я бы сказал им: «Этот маленький шар представляет собой лишь точку в пространстве, так же как и многие другие шары, и мы затеряны в этой бесконечности. Человек, имея около пяти футов роста, разумеется, является ничтожеством в мироздании. И вот одна из этих невидимых букашек говорит своим соседям в Аравии или Кафрской земле: «Слушайте меня, так как Творец всех этих миров просветил меня: на земле живут 900 миллионов таких крохотных муравьев, как мы, но только мой муравейник угоден Богу; все другие ему ненавистны спокон всех веков; один он будет счастлив, а все другие будут несчастны во веки вечные». Они меня прервали бы и спросили, какой дурак сказал мне такую нелепость? И я принужден был бы ответить: «Это вы сами».

После того я постарался бы их успокоить, но это было бы очень трудно. Теперь я стал бы говорить с христианами и осмелился бы сказать, например, доминиканцу: «Брат мой, вы знаете, что каждая провинция Италии имеет свое наречие, и что в Венеции и Бергамо говорят не так, как во Флоренции. Академия делья Круска установила правила языка; словарь ее представляет собой закон, от которого уклоняться не следует, и правила грамматики Буонматтеи должно соблюдать неукоснительно. Однако неужели вы думаете, что председатель Академии, а за его отсутствием Буонматтеи могли бы со спокойной совестью приказать отрезать язык у всех венеци-

анцев и всех бергамцев, которые упорствовали бы в разговоре на своем наречии?» Инквизитор ответит мне: «Это большая разница: здесь дело идет о спасении вашей души, правление инквизиции для вашего собственного блага приказывает схватить вас по доносу одного какого-либо лица, даже если бы это лицо было преступником и находилось под судом, даже имя донесшего на вас не должно быть вам известно; инквизитор обещает вам помилование, а потом казнит вас; пусть он подвергнет вас пяти различным пыткам, а затем велит высечь вас и сошлет в каторгу или же прикажет сжечь вас с большими церемониями. Именно так и говорят ученые отцы Ивонэ, Кюшалон, Занхинус, Фелинус, Гомелинус и другие, и эти благочестивые правила не терпят возражения».

Тогда я взял бы на себя смелость ответить ему: «Брат мой, вы, может быть, и правы; я убежден в том, что вы хотите сделать мне добро; но нельзя ли спастись каким-нибудь иным образом?» Правда, что эти нелепые жестокости не каждый день оскверняют землю, но они совершались очень часто, и из перечня их можно бы составить книгу гораздо более толстую, нежели Евангелия, которые их осуждают. Не только в этой короткой жизни не надо преследовать тех, которые думают иначе, нежели мы, но я не знаю, не слишком ли смело будет приговорить их к вечному мучению. Мне кажется, что такие кратковременные атомы, как мы, не должны предрешать приговоров Создателя. Я отнюдь не оспариваю изречения: «Вне Церкви нет спасения!» Я благоговею перед нею, как и перед всем, чему она учит; но, положа руку на сердце, разве мы знаем все пути Господни и всю бесконечность его милости?

Разве мы не должны столько же надеяться на его благодать, сколько бояться его гнева? Разве мало того, что мы будем верны Церкви? Неужели же каждый человек может присвоить себе права Бога и решать за него вечную участь людей?

Когда мы надеваем траур по королю Швеции, Дании, Англии или Пруссии, то разве мы говорим, что носим траур по проклятом, который вечно будет гореть в аду? В Европе сорок миллионов человек, не принадлежащих к Римской церкви — разве мы скажем каждому из них: «Милостивый государь, так как вы неминуемо прокляты на веки, то я не хочу ни есть, ни говорить, ни заключать какие-либо сделки с вами?» Какой же посланник Франции, явившись на аудиенцию к турецкому султану, скажет в глубине своего сердца: «Его Величество будет неминуемо гореть на вечном огне, потому что он подвергся обрезанию?». Если бы он в самом деле верил, что султан смертный враг Бога и подвергается гневу Его, то разве бы он мог разговаривать с ним? Разве его следовало бы посылать к нему? С каким человеком можно было бы вести дела, исполнять какую-либо обязанность гражданской жизни, если бы мы действительно были убеждены в том, что говорим с отверженными?

О, сектанты милосердого Бога! Если у вас сердце жестокое, если вы, поклоняясь тому, весь закон которого сводится к словам: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», загромоздили это учение софизмами и непонятными спорами; если вы производили раздор то из-за одного нового слова, то

из-за лишней буквы, если вы предрекаете вечные муки за опущение нескольких слов, нескольких обрядов, которых другие народы не могли знать, то я, проливая слезы над всем человеческим родом, скажу вам: «Перенеситесь со мною мысленно к тому дню, когда все люди предстанут на суд, и Бог воздаст —коемуждо поделом его».

Я вижу всех людей прошлых веков и века нынешнего предстающими перед Богом. Уверены ли вы в том, что наш Создатель и Отец скажет мудрому и добродетельному Конфуцию, законодателю Солону, Пифагору, Залевку, Сократу, Платону, божественным Антонинам, доброму Траяну, Титу, Эпиктету и стольким людям, которых можно считать лучшими из людей: «Идите, чудовища! Идите на ужасные муки и пусть ваши мучения будут вечны, как я сам! А вы, мои возлюбленные Жан Шатель, Равальяк, Дамиен, Картуш и т. д., умершие по предписанным формулам, садитесь одесную меня и войдите со мною в вечную славу!». Вы в ужасе отступаете при этих словах. Но раз они у меня вырвались, мне нечего сказать вам более!

Заключение

Мы получили известие, что 7 марта 1763 года в государственном совете, собравшемся в Версале под председательством канцлера, в присутствии министров, главный докладчик г-н де Крон докладывал дело о семействе аласов со всем

беспристрастием судьи, с точностью хорошо осведомленного человека и красноречием оратора и государственного мужа, с тем простым и правдивым красноречием, которое одно только и подобает в таком собрании. Громадная толпа людей всех сословий и всех положений ожидала в галерее дворца решение совета. Вскоре королю доложили, что все голоса, без единого исключения, постановили, чтобы Тулузский парламент прислал в совет все относящиеся к делу бумаги и изложение мотивов приговора, по которому Жан Калас окончил жизнь на колесе. Его величество одобрил решение совета.

Есть еще, следовательно, гуманность и справедливость среди людей, и в особенности в совете короля, любимого и достойного быть любимым. Дело несчастных, темных людей заинтересовало его величество, министров и весь совет; оно было подвергнуто самому тщательному обсуждению и рассмотрено с тем же вниманием, с каким рассматриваются величайшие вопросы войны или мира. Любовь к справедливости, участие к человеческому страданию руководили судьями. Воздадим за это хвалу милосердному Богу, единому внушителю справедливости и всех добродетелей! Мы заявляем, что никогда не знали ни несчастного Каласа, которого восемь тулузских судей казнили по самым незначительным признакам виновности, казнили вопреки постановлениям наших королей и противно законам всех народов; ни сына его Марка-Антуана, странная смерть которого ввела этих восемь судей в заблуждение; ни столь же почтенной, сколько и несчастной матери, ни ее невинных дочерей, которые за двести миль приехали с нею, чтобы сложить свое горе и свое несчастье у подножия

трона! Богу известно, что мы действовали под влиянием духа справедливости, истины и мира, когда мы излагали наши мысли о веротерпимости по случаю дела Жана Каласа, умерщвленного во имя нетерпимости. Мы не хотели оскорбить тулузских судей, говоря, что они ошиблись, как подумал весь совет: наоборот, мы открыли им средство оправдаться перед всей Европой.

Это средство заключается в том, чтобы и они признали, что сомнительные указания и крики безумной черни затопили их правосудие; в том, чтобы они выпросили прощение у вдовы и, насколько будет в их силах, восстановили потерю всего имущества невинной семьи, присоединяясь к тем, которые помогают им в их несчастьи. Они несправедливо казнили отца, они же должны заменить отца его детям, предположив, что сироты захотят принять от них это слабое изъявление их раскаяния. Было бы прекрасно со стороны судей предложить свою помощь, и со стороны семьи отвергнуть ее. Первый пример раскаяния должен показать тулузский голова Давид. Он оскорбил отца, умиравшего на эшафоте. Это — неслыханная жестокость; но если Бог прощает, то и люди должны прощать тому, кто исправляет свою несправедливость.

Я получил из Лангедока письмо от 20 февраля 1763 года, следующего содержания: «Ваше сочинение "О веротерпимости" полно гуманности и правды; но я боюсь, что оно сделает семье Каласа более зла, чем добра. Оно оскорбит тулузскаx судей, подавших голос за колесование; они потребуют от парламента, чтобы ваша книга была сожжена, а фанатики (такие всегда найдутся) ответят криками ярости на голос разума» и т. д.

Вот мой ответ: восемь тулузских судей могут сжечь мою книгу; нет ничего легче этого; сожгли же «Провинциальные письма» Монтескье, которые, разумеется, гораздо лучше: каждый волен сжигать у себя книги и бумаги, которые ему не нравятся. Мое сочинение не может сделать ни вреда ни пользы семейству Каласов, которого я не знаю. Королевский совет, беспристрастный и твердый, судит сообразно законам и справедливости, на основании документов и данных судебного процесса, а не по сочинению, ничего общего, по существу своему, ни с юридическими принципами, ни с делом, о котором они судят, не имеющему. Если бы о восьми тулузских судьях, за или против веротерпимости, были написаны целые тома, то и тогда никакой совет или суд не будет считаться с этими книгами как с документами, относящимися к данному делу. Сочинение это есть прошение, которое человечество смиренно подает могуществу и осторожности. Я сею зерно, которое когда-нибудь может дать жатву. Будем надеяться на время, на доброту короля, на мудрость его министров и на дух разума, начинающий всюду изливать свой свет.

Природа говорит всем людям: «Я всех вас произвела на свет слабыми и невежественными, чтобы вы пробыли несколько мгновений на земле и удобрили ее вашими трупами. Так как вы слабы, помогайте друг другу, так как вы невежественны, просвещайте и терпите друг друга. Если бы вы все были одного мнения, чего, конечно, никогда не будет, и если бы на свете был лишь один человек другого мнения, вы должны бы были простить ему, потому что это я заставляю его думать так, как он думает. Я дала вам руки, чтобы обра-

батывать землю, и слабый свет разума, чтобы руководить вами; я вложила в ваши сердца зародыш сострадания, чтобы вы помогали друг другу нести бремя жизни. Не заглушайте этого зародыша, знайте, что это искра божества, и не ставьте презренные учения школ на место голоса природы. — Я одна соединяю вас, вопреки вам самим, путем ваших общих нужд, даже среди самых жестоких и столь легкомысленно предпринимаемых войн, представляющих собой вечную смену ошибок, случайностей и несчастий.

Я одна в какой-либо нации останавливаю роковые последствия нескончаемых раздоров между дворянством и чиновничеством, между этими двумя корпорациями и духовенством, между горожанином и земледельцем. Никто из них не знает пределов своих прав; но все они невольно в конце концов прислушиваются к голосу своего сердца. Одна я сохраняю справедливость в судах, где все без меня было бы предано на жертву неопределенности и произвола, среди хаотической кучи законов, составленных часто наудачу и для минутной надобности, различных в каждой провинции и к каждом городе и почти всегда противоречивых в одном и том же месте. Одна только я могу внушить справедливость, когда законы побуждают только к придиркам. Тот, кто слушает меня, судит всегда хорошо; а тот, кто старается примирить противоречивые мнения,— всегда заблуждается.

В мире существует громадное здание, основы которого я положила сама, своими руками. Оно было прочно и просто, все люди могли входить в него безопасно. Они захотели прибавить к нему самые странные, самые грубые и самые ненужные ук-

рашения. Здание разрушается: люди хватают его разваливающиеся камни и бросают ими друг в друга. Я кричу им: «Стойте, уберите эти ужасные развалины, работу ваших рук, и оставайтесь со мной в мире в незыблемом здании».

Дополнительная статья, в которой дается отчет о последнем приговоре суда в пользу семейства Каласов

С 7 марта 1763 года до окончательного решения суда прошло еще два года; так легко фанатику лишить жизни невинного, и так трудно разуму добиться его оправдания. Пришлось иметь дело с неизбежными проволочками, связанными всегда с формальностями. Чем менее эти формальности соблюдались в приговоре над Каласом, тем строже их следовало соблюдать Государственному совету. Целого года не хватило на то, чтобы принудить Тулузский парламент доставить совету все относящиеся к делу бумаги и тем дать возможность рассмотреть их и составить доклад. Эта тяжелая работа была поручена г-ну де Крону. Собрание приблизительно в 80 судей кассировало приговор Тулузского суда и распорядилось о полном пересмотре дела. Другие важные дела занимали в то время почти все суды государства. Изгоняли иезуитов, закрывали их общества во Франции: они были нетерпимы и занимались преследованиями, и их тоже стали преследовать.

История с исповедальными билетами, изобретение которых приписывали им, и сторонниками которых они открыто признавали себя, вызвала против них ненависть нации. Громкое банкротство одного из их миссионеров (отца ля Валета), банкротство, которое отчасти считали злостным, окончательно погубило их. Одни только эти слова — *миссионер* и *банкрот*, имеющие, по-видимому, так мало общего между собой, утвердили во всех умах окончательный приговор против них. Наконец, развалины Пор-Рояля и кости знаменитых людей, которые они оскорбляли в могилах и которые были вырыты из могил в начале столетия по распоряжениям иезуитов, восстали против них. Мы можем видеть историю их изгнания в прекрасной книге, озаглавленной «Об искоренении иезуитов во Франции»[13], труд беспристрастный, потому что это труд философа, написанный с умом и красноречием Паскаля, а главное, с ясностью взгляда, незатемненного, как у Паскаля, предрассудками, которые иногда соблазняют даже великих людей.

Это большое дело, в котором, по словам иезуитов, была оскорблена религия, и которое большинство, наоборот, считало возмездием за оскорбление религии, одно время отвлекло внимание общества от процесса семейства Каласов; но король передал высшему суду, так называемому Суду Дворцовых Прошений, окончательное решение дела; тогда публика, любящая переходить от одной сцены к другой, забыла иезуитов, и семья Калас привлекла к себе все ее внимание. Суд Дворцовых Прошений представляет собой высшее судебное учреждение для разбора процессов между придворными чинами и дел, которые передает в нее король.

Нельзя было выбрать суд, лучше осведомленный по этому делу: это были как раз те же судьи, которые дважды занимались предварительным пересмотром его и которые основательно знали его и по форме, и по существу. Вдова Жана Каласа, его сын и юный Лавес снова были заключены в тюрьму; из глубины Лангедока выписали старую служанку-католичку, не покидавшую ни на минуту своих господ в тот час, когда, как утверждали вопреки очевидности, они душили своего сына и брата. Началось обсуждение тех самых бумаг, по которым Жан Калас был осужден на смерть, а сын его Пьер — на изгнание.

В это время появился новый доклад красноречивого г-на де Бомона и доклад молодого Лавеса, столь несправедливо замешанного в уголовный процесс тулузскими судьями, которые, в довершение противоречия, объявили его невиновным. Этот молодой человек сам составил такой доклад, который был признан достойным рядом с докладом г-на де Бомона. Ему досталось на долю преимущество говорить и за себя, и за семью, несчастье которой ему пришлось разделить. Он имел полную возможность освободиться от суда, сказав, что он на минуту оставлял семью Каласов в то время, когда мать и отец будто бы совершили убийство сына. Ему грозили пыткой и смертью; он предпочел подвергнуться мучениям, но не унизился до лжи. Все эти подробности он изложил в своем докладе, без тени хвастовства, с такой искренностью, простотой и благородством, что доклад этот глубоко тронул тех, которых автор хотел только убедить, и сам автор прославился, совсем на то не рассчитывая.

Отец его, знаменитый адвокат, не принимал ни малейшего участия в этом труде и вдруг увидел, что сын, никогда не занимавшийся адвокатурой, разом стал на одну доску с ним.

Между тем наиболее высокопоставленные лица толпами посещали г-жу Калас в тюрьме, где дочери ее поселились вместе с ней. Умиление посетителей доходило до слез. Гуманность и щедрость пришли на помощь несчастным, а не то, что называется «благотворительностью». Благотворительностью, которая часто бывает ничтожна и оскорбительна, занимаются, по большей части, ханжи, а ханжи были еще против Каласов.

Настал, наконец, день (9 марта 1765 года) полного торжества невинности. Господин де Баканкур прочитал доклад о всем производстве дела с мельчайшими подробностями всех обстоятельств его; все судьи единогласно объявили семью невиновной и Тулузский суд над нею недобросовестным и жестоким. Они восстановили память отца; они разрешили семье жаловаться на тулузских судей, куда надлежит, чтобы взыскать с них издержки и вознаграждение, которое эти судьи должны бы были предложить сами.

Весь Париж радовался этому событию; на площадях, на гуляньях собирались толпы людей; отовсюду сбегались посмотреть на эту несчастную и столь блестящим образом оправданную семью; аплодировали проходившим судьям и осыпали их благословениями. Особенно трогательную черту придавало этому зрелищу то обстоятельство, что это было 9 марта, как раз тот день, когда, три года назад, был казнен ужасной смертью Жан Калас.

Судьи отдали полную справедливость семье Каласа и тем исполнили только свой долг. Не есть еще другой долг, долг

благотворительности, не столь часто исполняемый судами, считающими, по-видимому, своим долгом только справедливость и добросовестность. В этом случае, однако, судьи решили написать коллективное письмо его величеству с просьбой восстановить своею милостью разоренное состояние семьи. Король отвечал на это письмо приказанием выдать тридцать шесть тысяч ливров: из них три тысячи предназначались на долю той доброй служанки, которая непрестанно защищала истину, защищая своих господ. Король за это благодеяние, как и за многие другие, заслужил то прозвище, которым наградила его любовь народа.

Пусть этот пример послужит к тому, чтобы внушить людям веротерпимость, без которой фанатизм наполнял бы землю несчастьями и печалью! Мы знаем, что в этом случае затронута лишь одна семья, а сектантская злоба погубила их тысячи, но сегодня, когда слабый отблеск мира озаряет все христианские общества после многих веков кровопролития, в эту эпоху успокоения, несчастье семьи Каласов должно производить еще большее впечатление, словно гром среди ясного дня. Такие факты редки, но еще случаются, как следствия того мрачного суеверия, которое заставляет слабые души приписывать преступления всем, кто думает не так, как они.

Примечания

[1] *Обоих парламентов Великобритании...* — Соединение английского парламента с ирландским произошло лишь в 1800 г.

[2] Однако, так как в нескольких городах перепечатали эти издания, г-жа Калас лишилась плодов этого великодушного дара.

[3] *Монаха-фельянта* — речь идет о Франсуа Равальяке (1578—1610) — фанатичном католике, убийце короля Генриха IV. Казнен 27 мая 1610 г.

[4] *Один честный человек — не невежда, не враг ни разума, ни честности, ни отечества* — подразумевается аббат Мальво — автор книги: «Согласие религии и человечества относительно нетерпимости».

[5] Луки, 14.

[6] Луки, 14:23.

[7] Луки, 14:12

[8] Луки, 14:26

[9] Матфея, 18:17.

[10] Марка, 11:19.

[11] Матфея, 6:59.

[12] Матфея, 26:61.

[13] Автор книги — Жан Лерон д'Аламбер (1717—1783), французский математик и философ. Д'Аламбер работал вместе с Д.Дидро над созданием знаменитой «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751—1772, 28 томов).



Все в Боге

Комментарий к Н. Мальбраншу[1]

In Deo vivimus, et movemur, et sumus[2].
Арат

Поэт Арат, слова которого приводит и одобряет ап. Павел[3], выразил это исповедание веры у древних греков.

Добродетельный Катон говорит то же самое у Лукана: «Jupiter est quodcumque vides, quocumque moveris»[4].

Мальбранш является комментатором Арата, ап. Павла и Катона. Ему удалось это, когда он указывал на ошибки чувств и воображения; но когда он захотел развить ту великую истину, что Все в Боге, то все читатели объявили, что комментарий темнее самого текста.

Признаем, вместе с Мальбраншем, что мы не можем дать себе наши мысли. Признаем также, что предметы сами собой не могут нам дать их; ибо возможно ли, чтобы кусок материи заключал в себе способность производить во мне мысль? Следовательно, Вечное Существо, производящее все, производит, все равно каким образом, и мысли. Но что такое мысль? Что такое ощущение, воля и т. д.? Это — я видящий, я чувствующий и я желающий. Известно, наконец, что как нет реального существа, называемого *мыслью*, так нет и реального существа, называемого *движением*, но есть движимые тела. Точно так же нет особого реального предмета, называемого *памятью*, *воображением*, *суждением*, но мы помним, мы воображаем, мы судим. Все это есть неоспоримая истина.

Закон природы. — Как же Вечное, творящее Существо производит все эти формы в организованных телах? Вложило ли оно в одно пшеничное зерно два существа, из которых одно заставит произрасти другое? Поместило ли оно в оленя два существа, из которых одно заставит бежать другое? Конечно, нет; но зерно одарено способностью произрастать, а олень — способностью бегать.

Что такое произрастание? Это — движение в материи. Что такое способность бегать? Это — такое устройство мускулов, прикрепленных к костям, вследствие которого эти мускулы двигают вперед другие кости, прикрепленные к другим мускулам. Очевидно, всей природой управляет один общий математический закон, который и производит все эти

следствия. Полет птиц, плавание рыб, бег четвероногих — все это очевидные проявления известных законов движения. Образование форм, питание, рост, одряхление животных — тоже очевидные проявления более сложных математических законов. Ощущения, понятия этих животных не могут быть ничем иным, как еще более удивительными проявлениями более тонких математических законов.

Механика чувств. — Вы объясняете с помощью этих законов, каким образом животное движется и идет искать себе пищу; следовательно, вы должны предположить, что есть другой закон, по которому животное имеет понятие о пище, без которого оно не пошло бы отыскивать ее.

Бог поставил в зависимость от механики все действия животного и, следовательно, подчинил механике ощущения, производящие эти действия.

В органе слуха есть весьма чувствительное устройство — спираль с извилистыми поворотами, приводящая воздушные волны к раковине, устроенной в виде воронки; сжатый в этой воронке воздух входит в лабиринт, в преддверие, в маленькую раковину, называемую улиткой; он ударяется в барабанную перепонку, слегка опирающуюся на молоток, в наковальню, в стремя, которые слегка двигаются, натягивая или отпуская фибры барабанной перепонки. Это искусное сочетание стольких органов несет звук к мозжечку и вводит в него музыкальные аккорды, не смешивая их. Оно вводит в него посланников мыслей — слова, от которых остается иногда воспоминание на всю жизнь.

Не менее удивительный механизм бросает в ваши глаза, не причиняя им боли, лучи света, отражающиеся от предметов. Лучи эти так тонки и нежны, что кажется, будто между ними и пустотой ничего нет; они гораздо быстрее мгновения ока; они рисуют на сетчатой оболочке глаза картины, очертания которых они приносят. Они дают здесь ясное изображение четверти неба.

Вот инструменты, которые вызывают определенные и совершенно различные последствия, действуя на нервы таким образом, что посредством органа зрения невозможно слышать, а посредством органа слуха нельзя видеть.

Неужели Творец природы построил с таким изумительным искусством эти чудные орудия, неужели он установил столь изумительные отношения между глазом и светом, между воздухом и ухом с тем, чтобы прибегать для довершения своего творения еще к каким-то другим средствам? Природа действует всегда самым кратким путем: долгая процедура показывает бессилие; многочисленность вспомогательных средств есть признак слабости.

Вот что сделано для зрения и слуха; и для других чувств все устроено с одинаково утонченным искусством. Неужели же Бог такой плохой работник, что сотворенное им животное нуждается, для того, чтобы видеть и слышать, еще в какой-то внутренней личности, которая одна исполняла бы все эти функции? Разве Бог не может дать нам сразу ощущения, наделив нас столь удивительными органами чувств? Все согласны с тем, что он это сделал для всех животных. Никому

не может прийти в голову дикая мысль, что в кролике, в легавой собаке есть какое-то скрытое существо, которое видит, слышит, обоняет, действует за них. Бесчисленное множество животных пользуется своими чувствами по всеобщим законам, одинаковым для них и для нас.

Я встречаю в лесу медведя; он услышал мой голос, я услышал его рев; он увидел меня своими глазами, я увидел его своими; в нем — инстинкт съесть меня, во мне — инстинкт защищаться или бежать. Неужели кто-нибудь скажет мне: «Подожди, ему нужны для всего этого только его органы; а что касается тебя — то это дело другое: его услыхали не твои уши, не работа твоих органов заставляет тебя его избегать или с ним бороться; надо прежде спросить, что же тебе предпринять, некую маленькую личность, которая живет в твоем мозжечке и без которой ты не можешь ни видеть, ни слышать этого медведя, не можешь ни убежать от него, ни защищать ее?»

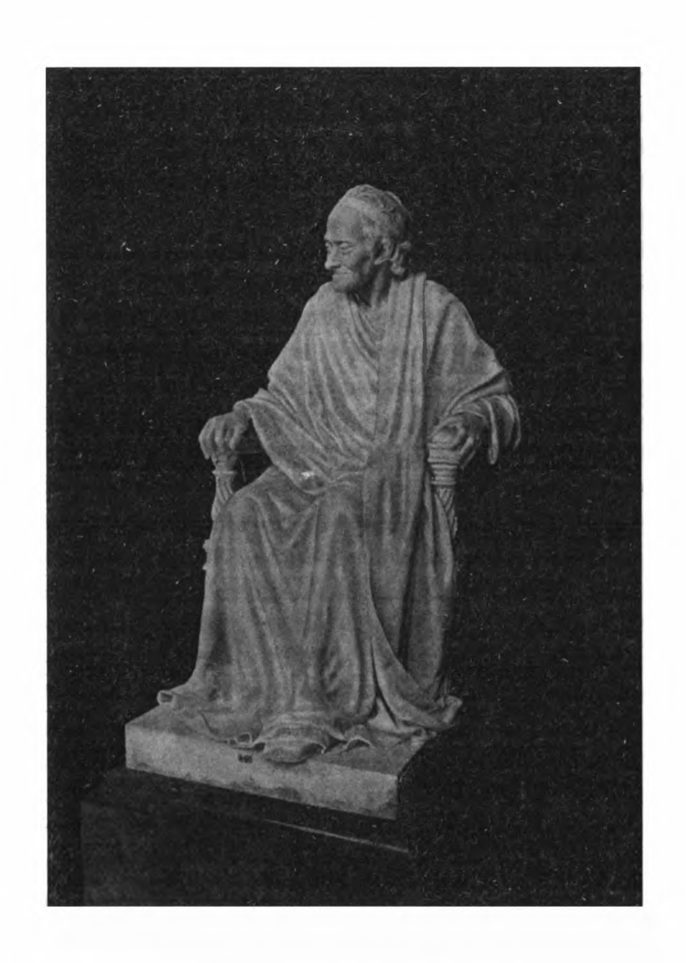
Механика наших мыслей. — Если органы, данные мировым Провидением, достаточны для животных, которым они даны, то нет причины, по какой бы наши органы не были достаточны для нас, как нет причины предполагать, что между вечным Творцом и нами необходимо еще какое-то третье существо, чтобы заставлять нас действовать. Если бывают такие случаи, когда это третье лицо совершенно ненужно, то разве не абсурд предполагать его в других случаях? Все признают, что мы делаем множество движений без помощи этого третьего лица. Наши глаза, быстро закрывающиеся при непредвиденном, внезапно появляющемся ярком свете; наши

руки и ноги, приспособляющиеся к равновесию вследствие нашей боязни упасть, и множество других действий показывают, что третье лицо, по крайней мере, не всегда управляет действиями наших органов.

Рассмотрим всех животных, внутреннее устройство которых почти соответствует нашему. Как у них, так и у нас почти одни только нервы третьей пары входят в мускулы, повинующиеся желаниям животного; все же другие мускулы, служащие чувствам и работающие в химической лаборатории внутренних органов, действуют независимо от чьей-либо воли. В высшей степени удивительно то, что все животные одарены способностью сообщать движение всем мускулам, служащим для того, чтобы позволять им ходить, стягивать, вытягивать тело или двигать лапами или руками и ногами, когтями или пальцами, есть и т. д., и что ни одно животное не может управлять малейшими движениями сердца, печени, кишок, кровообращением, совершающимся в человеке около двадцати пяти раз в час.

Но есть ли хоть какой-нибудь смысл говорить, что в человеке живет какое-то маленькое существо, приказывающее нашим ногам и рукам и не могущее приказывать ни сердцу, ни желудку, ни печени, ни поджелудочной железе. И этого маленького существа нет ни в слоне, ни в обезьяне, которые пользуются своими внешними органами так же, как и мы, и повинуются своим внутренним органам так же, как и мы?

Но люди пошли еще далее и сказали: «Между телами и понятиями нет никакого соотношения так же, как между телами



Ж. Гудон. Мраморная статуя Вольтера

и ощущениями. Это — вещи существенно различные. Следовательно, Бог напрасно велел бы свету проникать в наши глаза и частицам воздуха входить в наши уши, чтобы мы видели и слышали, если бы Бог не поместил в наш мозг существа, способного воспринимать эти ощущения. Это существо,— говорят они,— должно быть простым, чистым, неосязаемым; оно находится в данном месте, не занимая пространства, оно неосязаемо, оно нематериально и всегда воспринимает впечатления от материи».

Затем говорили еще следующее: «Это маленькое существо, не могущее занимать места и помещенное в нашем мозгу, не может, в действительности, иметь само по себе никаких ощущений или получать какие-либо понятия через предметы как таковые. Следовательно, Бог разрушил преграду, отделяющую его от материи и захотел, чтобы оно получало ощущения и понятия через материю. Бог захотел, чтобы маленькое существо видело, когда на нашей сетчатке отражаются предметы, чтобы оно слышало, когда наша барабанная перепонка сотрясена. Правда, что все животные получают эти впечатления без посредства этого маленького существа, но человеку следует навязать его: это благороднее. Человек соединяет более понятий, чем другие животные,— следовательно, он получает понятия и ощущения иначе, чем они».

Если это действительно так, господа, то из-за чего же Творец природы так старался? Если это маленькое существо, которое вы помещаете в мозжечок, не может, по своей природе, ни видеть, ни слышать, если нет никакого соотношения

между предметами и им, то нам не нужно ни глаза, ни уха. Барабанная перепонка, молоточек, наковальня, роговая оболочка, пигментная пленка радужной оболочки, хрусталик, сетчатка — совершенно бесполезны. Если это маленькое существо не имеет никакой связи, никакой аналогии, никакого соотношения ни с одним материальным аппаратом, то этот аппарат является совершенно лишним.

Бог мог сказать только: «Ты будешь обладать способностью зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания, не нуждаясь ни в каком орудии, ни в каком органе». Следовательно, мнение, идея, что в мозгу человека находится какое-то существо, какая-то посторонняя личность, которой нет в других мозгах, подлежит, по крайней мере, сильному сомнению; она противоречит всякой аналогии, без нужды увеличивает число существ и делает все чудесное строение человеческого тела бесполезным и обманчивым трудом.

Бог делает все. — Правда, что мы сами не можем дать себе никакого ощущения; мы не можем даже представить себе ощущений помимо тех, которые уже испытали. Пусть все академии Европы предложат премию тому, кто выдумает новое чувство, и никогда никто этой премии не получит. Итак, мы сами по себе ничего не можем: имеем ли мы в своем мозгу невидимое и неосязаемое существо или не имеем — это безразлично. И надо сознаться, что во всех системах Творец природы дал нам все, что мы имеем: органы, чувства и вытекающие из них понятия. Если же мы, таким образом, находимся в его власти, то Мальбранш, несмотря на все свои заблу-

ждения, прав, когда с философской точки зрения говорит, что мы живем в Боге и что мы видим все в Боге, как апостол Павел говорил это на языке богословия, а Арат и Катон — на языке морали.

Что же мы можем понимать под этими словами: *видеть все в Боге*? Или это лишенные всякого смысла слова, или это означает, что Бог дает нам все наши понятия. Что значит получить понятие? Не мы создаем его, когда его получаем; следовательно, создает его Бог; точно так же, как не мы создаем движение, а Бог. Следовательно, все есть воздействие Бога на его творения.

Каким образом все есть действие Бога? — В природе существует лишь одно мировое, вечное и действующее начало, и двух начал существовать не может, ибо они были бы подобны или различны. Если они различны, они уничтожают друг друга; если они подобны, то они составляют одно. Единство плана в великом, бесконечно разнообразном целом показывает одно начало. Это начало должно действовать в каждом существе, иначе это — не мировое начало. Если оно действует в каждом существе, оно действует и в каждой отдельной способности каждого существа. Следовательно, нет ни одного движения, ни одного проявления деятельности, ни одного понятия, которое не было бы непосредственным проявлением мировой, всегда присутствующей причины.

Эта мировая причина произвела непосредственно Солнце и светила, и было бы странно, если бы она не произвела в нас непосредственно восприятия Солнца и светил. Если все

есть всегда следствие этой причины, в чем нельзя сомневаться, то когда начались эти следствия? Когда причина начала действовать? Эта мировая причина неизбежно действует, так как действие есть ее атрибут, так как все ее атрибуты необходимы: если бы они не были необходимы, то она бы ими не обладала. Следовательно, она действовала всегда.

Точно так же невозможно представить себе, что Вечное Существо, деятельное по самой природе своей, оставалось бездеятельным в течение целой вечности, как и представить себе лучезарное существо без света. Причина без следствия есть химера, нелепость так же, как и следствие без причины. Значит, она была вечно и всегда, значит, были следствия этой мировой причины. Эти следствия не могут исходить из ничего, следовательно, они суть вечные эманации этой вечной причины. Итак, материя Вселенной есть такая же принадлежность Бога, как и идеи, а идеи — такая же принадлежность его, как и материя. Сказать, что что-либо находится вне его, это — то же самое, что сказать, что есть нечто вне бесконечности. Так как Бог есть начало всех вещей, то все вещи существуют в нем и через него.

Бог неотделим от всей природы. — Из этого не следует выводить заключение, что он беспрестанно касается своих творений особенными проявлениями воли и деятельности. Мы всегда создаем Бога по нашему подобию: то мы представляем его себе в виде деспота, обитающего в своем дворце, приказывающего слугам, то в виде рабочего, занятого колесами своей машины. Но может ли человек вполне разумный пред-

ставить себе Бога иначе, чем как вечно деятельное начало? Итак, если он когда-либо был этим началом, то он остается им каждую минуту, ибо он не может изменить свою сущность. Сравнение Солнца и его лучей с Богом и его творениями, конечно, несовершенно; но все-таки оно дает нам некоторое, хотя весьма слабое и неточное понятие о всегда существующей причине и об ее всегда существующих следствиях. Наконец, я произношу имя «Бог» только как попугай или глупец, если я в то же время не составляю себе понятия о необходимой, великой, действующей причине, присутствующей при всех своих следствиях во всяком месте, во всякое время.

Мне не могут сделать то же самое возражение, что Спинозе. Ему говорили, что его Бог разумен и груб, дух и тыква, волк и ягненок, грабитель и ограбленный, убивающий и убиваемый; что Бог его — это беспрестанное противоречие. Но он не делает Бога всемирной причиной вещей; мы же говорим, что все во Вселенной исходит от него и, пользуясь снова недостойным его сравнением с Солнцем и его лучами, мы говорим, что луч света, исходящий от Солнца и поглощаемый зловонной клоакой, не может оставить ни малейшего пятна на этом светиле, и эта клоака не мешает Солнцу оживлять всю природу земного шара.

Нам могут сказать также, что этот луч отделился от самой сущности Солнца, что он есть его эманация, и что если творения Бога суть эманации его самого, то они изошли из него. Таким образом, мы рисковали бы дать ложное понятие о Боге, составив его из частей, да еще из частей разъединенных и

борющихся между собой. Мы ответим так же, как выше: что наше сравнение весьма несовершенно и дает лишь весьма слабый образ того, что не может быть представлено образами. Мы могли бы сказать еще, что луч света, проникший в грязь, не смешивается с нею и сохраняет в ней свое невидимое естество. Тем не менее, мы должны сознаться, что самый чистый свет не может сравниться с Богом. Свет исходит от Солнца и все исходит от Бога; мы не знаем, каким образом, но, повторяю, мы не можем составить себе иного понятия о Боге, чем как о Существе необходимом, от которого все исходит. Невежественный человек представляет его себе деспотом со служителями, ожидающими его приказаний в его передней.

Мы думаем, что все образы, в которых люди представляли себе это всемирное начало, необходимо существующее само по себе, необходимо действующее в безграничном пространстве, еще более ошибочны, нежели наше сравнение с Солнцем и его лучами. Его изображали в живописи несущимся по ветру на облаках, окруженным молниями и громами, повелевающим стихиями, вздымающим моря — все это лишь выражения нашего ничтожества. Не смешно ли в самом деле помещать в тумане, в полумиле от нашей крошечной планеты вечное начало всех небесных тел, катящихся в бесконечном пространстве? Наши громы и молнии, видимые и слышимые лишь на четыре или пять миль кругом — ничтожные физические явления, теряющиеся в великом целом, а это-то великое целое мы и должны иметь в виду, говоря о Боге.

Нет сомнения, что одна и та же сила проникает из нашей планетной системы и в другие планетные системы, в тысячи

и тысячи раз более отдаленные от нашей планеты, нежели наша планета отдалена от Сатурна. Одни и те же вечные законы управляют всеми небесными телами, я если центростремительная и центробежная силы господствуют в нашем мире, то они точно так же господствуют и в соседнем мире и во всей Вселенной. Свет нашего Солнца и Сириуса должен быть одинаков; он должен иметь ту же малую степень плотности, ту же быстроту, ту же силу; должен расходиться по прямой линии во все стороны и одинаково действовать прямо пропорционально квадрату расстояния.

Так как свет звезд, которые суть такие же Солнца, приходит к нам в известный промежуток времени, то и свет нашего Солнца также достигает до них в такой же промежуток времени. Если лучи нашего Солнца преломляются, то, без сомнения, и лучи других Солнц, падающие на их планеты, также преломляются, если встречают ту же среду. Так как это преломление необходимо для зрения, то, без сомнения, на этих планетах есть существа, которые могут видеть. Невероятно, чтобы это чудное пользование светом пропадало даром для других миров. Раз есть орудие, должна быть и возможность пользоваться им. Будем исходить всегда из тех двух принципов, что нет ничего бесполезного и что великие законы природы повсюду одинаковы. Следовательно, эти бесчисленные солнца, зажженные в пространстве, освещают бесчисленные планеты; следовательно, их лучи действуют на них так же, как на нашу Землю; следовательно, им пользуются какие-нибудь живые существа.

Свет из всех проявлений, из всех форм великого Существа является тем, что дает нам самое обширное понятие о Божестве, хотя и далеко не дает полного представления о нем. И действительно, после того, как мы видели пружины жизни животных нашей планеты, мы не знаем, имеют ли жители других планет подобные же органы. Узнав тяжесть, упругость и свойства вашей атмосферы, мы не знаем, окружены ли планеты, вращающиеся вокруг Сириуса или Альдебарана, таким же воздухом, как наш. Наше соленое море не доказывает нам, что на других планетах есть такие же моря; но свет виден повсюду. Наши ночи освещены массою Солнц. Этот свет поддерживает вечное сношение между всеми этими мирами и крошечным шаром, на котором ползает человек. Житель Сатурна видит нас, и мы видим Сатурн. С Сириуса, видимого нашими глазами, можно видеть и нас. Житель его, конечно, видит наше Солнце, хотя от Сириуса до Солнца такое расстояние, которое пушечное ядро, делающее шестьсот туаз в секунду, не могло бы пролететь в 104 миллиарда лет. Свет есть поистине быстрейший вестник, пробегающий в великом целом от одного мира к другому. Он обладает известными высшими свойствами материи, и если что-либо может дать слабое, несовершенное понятие о Боге, то это свет. Он так же вездесущ и так же всюду действует, как Бог.

Заключение. — Из всего сказанного здесь следует, мне кажется, заключить, что существует высшее, вечное разумное Существо, от которого во всякое время исходят все существа и зависит все, что происходит в пространстве. Если же

все исходит от этого высшего Существа, то и истина, и добродетель суть тоже его эманации.

Что есть истина, исходящая из высшего Существа? Истина есть общее отвлеченное слово, означающее истинные, настоящие вещи. Что такое истинная вещь? Это — вещь существующая или существовавшая и понимаемая как таковая. Поэтому, когда я называю эту вещь, я высказываю истину: мой ум действует сообразно высшему разуму.

Что такое добродетель? Это есть акт моей воли, делающий добро кому-либо из моих ближних. Эта воля исходит от Бога и соответствует своему началу. Но зло физическое и зло нравственное ведь также исходят из этого великого Существа, из этой всемирной причины всякого явления? По отношению к физическому злу нет ни одной системы, ни одной религии, которая не считала бы, что оно происходит от Бога. Происходит ли зло непосредственно или косвенно от первой причины — это решительно все равно. Одно только нелепое манихейство освобождает Бога от приписывания ему зла; но ведь нелепость ничего не доказывает. Всемирная причина создает яды и пищу, боль и удовольствие. В этом нельзя сомневаться.

Следовательно, зло необходимо? Да, раз оно существует. Все, что существует, необходимо, ибо какая могла бы иначе быть причина его существования?

А нравственное зло, а преступления Нерона, Александра VI? Ну что ж, земля покрыта преступлениями так же, как аконитом, цикутой, мышьяком; разве это мешает тому, чтобы существовала одна мировая причина? Существование нача-

ла, от которого все исходит, доказано, хотя мы и не довольны выводами. Все говорят: «Каким образом всеблагой Бог может допускать, чтобы было столько страданий?» И все на этой основе строят метафизические вымыслы; но ни один из этих вымыслов не объясняет нам происхождение зла и ни один не может опровергнуть ту великую истину, что все исходит от всемирного начала. Однако, если наш разум есть частица всемирного разума, если наш ум есть эманация высшего Существа, почему наш разум не объясняет нам то, что нас так близко касается? Почему те, которые открыли законы движения и вращения спутников Сатурна, погружены в такое глубокое неведение относительно причины наших зол? Вот именно потому, что наш ум есть лишь весьма маленькая частица разума великого Существа.

Мы смело и без всякого богохульства можем сказать, что есть маленькие истины, которые мы знаем так же хорошо, как и Бог; например, то, что три есть половина шести, и даже — что диагональ делит квадрат на два равных треугольника, и т. п. Существо, обладающее высшим разумом, не может знать этих маленьких истин ни яснее, ни лучше, нежели мы; но ряд истин бесконечен, и одно только бесконечно великое Существо может понять их все. Мы не можем сделаться участниками всех его тайн точно так же, как не можем поднять более определенного количества материи.

Спрашивать, почему есть зло на земле,— это все равно, что спрашивать, почему мы не живем так же долго, как дубы.

Наша доля ума изобретает хорошие или дурные законы для общества, создает себе полезные или пагубные предрассудки —

дальше этого мы не идем. Великое Существо могуче, но эманации его неизбежно слабы. Воспользуемся еще раз сравнением с Солнцем. Его соединенные лучи растопляют металлы; но если вы соберете отраженные лучи, которые оно бросило на Луну, они не дадут ни малейшего тепла. Мы так же неизбежно ограничены, как великое Существо неизбежно безгранично.

Вот все, что показывает мне этот слабый луч света, исходящего на меня от Солнца-духа; но зная, насколько луч этот слаб, я тотчас же склоняю это слабое мерцание перед более ярким светом тех, которые должны освещать мой путь в потемках этого мира.

Примечания

[1] *Никола Мальбранш* (1638—1715), французский философ. Во взглядах Мальбранша сочетались идеи Декарта, Августина и неоплатоников.

[2] Все движется, все дышит и все существует в Боге. (*лат.*) — Арат Солийский (ок. 310—245 до н.э.) древнегреческий поэт и астролог, автор пользовавшейся популярностью в течение многих веков дидактической астролого-астрономической поэмы «Явления». На латынь был переведен Цицероном.

[3] Деян., 17:28.

[4] *Jupiter est quodcumque vides, quocumque moveris* (*лат.*). — Юпитер всюду — на что бы ты ни смотрел, куда бы ни направлялся.



Мнемозина

Все мыслящее человечество, т. е. самое большее — одна стотысячная часть всех людей, долгое время предполагало или, по крайней мере, говорило, что мы получаем мысли лишь через чувства и что память есть единственное орудие, с помощью которого мы можем соединить две мысли и поставить два слова рядом. Вот почему Юпитер, представляющий собой природу, влюбился в богиню памяти, Мнемозину, как только увидел ее. От этого союза родились девять сестер — Музы, изобретательницы всех искусств.

Этот догмат, служащий основой всех наших знаний, был признан всеми. И даже Нонсобра[1] признала его, как только он родился, несмотря на то, что это была истина. Некоторое время спустя, явился Краснобай, наполовину математик, наполовину фантазер[2], который начал рассуждать по поводу пяти чувств и памяти и сказал маленькой части мыслящего человечества: «До сих пор вы ошибались; ваши чувства ни к

чему не служат; понятия у вас врожденные и были ранее, чем какое-либо из ваших чувств могло проявляться; у вас были уже все необходимые знания, когда вы родились на свет. Вы знали все, никогда ничего не чувствовав, все ваши понятия, рожденные вместе с вами, были уже присущи вашему уму, называемому душой, без посредства памяти, которая ни к чему не нужна».

Нонсобра осудила это предложение не потому, что оно было нелепо, а потому, что оно было ново. Однако, когда впоследствии один англичанин[3] стал доказывать, и даже довольно многоречиво, что врожденных понятий нет, что пять чувств необходимы, что память помогает удерживать в голове все, полученное посредством чувств, она осудила свое собственное мнение, потому что оно стало согласным с мнением англичанина. Вследствие этого Нонсобра приказала человечеству отныне верить во врожденные понятия и не верить пяти чувствам и памяти. Но человечество не послушалось Нонсобры и подняло ее на смех. Нонсобра пришла в такую ярость, что хотела сжечь одного философа за то, что этот философ сказал, будто бы нельзя иметь полного понятия о сыре, никогда его не видавши и не пробовавши. Этот негодяй посмел даже выразить мнение, что ни мужчины, ни женщины не могли бы никогда вышивать, если бы у них не было иголок и пальцев для вдевания ниток.

Лиолисты[4] присоединились к Нонсобре в первый раз в жизни, а сеянисты[5], смертельные враги лиолистов, также присоединялись на этот раз к ним. Они призвали на помощь древ-

них декастериков[6], которые были великими философами, и все они вместе перед смертью присудили к изгнанию память и пять чувств, а также и писателя, который хорошо отозвался о них. Присутствовавшая при произнесении приговора лошадь, хотя и была другой породы, чем судьи, и хотя между нею и ними была большая разница, как например, в росте, в голосе, в длине волос и ушей, но лошадь эта, имевшая много здравого смысла, рассказала в моей конюшне об этом приговоре Пегасу, а Пегас со своей обычной живостью передал эту историю Музам. Музы, которые в течение полстолетия оказывали большое покровительство этой долго пребывавшей в варварском состоянии стране, где эта история происходила, страшно рассердились. Они нежно любили свою мать Мнемозину, которой ее девять дочерей обязаны всем, что они знают, и неблагодарность людей глубоко возмутила их. Они не стали сочинять сатиры против декастериков, лиолистов, сеянистов и Нонсобры, потому что сатиры никого не исправляют, раздражают глупцов и делают их еще более злыми. Они выдумали способ просветить их ум посредством другого наказания. Люди оскорбили Память, и Музы отняли у них этот дар богов, чтобы они раз навсегда убедились в ее необходимости.

И вот в одну прекрасную ночь все умы затуманились до такой степени, что на утро все проснулись без малейшего воспоминания о прошлом. Некоторые декастерики, спавшие рядом со своими женами, хотели приблизиться к ним по остатку естественного влечения, независящего от памяти; но жены,

которые вообще редко чувствуют потребность обнимать своих мужей, резко оттолкнули их и с отвращением отвергли их ласки. Мужья возмутились, жены стали кричать, и в большинстве домов дело дошло до драки.

Мужчины, схватив первую попавшуюся под руку шляпу, воспользовались ею для известной надобности, которую ни рассудок, ни память не могут облегчить. Дамы употребили для той же цели свои туалетные вазы: слуги, забыв свой уговор с господами, вбежали в их комнату, не зная, куда попали; но так как человек от природы любопытен, они открыли все ящики; и так как человек, от природы же, любит все блестящее, не нуждаясь для этого в памяти, они забрали все золото и серебро, которое там нашли. Господа хотели закричать: «Воры!» — но так как понятие о воровстве выскочило из их памяти, то и слово «вор» не попадало им на язык. Каждый, забыв свое наречие, произносил бессвязные звуки. Это было гораздо хуже вавилонского столпотворения, где каждый моментально выдумывал новый язык. Врожденное чувство работало в молодых слугах с такой силой, что эти нахалы набросились на первых встречных женщин и девушек, которые попадались им навстречу, не отличая кабатчицы от президентши; последние же, забыв все правила стыдливости, позволили им делать с собой все, что они хотели.

Пришло время обеда; никто не знал, как надо взяться за дело. Никто не шел на рынок ни для купли, ни для продажи. Слуги оделись в платье своих господ, а господа в платье слуг. Все смотрели друг на друга как безумные. Одаренные

наибольшим талантом для добывания себе необходимого (то были люди из простонародья) — кое-как нашли средства к существованию, прочие были лишены всего. Президент суда, архиепископ ходили голые, а их конюхи были одеты кто в красное платье, кто в церковное облачение. Все смешалось, все готово было погибнуть от голода и нищеты, вследствие невозможности понять друг друга.

Через несколько дней Музы сжалились над бедными людьми. Они очень добры, несмотря на то, что иногда строго наказывают злых. Поэтому они упросили свою мать возвратить ее хулителям отнятую у них память. Мнемозина сошла в страну тех, которые отвергли ее, и сказала им: «Глупые, я вам прощаю. Но помните, что без чувств нет памяти, а без памяти нет ума». Декастерики довольно сухо поблагодарили ее и решили сделать ей выговор. Сеянисты напечатали это происшествие в своей газете, и все тотчас же заметили, что они еще не вылечились, а лиолисты сделали из этого придворную интригу.

Примечания

[1] *Нонсобра* — (*букв.* «Нетрезвая») — анаграмма названия Парижского университета — «Сорбонна».

[2] *Краснобай, наполовину математик, наполовину фантазер* — подразумевается Никола Мальбранш (1638—1715), французский философ. Во взглядах Мальбранша сочетались идеи Декарта, Августина и неоплатоников.

[3] *Один англичанин* — имеется в виду английский философ Джон Локк (1632—1704), иногда называемый один из первых философов эпохи Просвещения.

[4] *Лиолисты* — т. е. иезуиты (по имени основателя ордена Игнатия Лойолы).

[5] *Сеянисты* — т. е. янсенисты, последователи нидерландского богослова Корнелия Янсения.

[6] *Декастерики* — т. е. картезианцы, последователи французского философа Рене Декарта.



Одноглазый крючник

Наши два глаза не улучшают нашего положения: одним мы видим все хорошее, другим — все дурное в жизни. У многих есть скверная привычка закрывать первый и очень немногие закрывают второй. Вот почему многие люди предпочитают быть совсем слепыми, чтобы не видеть того, что они видят. Счастливы кривые, лишенные того глаза, который искажает все, что мы видим! В пример приведем Мезрура.

Лишь слепой мог бы не заметить, что у Мезрура был только один глаз. Он был крив от рождения: но он был так доволен своей судьбой, что ни разу даже не пожелал иметь два глаза. Его утешали в несчастье отнюдь не богатства, так как он был простой крючник, и единственное сокровище его были здоровые плечи; тем не менее, он был счастлив и служил ярким доказательством того, что иметь один лишний глаз и немножко меньше работы, мало прибавляет счастья

человеку. И деньги, и аппетит приобретались им всегда соразмерно исполняемой им работе. Он работал утром, ел и пил вечером, спал ночью и смотрел на каждый свой день как на отдельную жизнь. Вследствие этого его никогда не беспокоила мысль о будущем. Итак, вы видите, что Мезрур был одновременно и кривоглазый, и крючник, и философ.

Однажды он случайно увидел, что мимо него проезжала важная принцесса, у которой было одним глазом больше, чем у него; это, однако, не помешало ему признать ее очень красивой, а так как кривые отличаются от других людей только тем, что у них одним глазом меньше, то он до безумия влюбился в нее. Вы скажете, может быть, что когда человек имеет несчастие быть кривым и крючником, то ему не следует влюбляться, да еще в важную принцессу, да сверх того еще в такую, у которой два глаза. Сознаюсь, что в таком случае человек сильно рискует не понравиться; тем не менее, так как не бывает любви без надежды и так как наш крючник был влюблен, то он стал надеяться. Но у него было ног больше, нежели глаз, и ноги были здоровые и сильные, и вот он четыре мили бежал за колесницей своей богини, которую шесть белых коней мчали с необычайной быстротой.

В те времена была такая мода, чтобы дамы путешествовали одни, без лакея и кучера, и правили сами: мужья их хотели, чтобы они всегда были одни; тогда они были более уверены в их добродетели. Это, однако, совершенно противно мнению моралистов, которые находят, что в одиночестве нет добродетели. Мезрур все время бежал около колес экипажа,

обратив свой зрячий глаз к принцессе, которая не могла надивиться быстроте ног этого кривого.

В то время, как он доказывал таким образом, что человек неутомим, когда любит, дикий зверь, преследуемый охотниками, перебежал дорогу и так напугал лошадей, что они понеслись с красавицей прямо к пропасти. Влюбленный в нее кривой, еще более перепуганный, чем она сама, с быстротой молнии и необычайной ловкостью перерезал постромки, и шесть белых коней одни прыгнули в пропасть, тогда как принцесса, столь же белая как и они, отделалась одним страхом. «Кто бы ты ни был, — сказала она, — я никогда не забуду, что я обязана тебе жизнью. Проси у меня, чего хочешь; все, что у меня есть, принадлежит тебе». — «О! Я имею гораздо более основания предложить тебе то же самое, — ответил Мезрур, — но во всяком случае я могу дать меньше, чем ты, так как у меня один глаз, а у тебя два; но зато глаз, который смотрит на тебя, гораздо лучше, чем два глаза, которые тебя не видят». — Принцесса улыбнулась, потому что комплимент кривого — все-таки комплимент, а комплименты всегда приятны. «Я очень желала бы дать тебе другой глаз, — сказала она, — но этот подарок могла тебе сделать только твоя мать. Тем не менее, следуй за мной». При этих словах она сошла с колесницы и пошла пешком. Ее собачка выпрыгнула за ней и пошла около нее, лая на этого странного пажа своей госпожи. Впрочем, я неправильно назвал его пажом, ибо, как он ни предлагал свою руку принцессе, она ни за что не согласилась идти с ним под руку, говоря, что он

слишком грязен! Вот вы увидите, как она была наказана за свою брезгливость.

У нее были крошечные ножки и еще более крошечные башмачки, так что ни ножки ее, ни башмачки не были приспособлены к долгому пути. Женщины предпочитают хорошенькие ножки сильным ногам, особенно когда обладательницы их проводят жизнь, вытянувшись на кушетке и окруженные толпой обожателей. Но к чему могут служить вышитые блестками туфельки на усеянной камнями дороге, особенно — когда ими может любоваться один только крючник, да и то одноглазый. Мелинада (я раньше не сказал ее имени по той простой причине, что еще не придумал его) шла с большим трудом, проклиная своего башмачника, разрывая свои башмаки, обдирая себе ноги и спотыкаясь на каждом шагу. Таким образом она шла полтора часа со скоростью знатной дамы, то есть сделав всего четверть мили, и, наконец, упала от усталости прямо на дорогу.

Мезрур, от услуг которого она отказалась, когда стояла на ногах, не решался подступиться к ней, боясь запачкать ее; он отлично знал, что он грязен, — принцесса достаточно ясно намекнула ему на это, — и сам он, сравнивая себя с нею, еще более убедился в этом. На ней было платье из легкой серебристой ткани, усеянной гирляндами цветов, выказывавшее всю красоту ее стана; на нем же была коричневая рубашка, запачканная во многих местах, дырявая и заплатанная так, что заплаты были рядом с дырами, а не на них, что было бы гораздо целесообразнее. Он сравнил свои

грубые, покрытые мозолями руки с ее двумя белыми и нежными, как лилии, ручками; наконец, он видел сквозь легкую серебристую вуаль чудные белокурые, заплетенные в косы и завитые в локоны волосы Мелинады и знал, что у него на голове торчат во все стороны жесткие, черные волосы, едва прикрытые дырявым тюрбаном.

Между тем Мелинада старалась подняться на ноги, но снова падала и, наконец, упала так неудачно, что показала Мезруру нечто, что лишило его рассудка еще более, чем лицо красавицы. Мезрур забыл, что он — крючник, что он — кривой, и не думал уже о расстоянии, отделявшем его от Мелинады. Едва ли даже вспомнил он, что он влюблен, так как обычная деликатность влюбленных, придающая особенное очарование, а чаще всего — скуку любви, покинула его, и он воспользовался своими правами крючника быть грубым. Он поступил очень грубо и был счастлив. Принцесса, вероятно, была в обмороке или жаловалась на свою участь; но так как она была справедлива, то, наверное, благословляла судьбу, пославшую ей утешение.

Ночь распростерла свой покров по земле и скрыла своей тенью истинное счастье Мезрура и воображаемое несчастье Мелинады. Мезрур наслаждался счастьем истинных любовников, наслаждался им как крючник, то есть (скажем к стыду человечества) самым настоящим образом. Принцесса на каждой минуте падала в обморок, а любовник ее приобретал тем временем новые силы. «Всемогущий Магомет! — взмолился он с жаром невыразимо счастливого человека, но пло-

хого католика, — для моего полного счастья мне не достает лишь того, чтобы его чувствовала и та, которая дает мне его. Пока я нахожусь в твоем раю, окажи мне, божественный пророк, еще одну милость: сделай так, чтобы я в глазах Мелинады был таким же, как она была бы в моем глазе, если бы было светло!» Он перестал молиться и продолжал наслаждаться.

Аврора, встающая всегда слишком рано для влюбленных, застала Мезрура и Мелинаду в том положении, в каком и она, вероятно, могла быть за минуту до того застигнута с Тифоном. Но каково же было изумление Мелинады, когда она, открыв глаза навстречу первым лучам рассвета, увидела себя среди волшебной страны с юношей, наделенным благородной осанкой, с лицом, похожим на то светило, которого ожидала в эту минуту земля! Щеки его были как розы, губы как кораллы; глаза его, горячие и нежные, выражали и вызывали страсть; его золотой, усыпанный драгоценными каменьями колчан висел у него за плечами, и от восторга его обладателя звонили в нем его золотые стрелы. Длинные кудри, придерживаемые бриллиантовой повязкой, спускались по плечам, и прозрачная ткань, вышитая жемчугом, одевала его, не скрывая красоты его тела. «Где я? И кто ты? — воскликнула пораженная изумлением Мелинада». — «Ты находишься с тем презренным, который спас тебе жизнь и так вознаградил себя за труд».

Мелинада, весьма довольная и удивленная, пожалела только, что превращение Мезрура не совершилось ранее. Она при-

близилась к великолепному дворцу, поразившему ее взоры, и прочитала надпись на воротах: «Удалитесь, недостойные: лишь обладателю кольца откроются эти двери». Мезрур подошел вслед за ней, но прочитал совершенно другое: «Стучись смело». Он постучался, и тотчас же двери с шумом распахнулись сами собой. Влюбленные вошли при пении тысячи голосов и музыке тысячи инструментов в переднюю из белого паросского мрамора, оттуда проникли в чудесный зал, где уже в течение 1250 лет их ожидал великолепный пир; кушанья еще дымились, а за столом каждому из них прислуживали тысячи рабов изумительной красоты. Во время пира происходили танцы и играла музыка; а когда все кончилось, все гении дворца в величайшем порядке отдельными отрядами пришли присягнуть владельцу кольца и поцеловать священный палец, на который оно было надето.

В это же время в Багдаде жил один весьма набожный мусульманин. Не имея возможности совершать омовения в мечети, он, за небольшую плату мулле, приказывал приносить себе воду из мечети на дом. Он только что совершил пятое омовение, когда его ветреная молодая и вовсе не набожная служанка выплеснула освященную воду в окошко и окатила ею крепко спавшего, положивши голову на камень, бедняка, который тотчас же проснулся. Этот бедняк был Мезрур. Возвращаясь из своего заколдованного замка, он потерял по дороге волшебный перстень Соломона, и теперь вместо роскошной одежды на нем была снова его коричневая рубашка; его красивый золотой колчан превратился в деревянные

крюки, и в довершение несчастья он потерял один глаз. Тогда он вспомнил, что накануне выпил большую порцию водки, усыпившей его чувства и распалившей его воображение. До сих пор он любил этот напиток, потому что он был ему приятен, теперь же он стал пить его из благодарности и весело вернулся к своей работе, твердо решившись воспользоваться заработанными деньгами как средством отыскать свою возлюбленную Мелинаду. Другой пришел бы в отчаяние от того, что он — противный кривой, а не красавец с двумя глазами, каким был; от того, что его отталкивают судомойки после того, как его любила красавица-принцесса, более красивая, чем все наложницы халифа; от того, что он должен служить всем мещанам Багдада после того, как ему служили гении. Но у Мезрура не было того глаза, который видит дурную сторону вещей. Он видел только хорошую.



Сон Платона

Платон видел много снов, и с тех пор и другие люди много видели снов. Ему приснилось однажды, что человеческая природа была прежде двойственной и что в наказание за свои проступки она была разделена на мужскую и женскую.

Он доказал, что может существовать лишь пять совершенных миров, потому что в математике есть только пять правильных тел. Республика его была одним из его великих снов. Ему снилось еще, что сон рождается от бодрствования, а бодрствование от сна, и что можно ослепнуть, смотря на солнечное затмение иначе, как в бассейне с водой. В те времена сны создавали большую славу.

Вот один из снов, не менее интересный, чем все другие. Ему казалось, что великий Демиург, предвечный геометр, населив бесконечное пространство бесчисленными шарообразными телами, захотел испытать знание гениев, бывших

свидетелями его творчества. Он дал каждому из них кусочек материи для лепки, подобно тому, как Фидий и Зевксис заставили бы своих учеников сделать копию по статуе или по картине, если только позволительно сравнивать малые вещи с великими.

Демогоргон получил тот кусочек грязи, который мы называем *Землею*, и, слепив его так, как мы это видим теперь, он вообразил себе, что сделал шедевр. Он думал, что покорил зависть, и ожидал похвал даже от товарищей. Каково же было его удивление, когда они встретили его насмешливым хохотом.

Один из них, очень ядовитый шутник, сказал ему: «Нечего сказать, хорошую ты штуку устроил: ты разделил твой мир на два полушария и между обоими поместил огромное пространство воды, чтобы не было между ними сообщения. На полюсах люди будут мерзнуть, а в тропиках будут умирать от жары. Затем ты очень благоразумно расположил огромные песчаные пустыни, чтобы проходящие умирали от голода и жажды. Твои бараны, коровы и куры мне нравятся; но я не могу сказать того же о змеях и пауках. Твои луковицы и артишоки — превкусные вещи, но я совершенно не понимаю, зачем ты покрыл землю столькими ядовитыми растениями, разве только для того, чтобы отравить ее обитателей. Мне кажется также, что ты создал штук тридцать обезьяньих пород, еще более собачьих пород и только четыре или пять пород людей. Правда, что этому последнему животному ты дал то, что ты называешь *разумом*; но, по правде сказать, этот разум слишком смешон и слишком похож на безумие.

Мне кажется, кроме того, что ты мало дорожишь этим животным, если дал ему так много врагов и так мало средств к защите, так много болезней и так мало целебных веществ, так много страстей и так мало благоразумия. Ты, вероятно, не желаешь, чтобы этих животных было много на земле, ибо, не считая опасностей, которыми ты его окружил, ты так хорошо свел счет, что ежегодно оспа будет регулярно уносить десятую часть этой породы, тогда как родственная ей болезнь отравит источник жизни в девяти остальных частях. И как будто этого еще мало, ты так ловко поставил дело, что половина оставшихся в живых будет занята судебными процессами, а другая — взаимным истреблением. Очень они будут тебе за это благодарны, великолепный же ты шедевр создал!»

Демогоргон покраснел; он чувствовал, что в его творении было и нравственное зло, и физическое; но он утверждал, что добра было больше, нежели зла. «Критиковать легко,— сказал он,— но вы напрасно воображаете, что так легко создать существо, которое было бы всегда разумно, которое было бы свободно и не злоупотребляло бы своей свободой? Разве, когда приходится создать девять-десять тысяч растений, легко, ты думаешь, устроить так, чтобы некоторые из них не имели вредных свойств? Неужели ты думаешь, что, имея известное количество воды, песку, ила и огня, можно не иметь ни морей, ни пустынь? Ты, господин насмешник, устроил планету Марс; посмотрим, как ты распорядился с твоими двумя большими полосами и какое прелестное зрелище представляют твои ночи без луны; увидим, нет ли у твоих людей ни безумия, ни болезней».

И действительно, рассмотрев Марс, товарищи сильно напали на насмешника. Не пощадили и того серьезного гения, который создал Сатурн; прочие товарищи, построившие Юпитер, Меркурий, Венеру, также подверглись резкому осуждению.

Написано было множество книг и брошюр, сочинено много острот, песен, партии подняли друг друга на смех, партии распалились одна на другую. Наконец, вечный Демиург заставил их всех замолчать: «Каждый из вас,— сказал он,— сделал и хорошее и дурное, потому что у вас много ума, но вы несовершенны. Ваши творения будут существовать лишь несколько сот миллионов лет; после чего вы, приобретя опыт, сделаете лучше. Только я один могу делать вещи совершенные и бессмертные».

Вот как учил Платон своих учеников. А когда он кончил говорить, то один из них сказал ему: «А потом ты проснулся».


Из
«Философского
словаря»

Благо, высшее благо

I
О химере высшего блага

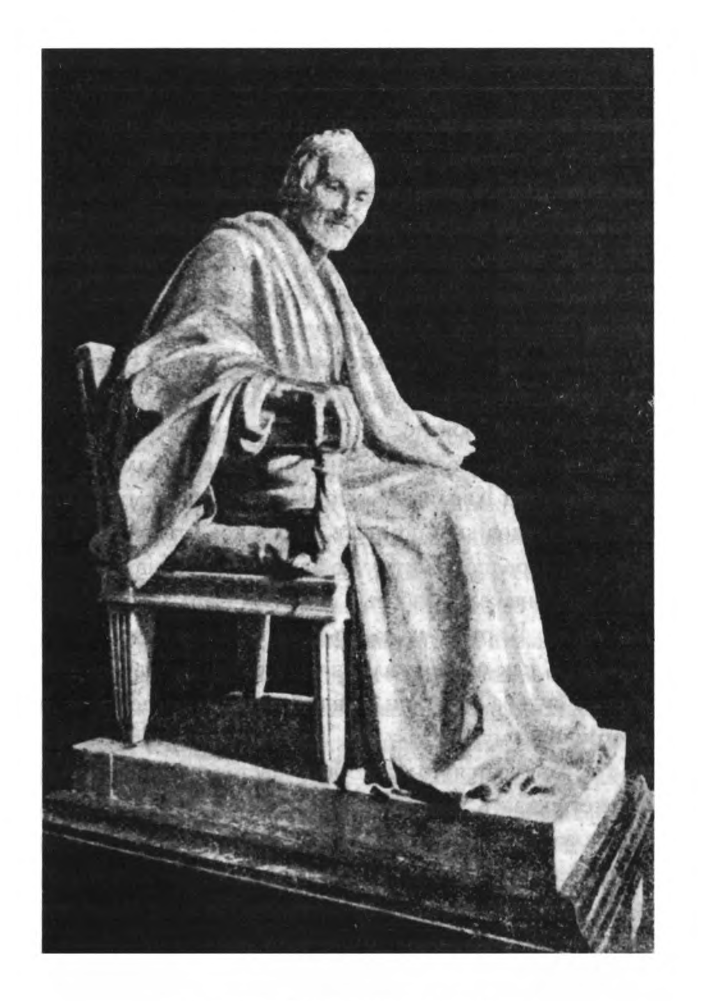
Счастье есть отвлеченное понятие, составившееся из нескольких приятных ощущений. Платон, который писал лучше, чем рассуждал, выдумал свой *архетип мира*, т. е. свой оригинальный мир, свои общие понятия о красоте, о благе, о порядке, о справедливости, как будто есть вечные существа, называемые: *порядок*, *благо*, *красота*, *справедливость*, от которых происходят слабые копии того, что нам в этом мире представляется справедливым, прекрасным и добрым.

По его следам философы и начали искать высшее благо так же, как алхимики ищут философский камень; но высшее или абсолютное благо точно так же не существует, как не су-

ществует и материальный квадрат или материальный пунцовый цвет: существуют пунцовые цвета, существуют квадраты; но нет предмета, который бы так назывался. Этот химерический способ мышления долго вредил философии.

Животные чувствуют удовольствие при исполнении тех функций, к которым они предназначены. Судя по этому, воображаемое нами счастье должно было бы быть непрерывным рядом наслаждений, но такое непрерывное наслаждение не соответствует ни нашим органам, ни нашему назначению. Есть и пить составляет наслаждение; еще большее наслаждение представляет собой половое общение; но понятно, что если бы человек постоянно ел или находился постоянно в экстазе полового наслаждения, органы его не вынесли бы этого; кроме того, он, очевидно, не мог бы выполнять цели жизни, и тогда род человеческий должен был бы прекратиться благодаря наслаждению. Переходить постоянно и непрерывно от одного наслаждения к другому — тоже химера. Необходимо, чтобы зачавшая женщина родила, что причиняет страдание; необходимо, чтобы мужчина колол дрова и тесал камень, что не доставляет наслаждения.

Если назвать *счастьем* некоторые рассеянные в этой жизни наслаждения, то счастье действительно существует; если же дать это название одному непрерывающемуся наслаждению или непрерывному и разнообразному ряду восхитительных ощущений, то счастья на земном шаре не существует — ищите его в ином месте.



Ж. Гудон. Мраморная статуя Вольтера.

Если мы назовем счастьем какое-либо состояние человека, как, например, богатство, власть, славу и т. д., то мы также ошибемся. Угольщик может быть счастливее монарха. Пусть спросят Кромвеля, был ли он, сделавшись протектором, счастливее, нежели когда он ходил в молодости в трактир; он, по всей вероятности, ответит, что эпоха его власти отнюдь не была полна наслаждений. А сколько некрасивых мещанок чувствуют себя более счастливыми, чем Елена и Клеопатра!

Однако мы должны сделать одну оговорку; когда мы говорим: «Весьма вероятно, что такой-то человек счастливее такого-то, что молодой погонщик мулов имеет большие преимущества перед Карлом V, что модистка счастливее принцессы»,— мы должны помнить, что такое утверждение условно. Легко предположить, что здоровый погонщик больше наслаждается, нежели разбитый подагрой Карл V; но возможно также, что Карл V на костылях с таким удовольствием припоминает, как он держал в плену короля Франции и папу, что его судьба все-таки лучше судьбы молодого и сильного погонщика мулов.

Но тут, разумеется, только Бог, существо, читающее в сердцах, может сказать, кто из людей самый счастливый. Лишь в одном случае человек может положительно сказать, хуже или лучше его настоящее положение, чем положение его соседа: это — случай соперничества и момент победы.

Предположим, что у Архимеда ночное свидание с любовницей. Номентану назначено то же свидание в тот же час. Архимед подходит к двери; ее захлопывают перед его носом

и отворяют Номентану, который наслаждается прекрасным ужином, смеется над Архимедом, а затем предается любовным наслаждениям в то время, как тот, стоя на улице, дрогнет под дождем и градом. Без сомнения, Номентан имеет полное право сказать: «В эту ночь я счастливее Архимеда, я более наслаждаюсь, нежели он». Но он должен будет прибавить: «Если только Архимед занят исключительно огорчением по поводу того, что лишился хорошего ужина, что им пренебрегла и его обманула красивая женщина, что его вытеснил соперник, что он терпит от дождя, града и холода». Ибо если философ на улице рассудит, что ни развратная женщина, ни погода не должны смущать его души; если он занят прекрасной проблемой и если он найдет пропорцию цилиндра и шара, то он может испытать наслаждение в сто раз более сильное, чем Номентан.

Следовательно, мы можем принимать во внимание только настоящий момент наслаждения или страдания и в этот момент сравнивать судьбу двух людей, исключая все другие случаи. Несомненно, человек, наслаждающийся со своей любовницей, в этот момент счастливее своего отвергнутого соперника. Здоровый человек, закусывающий хорошей перепелкой, без сомнения переживает более приятный момент, нежели человек, испытывающий колики в животе; но дальше этого ничего нельзя сказать с уверенностью; нельзя сравнивать одного человека с другим — у нас нет весов для взвешивания желаний и ощущений.

Мы начали эту статью Платоном и его высшим благом; закончим же ее Солоном и его великим изречением, признан-

ным всеми: «Не следует никого называть счастливым до его смерти». Аксиома эта, в сущности, есть такой же вздор, как и множество других изречений древности. Момент смерти не имеет ничего общего с судьбой человека во время его жизни; можно умереть насильственной и позорной смертью после жизни, проведенной во всех высших наслаждениях, на которые способна человеческая природа. Очень возможно и весьма обыкновенно, что счастливый человек перестает быть счастливым: кто может в этом сомневаться? Но несмотря на это, он имел все-таки свои моменты счастья.

Что же означает изречение Солона? То, что нельзя быть уверенным в том, что человек, наслаждающийся сегодня, будет наслаждаться завтра? В таком случае это — такая неопровержимая и банальная истина, что не стоило ее и высказывать.

II

Чувство полного благосостояния испытывается очень редко. Высшее благо в этом мире следует, может быть, считать в высшей степени химерическим. Греческие философы долго, по своему обыкновению, спорили об этом вопросе. Не представляете ли вы себе, любезный читатель, нищих, рассуждающих о философском камне?

Высшее или абсолютное благо! Как звучит! Но спрашивать о нем — это все равно, что спросить, что такое абсо-

лютный синий цвет, абсолютное рагу, абсолютное хождение, абсолютное чтение и т. д.

Каждый берет свое благо, где может, сколько может и — если может!

Quid dem? quid non dem? Renuis tu quod jubet alter[1]...

Castor gaudet equis, ovo prognatus eodem Pugnis[2]...

Кастор хочет коней, Поллукс — борцов. Как совместить столько вкусов, столько желаний?

Самое большое благо — это то, которое дает вам наслаждение, делающее вас неспособным чувствовать что-либо другое, так же, как величайшее страдание есть то, которое лишает вас всякого чувства. Вот две крайности человеческой природы, и эти два момента кратки.

Нет ни высших наслаждений, ни высших мучений, которые длились бы всю жизнь: высшее благо и высшее зло — химеры.

Мы знаем прекрасную басню Крантора: на Олимпийские игры являются Богатство, Сладострастие, Здоровье и Добродетель. Каждая из них претендует на яблоко. Богатство говорит: «Я — высшее благо, так как мною покупаются все блага». Сладострастие сказало: «Яблоко принадлежит мне, так как и к богатству стремятся лишь для того, чтобы иметь меня». Здоровье уверяло, «что без него не может быть сладострастия, и богатство ни к чему». Наконец, Добродетель утверждала, что она «выше трех остальных, потому что, об-

ладая и золотом, и наслаждениями, и здоровьем, человек все-таки может быть очень несчастным, если дурно ведет себя». Яблоко было присуждено Добродетели.

Басня весьма остроумна; но она была бы еще остроумнее, если бы Крантор сказал, что высшее благо есть совокупность этих соперников: добродетели, здоровья, богатства, сладострастия. Но эта басня не разрешает и не может разрешить нелепого вопроса о высшем благе. Добродетель не есть благо: это — долг; она — явление совершенно другого рода, высшего порядка. Она не имеет никакого отношения к болезненным или приятным ощущениям. Добродетельный человек с каменной болезнью или с подагрой, без поддержки, без друзей, лишенный необходимого, преследуемый, находящийся во власти сладострастного тирана, полного здоровья и сил, — очень несчастен; а наглый преследователь, ласкающий новую любовницу на своей пурпуровой постели, очень счастлив. Вы можете сказать, что преследуемый мудрец стоит выше своего недостойного преследователя; и что вы любите первого и ненавидите второго; но признайтесь, что скованный мудрец должен приходить в отчаяние. Если мудрец в этом не сознается, он вас обманывает, он — шарлатан.

Благо

О добре и зле, физическом и нравственном

Вот один из самых трудных и самых важных вопросов, касающихся всей человеческой жизни. Гораздо важнее было бы, конечно, найти средство против наших зол, но такого средства нет, и мы поставлены в печальную необходимость отыскивать происхождение зла, о котором спорят со времен Зороастра и о котором, по всей вероятности, спорили и раньше него. Чтобы объяснить это смешение добра и зла, придуманы были два начала: Ормузд — бог света и Ариман — бог тьмы; ящик Пандоры, бочки Юпитера, яблоко, съеденное Евой, и множество других систем.

Первый из диалектиков, — но не первый из философов, — знаменитый Бейль[3], достаточно ясно показал, как трудно хри-

стианам, признающим единого, благого и справедливого Бога, ответить на все возражения манихейцев, признававших двух богов — одного доброго и другого злого.

Основа системы манихейцев, несмотря на свою древность, не получила у них более разумного объяснения. Надо было бы установить геометрические леммы, чтобы иметь смелость дойти до следующей теоремы: «Есть два необходимых существа, оба высшего порядка, оба бесконечные, оба одинаково могущественные; они вели между собой борьбу и наконец сошлись на том, что будут изливать на эту маленькую планету: одно — все сокровища своих благодеяний, другое — всю свою бесконечную злобу». Подобной гипотезой они тщетно стараются объяснить причину добра и зла; миф о Прометее лучше объясняет ее, но всякая гипотеза, которая только констатирует смысл вещей и не основывается на твердых началах, должна быть отвергнута.

Христианские ученые (не принимая в расчет Откровения, заставляющего верить всему) не лучше объясняют причину добра и зла, чем последователи Зороастра.

Как только они начинают говорить: «Бог есть любящий отец, Бог есть справедливый царь», как только они присоединяют идею бесконечности к этой любви, к этой благости, к этой человеческой, известной им справедливости, они тотчас же впадают в ужаснейшее противоречие. Каким образом этот владыка, обладающий всей бесконечной полнотой известной нам справедливости, отец, бесконечно любящий своих детей, этот всесильный Бог, как мог он создать людей

по своему образу и подобию, чтобы тотчас же допустить их подвергнуться искушению злого существа и впасть в грех, как мог он заставить умирать тех, которых он создал бессмертными, как мог ввергнуть их потомство в бездну несчастий и преступлений? И мы еще не упоминаем здесь о другом противоречии, еще более возмутительном для нашего слабого понимания. Каким образом Бог, искупив человечество смертью своего единородного Сына, или, точнее, каким образом сам Бог, сделавшись человеком и умирая за всех людей, предает на вечные адские мучения почти весь человеческий род, за который он умер? Рассматривая эту систему лишь с философской точки зрения (оставляя в стороне веру), невозможно не находить ее чудовищной.

Эта система делает из Бога или само зло, бесконечное зло, которое создало мыслящих существ, чтобы сделать их несчастными на веки вечные, или бессилие и неразумие, которые не могли ни предвидеть, ни помешать несчастию своих творений. Но в этой статье мы говорим не о вечном несчастии, а только о том добре и зле, которые мы в этой жизни испытываем. Ни один из теологов всех церквей, спорящих об этом вопросе, не мог убедить ни одного мудреца.

Непонятно, как Бейль, столь сильный и искусный в диалектике, ограничился в своих статьях лишь тем, что заставил спорить манихейца, кальвиниста, молиниста и социнианца. Почему он не вывел разумного человека? Почему он не высказался сам? Он сказал бы гораздо лучше то, что мы лишь попробуем высказать.

Отец, убивающий своих детей,— чудовище; царь, ставящий ловушку своим подданным, чтобы иметь предлог предать их страшным мучениям,— омерзительный тиран. Если вы считаете, что Богу присуща такая же доброта, какой вы требуете от отца, та же справедливость, какой вы требуете от царя, то Бога ничем оправдать нельзя: приписывая ему бесконечную мудрость и благость, вы делаете его бесконечно ненавистным; вы заставляете мечтать о том, чтобы его вовсе не было, вы даете оружие в руки атеиста, и атеист всегда будет вправе сказать вам: «Лучше вовсе не признавать Бога, чем приписывать ему именно те свойства, за которые вы наказываете людей».

Итак, начнем с того, что скажем так: «Мы не должны приписывать Богу человеческие свойства и не должны создавать Бога по своему образу и подобию». Человеческая справедливость, человеческая доброта, человеческая мудрость — все это не может быть присуще ему. Насколько бы мы ни распространяли эти качества, это все-таки будут свойства человеческие, границы которых мы пытаемся расширить; это все равно, что приписывать Богу бесконечную плотность, бесконечное движение, круглую форму, бесконечную делимость. Эти свойства не могут принадлежать ему.

Философия учит нас, что Вселенная должна быть устроена существом непостижимым, вечным; но, повторяю я, философия не говорит нам, каковы свойства его природы. Мы знаем, чем оно не может быть, но не знаем того, чем оно является на самом деле.

Для Бога нет ни добра, ни зла — ни в физическом, ни в нравственном смысле.

Что такое физическое зло? Из всех зол самое большое, без сомнения, есть смерть. Посмотрим, возможно ли для человека быть бессмертным.

Для того чтобы такое тело, как наше, было неразложимо, неразрушимо, оно не должно было бы состоять из частей; было бы необходимо, чтобы оно не родилось, не принимало пищи, не увеличивалось в объеме, чтобы оно не могло испытывать никакого изменения. Разберите все эти вопросы, число которых каждый читатель может увеличить по своему усмотрению, и вы увидите, что бессмертный человек есть противоречие.

Если бы наше организованное тело было бессмертным, то и тела животных также были бы бессмертны. Ясно, что в таком случае земной шар вскоре не был бы в состоянии прокормить такое количество животных. Эти бессмертные твари, существующие лишь путем обновления своего тела пищей, без сомнения, погибли бы от невозможности обновлять его; все это — одно противоречие. Можно было бы говорить об этом дальше; во всякий истинно философски мыслящий читатель поймет, что смерть была необходима для всего рожденного, что смерть не может быть ни ошибкой Бога, ни злом, ни несправедливостью, ни наказанием для человека.

Человек, рожденный, чтобы умереть, не мог быть огражден от страдания так же, как и от смерти. Чтобы организованное и одаренное чувством тело никогда не испытывало

страдания, следовало бы, чтобы все законы природы изменились, чтобы материя не была делимой, чтобы не существовало ни тяжести, ни действия, ни силы, чтобы скала могла упасть на животное и не раздавить его, чтобы оно не могло захлебнуться в воде или сгореть в огне. Следовательно, человек, не знающий страдания — такое же противоречие, как и человек бессмертный.

Чувство боли необходимо, чтобы предупреждать нас о том, что мы должны охранять себя и чтобы позволить нам наслаждаться настолько, насколько это допускают общие законы, которым все подчинено.

Если бы мы не знали боли, мы поминутно ранили бы себя, не чувствуя этого. Без чувства боли мы не исполняли бы никакой жизненной функции, мы не передавали бы жизнь, мы не чувствовали бы никакого удовольствия. Голод есть начало страдания, предупреждающее нас о том, что мы должны принимать пищу, скука есть страдание, заставляющее нас искать занятие; любовь — потребность, превращающаяся в страдание, когда остается без удовлетворения. Всякое желание, одним словом, является потребностью, начинающимся страданием. Следовательно, страдание есть первый импульс всех действий животных. Каждое животное, одаренное чувствительностью, должно испытывать страдание, раз материя делима. Следовательно, страдание было так же необходимо, как и смерть. Следовательно, оно не может быть ни ошибкой Провидения, ни злобным умыслом его, ни наказанием. Если бы мы видели, что страдают только животные, мы не жало-

вались бы на природу; если бы мы могли, сохраняя невозмутимость, смотреть на медленную и мучительную смерть голубок, на которых спустился ястреб, спокойно пожирающий их внутренности и делающий лишь то, что мы делаем сами, мы и не подумали бы роптать. Но по какому же праву наши тела должны меньше подвергаться опасности быть растерзанными, чем тела животных? Потому ли, что у нас более совершенный ум? Но что имеет общего ум с делимой материей? Какое бы — большее или меньшее — количество идей ни заключалось в мозгу, могут ли они помешать огню сжечь нас, а скале раздавить нас?

Нравственное зло, о котором так много писали, есть в сущности не что иное, как зло физическое. Нравственное страдание есть лишь чувство боли, которое одно организованное существо причиняет другому организованному существу. Грабежи, оскорбления действием и т. д. суть зло постольку, поскольку они причиняют боль. А так как мы, очевидно, не можем сделать никакого зла Богу, то из этого явствует, если рассуждать просто, (независимо от веры, которая есть нечто совсем иное), что по отношению к Высшему Существу нравственного зла не может быть.

Как величайшим физическим злом есть смерть, так величайшим из нравственных зол является, без сомнения, война. Она ведет за собой все преступления: клевету в заявлениях, коварство в договорах, разбой, опустошение, страдание и смерть во всевозможных видах. Все это есть физическое зло для человека и такое же нравственное зло по отношению к Богу,

как злоба бешеных собак, кусающих друг друга. Когда говорят, что только люди убивают друг друга, это совершенно ложное общее место; волки, собаки, кошки, петухи, дикие утки и т. д. дерутся между собой, один вид против другого; лесные пауки пожирают друг друга, все самцы дерутся из-за самок. Эта борьба есть следствие законов природы, начал, находящихся в крови животных; все имеет связь, все необходимо.

Природа дала человеку в среднем двадцать два года жизни, т. е. из тысячи рождающихся в одном месяце детей одни умерли в младенчестве, другие дожили до тридцати лет, третьи — до пятидесяти, некоторые прожили до восьмидесяти лет. Если рассчитать все по правилу товарищества, получится, что на каждого приходится приблизительно 22 года жизни.

Не все ли равно Богу, умирают ли люди на войне или от лихорадки? Война уносит менее жертв, нежели оспа. Бич войны проходит, а бич оспы всегда властвует над землей наряду с другими болезнями, и все бедствия так комбинируются между собой, что правило 22-х лет жизни можно считать в общем-то постоянным.

«Человек оскорбляет Бога, убивая своего ближнего», — говорите вы. Если это так, то вожди наций — ужасные преступники, так как они заставляют, призывая имя Божие, истреблять громадное число ближних из-за низких расчетов, от которых лучше было бы отказаться. Но каким образом оскорбляют они Бога? — С философской точки зрения — так же, как оскорбляют его тигры и крокодилы. Они терза-

ют не Бога, а своего ближнего; поэтому человек может быть виновен только перед человеком. Вор на большой дороге не может обокрасть Бога. Какое дело Вечному Существу, что немного желтого металла будет в руках Пьера или Жана? У нас есть как необходимые желания и необходимые страсти, так и необходимые законы, чтобы сдерживать их; и в то время, как мы в нашем муравейнике оспариваем друг у друга соломинку на один день, мир всегда движется по вечным и неизменным законам, которым подчинен и *атом*, называемый Землей.

Благо, все — благо

Я прошу вас, господа, объяснить мне, что значит: *все — благо*, потому что я этого не понимаю. Если вы хотите этим сказать, что *все благоустроено* и *все в порядке*, согласно теории движущих сил, то я это понимаю и признаю.

Если же вы этим хотите сказать, что все здоровы, что у всех есть чем жить, и что никто не страдает — то вы сами знаете, что это — совершенная неправда.

Подразумеваете ли вы под этим, что те ужасающие бедствия, которые свирепствуют на земле, суть *благо* по отношению к Богу и радуют его? Я не верю этому, да и вы тоже.

Ради Бога, объясните мне это: *все — благо*. Резонер Платон соблаговолил предоставить Богу свободу создать пять миров по той причине, как говорит он, что существуют в геометрии лишь пять правильных тел: тетраэдр, куб, гексаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Но зачем суживать таким образом божественное могущество? Почему не предоставить ему еще более

правильную форму — шар и даже конус, многогранную пирамиду, цилиндр и т. д.?

Бог, по мнению Платона, выбирает, разумеется, наилучший из возможных миров. Система эта была принята несколькими христианскими философами, хотя она как будто не согласуется с догматом первородного греха, ибо наш земной шар после этого падения уже не наилучший из миров: он был им когда-то, мог бы быть им и теперь, но многие люди полагают, что это не только не наилучший, но худший из миров.

Лейбниц в своей «Теодицее» стал на сторону Платона. Многие читатели жалуются, что не понимают ни того, ни другого. Мы же, прочитав по нескольку раз того и другого, сознаемся, по обыкновению, в своем невежестве, и, так как Евангелие ничего не открыло нам по этому поводу, мы со спокойной совестью пребываем в своем неведении.

Лейбниц, говоривший обо всем, говорил и о первородном грехе, и так как всякий человек с системой вводит в свой план все то, что может ему противоречить, то он вообразил, что непослушание Богу и страшные несчастия, последовавшие за ним, были неизбежными принадлежностями лучшего из миров, необходимыми приправами всякого счастья и благополучия.

Как?! Быть изгнанным из рая, где люди жили бы всегда, если бы не съели яблоко?! Как?! Производить на свет несчастных и преступных детей, которые будут терпеть всякие беды и заставят других терпеть их?! Как?! Переносить все болезни, чувствовать все горести, умирать в страданиях и для

освежения гореть в вечном огне?! Это называется наилучшей долей? Разве можно это назвать высшим благом для нас; и разве это может быть благом для Бога?

Лейбниц чувствовал, что отвечать нечего, поэтому он написал много толстых книг, в которых он сам себя не понимал.

Отрицать, что есть зло, может в шутку Лукулл, когда он здоров и вкусно обедает со своими друзьями и со своей любовницей в зале Аполлона; но пусть он только высунет голову в окно, и он увидит несчастных; если же он заболеет лихорадкой, то и сам будет несчастен.

Я не люблю цитировать — это, как правило, неприятное дело: пренебрегаешь тем, что сказано раньше и после цитируемого места, и подвергаешь себя тысяче нападок. И все-таки я должен цитировать отца Церкви Лактанция, который в XIII главе своего сочинения «О гневе Божием» заставляет Эпикура говорить таким образом: «Либо Бог хочет устранить зло из этого мира и не может, либо может и не хочет; либо не может и не хочет или же, наконец, хочет и может. Если он хочет, но не может — это бессилие, что противоречит природе Бога; если он может, но не хочет, то это злоба, также противоречащая его естеству; если он этого не может и не хочет — это одновременно и злоба, и бессилие; если он может и хочет (что только и приличествует Богу), то откуда же берется зло на земле?»

Ответить на это нелегко, поэтому Лактанций и отвечает плохо, говоря, что Бог посылает зло, но дал нам разум, с которым мы приобретаем благо. Надо признать, что ответ этот

крайне несостоятелен в сравнении с возражениями, ибо он заставляет предполагать, что Бог не мог дать разума иначе, как производя зло — и потом, что это за ничтожный разум!

Происхождение зла — это всегда была такая бездна, в которую никто никогда не мог заглянуть. Это-то и заставило многих древних философов и законодателей прибегать к двум началам — к добру и злу. Злым началом у египтян был Тифон, у персов — Ариман. Манихейцы, как известно, приняли учение о борьбе добра и зла, но так как эти люди никогда не говорили ни о добром, ни о злом начале, то верить им не следует на слово.

Среди нелепостей, которыми изобилует сей мир и которые можно поставить в число наших зол, довольно опрометчивой нелепостью было предположение о двух всемогущих существах, борющихся за то, кто из двух больше вложит в мир своего начала, и заключающих между собой договор, как два врача у Мольера: «Предоставьте мне рвотное, а я дозволю вам кровопускание».

Василид, после платоников, утверждал, начиная с 1-го века Церкви, что Бог поручил создать Землю не лучшим из своих ангелов и что они, будучи неискусными, и создали ее такою, какой мы ее видим. Эта богословская басня распадается в прах ввиду неотразимого возражения, что всемогущий и мудрый Бог по своей природе не мог поручить построение целого мира строителям, которые ничего в этом не смыслили.

Симон, предвидевший это возражение, предупреждает его, говоря, что ангел, управлявший мастерской, был проклят

за то, что так плохо исполнил свою работу; но клеймо этого ангела не исправляет зла.

История Пандоры не лучше этого отвечает на возражение. Ящик, в котором находится собрание всех зол и на дне которого осталась надежда, есть поистине прелестная аллегория, но эта Пандора была создана Вулканом только для того, чтобы отомстить Прометею, создавшему человека из грязи.

Индусы придумали еще хуже. Бог, сотворив человека, дал ему снадобье, сообщающее ему постоянное здоровье. Человек навьючил снадобье на своего осла. Осел захотел пить; змий указал ему источник и, пока осел пил, взял себе снадобье.

Сирийцы выдумали, что мужчина и женщина созданы были на четвертом небе, но однажды съели лепешку вместо амброзии, которой должны были питаться. Амброзия испарялась через кожу, а съев лепешку, люди должны были идти в известное место. Мужчина и женщина попросили ангела указать им, где находится это нужное место. «Вы видите, — сказал им ангел, — вон ту крошечную планету? До нее будет всего только около шестидесяти миллионов лье. Это и есть всемирный нужник, отправляйтесь туда поскорее». Они отправились туда, да там и остались. С тех пор наш мир и сделался тем, что он есть.

Но сирийцев всегда будут спрашивать, зачем Бог допустил человека съесть лепешку, ведь на нас обрушилась такая куча всевозможных зол.

Поспешно перехожу от этого четвертого неба к милорду Болингброку[4], чтобы не было так скучно. Человек этот, без

сомнения одаренный гениальным умом, дал знаменитому Попу[5] свой план сочинения «*Все — благо*», который мы находим слово в слово в посмертных изданиях милорда Болингброка и который милорд Шефтсбери[6] уже раньше напечатал в своих «Характеристиках». Прочитайте у Шефтсбери главу *о моралистах* и вы найдете там следующее:

«Многое можно возразить на эти жалобы по поводу недостатков природы. Каким образом она вышла столь несовершенной из рук совершенного существа? Но я не признаю, что она несовершенна... Красота ее вытекает из противоречий, и всемирное согласие есть результат непрерывной борьбы... Необходимо, чтобы каждое существо принесено было в жертву другим существам, растения — животным, животные — земле... и законы центральной власти и тяготения, дающие небесным телам их вес и движение, не будут потревожены ради ничтожного животного, которое, хотя и стоит под покровительством этих законов, вскоре будет стерто ими в порошок».

Болингброк, Шефтсбери и Поп, их предводитель, не лучше других разрешают вопрос: их «*все — благо*» означает лишь то, что все управляется незыблемыми законами. Но кто же этого не знает? Вы ничего нового нам не говорите, когда так же, как всякий младенец, замечаете, что мухи родятся, чтобы быть съеденными пауками, пауки — ласточками, ласточки — сороками, сороки — орлами, орлов убивают люди, а люди истребляют друг друга, чтобы быть съеденными червями, а затем и чертями, по крайней мере, тысяча на одного.

Вот это — ясный и неизменный порядок для животных всех пород; и порядок этот есть во всем. Когда в моем мочевом пузыре образуется камень, то тут действует удивительная механика: каменистые соки мало-помалу проникают в мою кровь, затем в почки, они проходят по мочевым каналам, отлагаются в пузыре, собираются там путем удивительного ньютоновского притяжения; камень образуется, увеличивается, я испытываю адские муки — вследствие удивительного мирового устройства; хирурги, усовершенствовав способ, изобретенный Тубалканом, всаживает мне острое орудие в промежность, схватывает пинцетом камень, который его усилием разбивается по законам механики, и по тем же законам я умираю в страшных мучениях: и все *это — благо*, все это есть очевидное следствие неизменных физических начал. Я с этим согласен и знал это так же, как и вы.

Если бы мы были нечувствительны, то против этой физики нечего было бы возразить. Но дело не в том: мы спрашиваем вас, существует ли зло, и откуда оно происходит. «Зла вообще не существует,— говорит Поп в своем четвертом послании на тему "*Все — благо*",— а если есть отдельные случаи зла, то они составляют общее благо».

Странное общее благо, состоящее из каменной болезни, подагры, преступлений, всех страданий, смерти и вечного ада!

Грехопадение человека есть пластырь, который мы накладываем на все эти отдельные части тела и души, пластырь, который вы называете *общим здоровьем*. Но Шефтсбери и Болингброк осмелились напасть на первородный грех; хо-

тя Поп не говорит о нем: очевидно, их система подтачивает христианскую религию в самых основах, но ровно ничего не объясняет.

А между тем эта система недавно одобрена несколькими богословами, охотно допускающими противоречия; никому не следует отказывать в утешении посредством рассуждений относительно изливающегося на нас потока зол. Справедливо позволять безнадежно больным есть, что они хотят. Некоторые утверждают, что эта система утешительна. «Бог, — говорит Поп, — одинаково взирает на смерть героя и воробья, на разрушение атома или тысячи планет, на возникновение мыльного пузыря или целого мира».

Вот удивительно смешное утешение! Не находите ли вы сильно смягчающим боль средством предписание милорда Шефтсбери, который говорит, что Бог не станет изменять вечные законы для такой ничтожной твари, как человек? Надо по крайней мере сознаться, что эта ничтожная тварь имеет право смиренно кричать и стараться понять в то же время, почему эти вечные законы не были составлены с учетом благосостояния каждого индивида. Эта система под названием *Все — благо* представляет Творца природы в виде могущественного и злобного царя, которому никакого нет дела до того, что четыре или пять сотен тысяч человек умирают, а прочие живут впроголодь, обливаясь слезами, — лишь бы исполнены были его предначертания.

Поэтому идея о лучшем из миров не только не утешительна, она приводит к отчаянию тех философов, которые ее

принимают. Вопрос о добре и зле становится невозможным хаосом для тех, которые чистосердечно добиваются истины. Его разрешение — это игра ума для спорящих, которые напоминают колодников, играющих своими цепями. Для немыслящего народа эта идея похожа на тех рыб, которых из реки пересадили в резервуар. Они не подозревают, что находятся там, чтобы быть съеденными во время поста. Мы сами по себе ничего не знаем о причинах нашей судьбы.

Итак, почти под каждой главой метафизики мы можем поставить те две буквы, которые ставили римские судьи под неясными для них делами: N. L. Заставим же замолчать тех негодяев, которые, будучи обременены обыкновенными человеческими бедами, присоединяют к ним еще и клевету. Посрамим их омерзительную ложь, обращаясь к вере и к Провидению.

Некоторые резонеры утверждают, что если бы в мире все было иначе, чем оно есть, то это не соответствовало бы природе Бога. Это жестокая система; но моих знаний недостаточно для того, чтобы осмеливаться разбирать ее.

Любовь

Существует столько родов любви, что не знаешь, к кому обратиться за ее определением. Часто смело называют любовью кратковременную прихоть, связь без сердечного расположения, чувство, лишенное уважения, ухаживания хлыща, холодную привычку, романтическую фантазию, влечение, за которым вскоре следует охлаждение — «любовью» называют множество химер. Если какой-либо философ захочет основательно изучить этот вопрос, пусть он подумает о «Пире» Платона, на котором Сократ, честный любовник Агафона и Алкивиада, рассуждает с ними о метафизике любви. Лукреций говорит о ней более как естественник; Вергилий идет по стопам Лукреция: amor omnibus idem[7]. Это — материя природы, расшитая фантазией.

Хочешь иметь понятие о любви? Посмотри на воробьев в твоем саду; взгляни на голубей; на быка, которого приводят к твоей телице; посмотри на гордого коня, которого двое

слуг твоих ведут к спокойной кобыле, отворачивающей хвост, чтобы принять его; видишь, как блестят его глаза, слышишь его ржание, полюбуйся на его скачки, курбеты; взгляни, как торчат кверху его уши, как рот открывается с небольшой судорогой, как раздуваются его ноздри, как грива приподнимается и развевается, с каким горячим порывом он устремляется к тому, что предназначила ему природа. Но не завидуй ему и вспомни о преимуществах человеческой породы: люди возмещают способностью любить все то, что природа дала животным по части силы, красоты, легкости и быстроты.

Есть животные, не знающие наслаждения. Рыбы лишены этой услады: самка выбрасывает на ил миллионы яиц; самец, проходя над ними, оплодотворяет их своим семенем, не зная, какой самке они принадлежат. Большинство спаривающихся животных испытывает удовольствие лишь одним чувством, и как только эта потребность удовлетворена, чувство угасает. Ни одно животное, кроме тебя, не ведает объятий. Все тело твое чувствительно, уста твои в особенности испытывают такое сладострастие, которое ничто не может утолить, и это наслаждение принадлежит только твоей породе. Наконец, ты во всякое время можешь предаваться любви, тогда как животным назначено определенное время. Если ты подумаешь об этих преимуществах, то ты вместе с графом Рочестером скажешь: «Любовь в стране атеистов заставила бы поклониться Божеству».

Так как люди получили способность совершенствовать то, что они получают от природы, то они усовершенствовали и лю-

бовь. Чистоплотность, заботы о своем теле, которые делают кожу более нежной, усиливают удовольствие осязания, а внимательность к здоровью делает органы сладострастия более чувствительными. Все другие чувства входят в чувство любви как металлы, сплавляющиеся с золотом: дружба, уважение помогают любви; таланты физические и духовные налагают новые цепи.

Nam facit ipsa suis interdum femina factis,
Morigerisque modis, et mundo corpore culta,
Ut facile insuescat secum vir degere vitam.

(Lucr., IV, 1274—76)[8].

Самолюбие в особенности тесно сплетает любовные союзы. Человек доволен своим выбором, и иллюзии служат украшениями этого здания, основу которому положила природа.

Вот те преимущества, которые ты имеешь перед животными; но если ты наслаждаешься столькими удовольствиями, которые им чужды, то зато сколько есть горестей, о которых животные не знают! Всего ужаснее для тебя то, что природа в трех четвертях земного шара отравила любовные наслаждения и источники жизни страшной болезнью, которой подвержен только человек, и только у него эта болезнь поражает органы воспроизведения.

Эта язва вошла в мир не благодаря излишествам, как другие болезни. Не разврат был ее источником. Фрина, Лаиса, Флора, Мессалина не были заражены ею. Болезнь эта воз-

никла на островах, где люди жили в полной невинности, а оттуда распространилась по всему Старому свету.

Если бы можно было упрекнуть природу в презрении к своему творению, в противоречии своим намерениям и своим планам, то сделать это можно было бы по отношению к этому отвратительному бичу, осквернившему землю своими ужасами и безобразием.— Неужели это лучший из миров? Ведь если Цезарь, Антоний, Октавий не страдали этой болезнью, то разве невозможно было сделать так, чтобы и Франциск I не умирал от нее? — Нет, — отвечают на это, — таким образом *все устроено к лучшему*. Верю, но это печально для тех, которым Рабле посвятил свою книгу[9].

Эротические философы часто поднимали вопрос об Элоизе: могла ли она действительно продолжать любить Абеляра, когда он стал монахом и кастратом. Одно из этих качеств сильно вредило любви.

Однако, утешься, Абеляр, ты был любим: корень срубленного дерева все еще сохраняет немного жизненного сока; воображение помогает сердцу. Приятно посидеть еще за столом и после обеда. Любовь ли это? Простое воспоминание? Дружба? — Это нечто неопределенное, состоящее из всего вместе. Это смутное чувство, похожее на те фантастические страсти, которые умершие сохраняли еще и в Елисейских полях. Герои, блиставшие при жизни на ристалищах, управляли воображаемыми колесницами и в загробной жизни. Орфей все еще пел, и Элоиза жила с тобою в мечтах. Она ласкала тебя иногда с тем большим удовольствием, что, давши обет Пара-

клету не любить тебя более, становилась более нежной, и ласки ее делались более преступными. Женщина не может влюбиться в евнуха; но она может сохранить свою любовь к возлюбленному, ставшему евнухом, если он сохранил привлекательность.

Иное дело, сударыни мои, любовник, состарившийся на службе. Он утратил свой внешний облик; морщины и седины отталкивают; болезни охлаждают. Остается только прибежище в одной добродетели: сделаться сестрой милосердия и выносить того, кого прежде любили. Это — то же, что хоронить покойника.

Любовь сократическая

Если любовь, которую называют «сократической» и «платонической», была вполне честным чувством, то ее можно только одобрять; если же она была развратом, то надо краснеть за Древнюю Грецию.

Возможно ли, чтобы столь гибельный для человеческого рода порок, столь ужасное оскорбление природы могло быть естественным? Порок этот кажется последней степенью извращения чувства; и, однако, он встречается обыкновенно у тех, которые еще не имели времени развратиться. Он входит в совершенно чистые сердца, не знавшие еще ни тщеславия, ни обмана, ни алчности к деньгам. Это — слепая юность, которая, благодаря ошибке инстинкта, бросается, едва выйдя из детского возраста, в этот разврат так же, как в онанизм.

Влечение одного пола к другому проявляется очень рано; но что бы ни говорили об африканках и женщинах Южной Азии, влечение это обыкновенно сильнее у мужчины, чем

у женщины. Это — закон, установленный природой для всех животных. Всегда самец нападает на самку.

Молодые самцы нашего вида, воспитывающиеся вместе, почувствовав ту силу, которую природа начинает развивать в них, и не находя естественного предмета своего влечения, обращаются к тому, что на него походит. Очень часто юноша свежестью своего лица, мягкостью взгляда в течение двух-трех лет походит на хорошенькую девушку. Если в него влюбляются юноши, то это происходит от того, что природа ошибается, и в нем видят женскую красоту. Когда же с годами это сходство исчезает, обман прекращается.

Всем известно, что это заблуждение природы более распространено в южных странах, нежели в северных, потому что кровь там горячее и случай представляется чаще. Так, например, то, что кажется лишь слабостью в молодом Алкивиаде, представляется омерзительным пороком у голландского матроса или у русского маркитанта.

Терпеть не могу, когда утверждают, что греки допускали законом эту распущенность нравов, приводя в пример законодателя Солона, который в двух плохих стихах сказал: «Люби красивого юношу, пока у него не будет расти борода». Но разве Солон был законодателем, когда написал эти глупые стихи? Он был молод тогда, а потом, сделавшись разумным, он не поместил этой гадости в свод законов республики.

Многие злоупотребляют текстом Плутарха, который в своей болтовне «Диалог о любви» заставляет одного из собеседников сказать, что женщины *не стоят настоящей любви*,

тогда как другой собеседник защищает женщин. Первое мнение сочли решающим.

Несомненно, — насколько знание древности может быть несомненным, — что сократическая любовь не имела ничего позорного: здесь вводит в заблуждение слово «любовь». То, что называлось *возлюбленными молодого человека* — не что иное, как пажи князя в наше время, — это были дети, приставленные к знатному мальчику, с которым они учились вместе и упражнялись в воинском искусстве, — воинственное и священное учреждение, которым стали злоупотреблять как ночными празднествами и оргиями.

Отряд возлюбленных, учрежденный царем Лаем, был непобедимым отрядом юных воинов, связанных между собой клятвой отдать жизнь один за другого; и это было самым прекрасным проявлением античной дисциплины.

Пусть Секст Эмпирик и другие утверждают, что этот порок предписывался законами Персии, пусть они приводят даже текст закона; пусть покажут персидский свод законов, — если эта мерзость даже и содержится в нем, я не поверил бы этому; я сказал бы, что это неправда, потому что это невозможно. Нет, не в природе человеческой создавать закон, который противоречит и оскорбляет природу, закон, который уничтожил бы человеческий род, если бы стал применяться в буквальном смысле. Что касается меня, то я покажу вам древний персидский закон, составленный Саддером. Там в статье 9 сказано, что *нет большого греха, как этот*. Тщетно один современный писатель пытался оправдать Секста Эмпирика

и педерастию; законы Зороастра служат неопровержимым доказательством того, что никогда этот порок не поощрялся в Персии, точно так же, как он не поощрялся и у турок. Они смело предаются ему, но законы их наказывают.

Сколько людей перенимает постыдные, но терпимые в стране обычаи за законы этой страны! Секст Эмпирик, сомневавшийся во всем, должен бы был усомниться в подлинности таких законов. Если бы он жил в наше время и увидел двух-трех молодых иезуитов, злоупотребляющих несколькими учениками, разве он имел бы право сказать, что эта забава дозволена им постановлениями *Игнатия Лойолы*?

Позвольте мне рассказать здесь историю сократической любви преподобного отца Поликарпа, монаха Кармелитского ордена в городке Жэ. В 1771 году он преподавал закон Божий и латинский язык дюжине мальчиков. Он был одновременно их духовник, их воспитатель и присвоил себе еще новую должность по отношению к ним всем. Какая масса духовных и телесных упражнений! Все вышло наружу, иезуит приютился где-то в Швейцарии, стране, как известно, весьма отдаленной от Греции.

Забава эта была сильно распространена между учителями и учениками. Монахи, которым поручалось воспитание юношей, всегда немного занимались педерастией. Это — неизбежное следствие безбрачия, на которое обречены эти несчастные.

Турецкие и персидские вельможи поручают, как говорят, воспитание своих детей евнухам — удивительная альтернатива для педагога: быть кастратом или содомитом.

Любовь к мальчикам была так распространена в Риме, что никто не осмеливался наказывать этот порок, в который без оглядки впадало большинство. Октавиан Август — развратник, убийца и трус, посмевший изгнать Овидия, поощрял Вергилия, воспевавшего Алексия; Гораций, другой фаворит его, сочинял оды для Лигурина. Гораций, восхвалявший Августа за то, что он преобразовал нравы, предлагал в своих сатирах любовь юноши или девушки — безразлично. Однако древний закон (Lex Scantinia), запрещавший педерастию, существовал безотменно. Император Филипп снова ввел его в силу и выгнал из Рима мальчиков, занимавшихся этой профессией. В Риме были остроумные и развратные ученики, такие как Петроний, были и профессора, как Квинтилиан. Посмотрите, с какими предосторожностями он пишет свою статью о Воспитателе, заботясь о сохранении чистоты ранней юности: «Cavendum non solum crimine turpi-tudinis, sed etiam suspicione»[10]. Наконец, я не думаю, чтобы существовала в мире цивилизованная нация, которая издавала бы законы против нравственности.

Красота

Мы цитировали Платона, говоря о любви, отчего бы не привести его мнения и о красоте, так как красота привлекает любовь. Вы, может быть, захотите узнать, как грек говорил о красоте две тысячи лет тому назад.

«Человек, очищенный священными таинствами, при виде красивого лица божественной формы или бестелесного создания, чувствует сперва тайный и какой-то благоговейный страх; он смотрит на это создание как на божество... Когда действие красоты входит в его душу через зрение, он разгорячается: крылья его души орошаются, они теряют свою жесткость, удерживающую их зародыш; они тают: зародыши, разбухшие в корнях ее крыльев, стремятся выйти сквозь все существо души» (в те времена душа имела крылья) и т. д.

Может быть, эта речь Платона и прекрасна, но она не дает ясного понятия о сущности красоты.

Спросите самца жабы, что такое высшая красота. Он ответит вам, что это — его самка-жаба с двумя круглыми гла-

зами, вылезающими из ее маленькой головы, с огромным ртом, желтым брюхом и коричневой спиной. Спросите черта. Он скажет вам, что красота — это пара рогов, четыре когтя и хвост. Спросите, наконец, философов — они ответят вам галиматьей: им нужно нечто согласное с архетипом прекрасного по существу — так называемое «to kalon».

Однажды я смотрел трагедию вместе с одним философом. «Как это красиво!» — восклицал он.— «Что вы находите в этом прекрасного?» — спросил я. — «То,— отвечал он, — что автор достиг своей цели». На другой день он принял лекарство, которое принесло ему пользу.— «Оно достигло своей цели, какое красивое лекарство!» — сказал я. Он понял, что нельзя сказать о лекарстве, что оно красиво, и что для того, чтобы дать чему-нибудь имя красоты, надо, чтобы эта вещь возбуждала в вас удивление и удовольствие. Он сознался, что эта трагедия вызвала в нем оба эти чувства, и что, следовательно, это и есть прекрасное «to kalon».

Мы поехали с ним в Англию. Там играли ту же пьесу в отличном переводе, но все зрители зевали от скуки. «Ого! — сказал философ,— очевидно «to kalon» для англичан иной, чем для французов!». После некоторых соображений он заключил, что красота может быть относительной, так же, как то, что прилично в Японии, неприлично в Риме, и что принято в Париже, не принято в Пекине. И он избавил себя от писания длинного трактата о *красоте*.

Но есть такие действия, которые весь свет называет прекрасными. Два центуриона Цезаря, заклятые враги один дру-

гого, посылают друг другу вызов не для того, чтобы взаимно пролить кровь за кустом в присутствии одного или двух свидетелей, как это делается у нас, но для соревнования: кому удастся лучше защитить римский лагерь от ожидаемого нападения варваров. Один из них, отразив неприятеля, тем не менее близок к погибели; другой спешит к нему на помощь, спасает ему жизнь и довершает победу.

Друг жертвует жизнью для друга, сын для отца: и алгонкин, и француз, и китаец — все признают, что это прекрасно, что эти действия им нравятся, вызывают их удивление.

То же самое они скажут и о великих правилах морали, например, Зороастра: «Если сомневаешься в справедливости поступка, воздержись»,— и Конфуция: «Забывай обиды, не забывай никогда благодеяний».

Даже дурной человек признает красоту добродетелей, которым не подражает. Следовательно, понятие о красоте, действующей только на чувствительность, на воображение и на то, что называется умом, часто бывает неустойчиво. Прекрасное, действующее на сердце, для всех и всегда остается прекрасным. Вы встретите множество людей, которые скажут вам, что они не нашли ничего прекрасного в большей части «Илиады»; но никто не станет отрицать того, что самоотверженный подвиг Кодра, пожертвовавшего собой для своего народа, прекрасен, если он только не выдуман.

Иезуит Аттирэ, родом из Дижона, служил рисовальщиком в загородном дворце китайского императора Канг-Ли, недалеко от Пекина.

«Этот, с позволения сказать, сельский дом,— говорит он в одном из своих писем к г-ну Дассо,— обширнее города Дижона. Он разделен на тысячу флигелей, стоящих в ряд. Каждый из этих дворцов имеет свои дворы, свои цветники, свои сады и пруды; каждый фасад украшен позолотой, лаком, живописью. В обширном парке возвышаются искусственно нанесенные холмы высотой от 20 до 60 футов. Долины орошены бесчисленным множеством каналов, которые дальше сливаются и образуют пруды и озера. На этих озерах катаются в лодках, имеющих двенадцать-тринадцать туаз длины и четыре ширины, разукрашенных лаком и позолотой. На этих лодках — великолепные покои, а берега каналов, прудов и озер застроены домами самой разнообразной архитектуры. Каждый дом окружен садами и водопадами. Из долины в долину ведут извилистые аллеи, украшенные беседками и гротами. Ни одна долина не походит на другую; самая большая окружена колоннадой, за которой находятся раззолоченные постройки.

Все покои домов соответствуют их наружному великолепию; через все каналы на известных расстояниях перекинуты мостики. Эти мостики снабжены перилами из белого мрамора с барельефами... Посреди самого большого озера поставлена скала, а на скале — квадратный павильон, в котором насчитывается более сотни комнат. Из этого павильона открывается вид на все дворцы, дома и сады этого огромного пространства... Когда Император дает праздник, все эти здания

освещаются в одну минуту, и из каждого дома вылетает фейерверк...

И это еще не все: на конце большого озера, называемого “морем”, находится большая ярмарка, которую держат офицеры императора. С этого «моря» приходят к ярмарке суда. Придворные переодеваются всякого рода торговцами: один содержит кофейную, другой трактир; один играет роль мошенника, другой — преследующего его стрелка. Император, императрица и все придворные дамы приходят покупать ткани. Переодетые купцы обманывают их как могут. Они говорят им, что стыдно так торговаться, что они плохие покупатели. Император и императрица говорят, что они мошенники, купцы сердятся и делают вид, что хотят уйти. Но тогда их умиротворяют. Император покупает все, и устраивается лотерея для всех придворных. Потом происходят зрелища всякого рода».

Когда иезуит Аттире приехал из Китая в Версаль, он нашел здесь все скучным и ничтожным. Какие-то немцы, приходившие в восторг от боскетов Версаля, удивлялись тому, что все это не нравится Аттирэ. Вот еще одна из причин, по которой я решил не писать трактата о *Красоте*.

Прелюбодеяние

Некоторые ученые утверждали, что эмблемой рогов мы обязаны грекам, которые называли *козлом* мужа развратной, как коза, женщины. И действительно, они называли незаконнорожденных *сыновьями козы*. Однако те, которые желают заглянуть глубже в суть вопроса, должны знать, что наши «рога» происходят от дамских рогатых головных уборов (cornettes). Мужа, который допускал, чтобы жена обманывала его и командовала над ним, добрые буржуа называли носителем рогов — рогоносцем. В одной из комедий Мольера («Тартюф», II), попадается такой стих: «Она? Она сделает его дураком, могу уверить вас». Это значит, что она наставит ему рога. А в «Школе женщин» говорится: «Кто женится на дуре, тот верно не дурак».

В хорошем обществе теперь не говорят: «Герцогиня такая-то состоит в адюльтере с кавалером таким-то; маркиза имеет нехорошие сношения с аббатом». А говорят: «Аббат эту не-

делю состоит любовником маркизы». Когда дамы между собой говорят о своих адюльтерах, они выражаются так: «Я признаюсь, что *он* нравится мне». В прежние времена они говорили, что чувствуют уважение к такому-то лицу; но с тех пор как одна дама призналась на исповеди, что «уважает» одного советника, а духовник спросил ее: «Сколько раз он уважал вас, сударыня?»,— дамы высшего круга никого более не «уважают», да и на исповедь не ходят.

Лакедемонские женщины, говорят, не знали ни исповеди, ни прелюбодеяния (адюльтера). Правда, Менелай благодаря Елене узнал, что это такое. Но Ликург привел все это в порядок, установив общность жен, когда мужья соглашались уступать их и когда жены этому не противились. Каждый волен располагать своим добром. В этом случае муж не подвергался неприятности кормить у себя в доме чужого ребенка. Все дети принадлежали республике, а не частному дому; таким образом, никому не было ущерба. Прелюбодеяние есть зло лишь в том случае, когда оно — кража, но ведь то, что дают добровольно, не есть кража. Один муж нередко просил какого-нибудь красивого, стройного и здорового молодого человека, чтобы он сделал ребенка его жене. Плутарх со своим старым слогом сохранил нам песенку, которую лакедемоняне пели, когда Акротат шел на свидание с женой своего друга:

Иди, милейший Акротат, и приласкай Келидониду,
Чтоб храбрых граждан Спарте подарить[11].

Итак, лакедемоняне были правы, говоря, что прелюбодеяние у них невозможно. Совершенно иное дело у современных народов, у которых все основано на принципе *твое и мое.* Одна из главнейший неприятностей в супружеской измене у нас есть та, что дама иногда смеется над мужем со своим любовником. Муж подозревает это, а кому же может быть приятно служить посмешищем? В буржуазном кругу нередко случалось так, что жена обкрадывала мужа для любовника. Семейные ссоры доводятся до крайних пределов; в высших кругах их, к счастью, не знают.

Самое большое зло заключается в том, что бедному человеку навязывают детей, которые происходят не от него, и наваливают на него тяжесть, которую он не обязан нести. Благодаря этому, целые расы героев выродились совершенно. Жены Астольфа и Джоконда вследствие извращения чувства, из-за минутного каприза, рождали детей от урода-карлика, от ничтожного лакея без сердца и ума. Это влияло на души и на тела.

Маленькие гномы делались наследниками великих имен в нескольких европейских государствах. В залах их замков висят портреты якобы их предков, шести футов роста, красивых, стройных, вооруженных палашом, которого нынешней расе и не поднять. Важная должность поручается лицу, не имеющему никакого права на то, человеку, у которого ни сердце, ни голова, ни рука не в состоянии справиться с тяжестью.

В Европе есть несколько областей, где девушки предаются свободной любви, а потом делаются хорошими женами.

Во Франции — совершенно наоборот. Девушек запирают в монастыри, где до сих пор им давали самое нелепое воспитание. Матери в утешение говорят им, что они будут свободны, когда выйдут замуж. Едва прожили они год с мужем, как мужчины стараются проникнуть в тайны их прелестей. Молодая женщина живет, ужинает, гуляет, ездит в театр не иначе, как в обществе женщин, которые прошли уже огонь и воду; если у нее нет любовника, как у остальных, то она считается отсталой, и ей стыдно показываться в светском обществе.

Восточные народы поступают как раз наоборот. Им приводят девушек с гарантией невинности. На них женятся и из предосторожности их запирают так же, как мы запираем наших дочерей. В этой стране с супружеской верностью женщин не шутят. Мы жалеем дам высшего круга в Турции, Персии, Индии, но они во сто раз счастливее наших дочерей в монастырях.

Иногда случается у нас, что оскорбленный муж, не желая затевать судебный процесс за прелюбодеяние (это назвали бы варварством), просто устраивает развод, прекращающий сожительство и разделяющий имущество.

Здесь кстати будет привести содержание докладной записки, составленной одним порядочным человеком, находящимся в этом положении. Вот его жалобы. Судите, прав ли он?

Докладная записка чиновника судебного ведомства, написанная в 1764 году

Один из главных чинов магистратуры в одном из городов Франции имел несчастие жениться на девушке, развращенной священником до замужества и отличавшейся самым скандальным поведением после брака. Он разошелся с ней без скандала. Человек этот, в сорокалетнем возрасте, сильный, здоровый, приятной наружности, нуждается в женщине. У него слишком щепетильная совесть, не позволяющая ему соблазнить чужую жену, он боится сойтись с девушкой или вдовой, которая сделалась бы его сожительницей. В этом тревожном и горестном состоянии он обратился к церкви со следующей жалобой:

«Жена моя виновна, а наказывают меня. Для утешения в жизни, даже для моей добродетели, мне нужна другая жена, а религия, к которой я принадлежу, отказывает мне в ней. Она запрещает мне жениться на честной девушке. Гражданские законы, к несчастью, основанные на каноническом праве, лишают меня человеческих прав. Церковь принуждает меня или искать удовольствий, которые она считает греховными, или постыдных возмещений, которые она осуждает; она хочет принудить меня быть преступным... Я окидываю взором все народы земные и не вижу ни одного, за исключением народа, исповедующего римско-католическую веру, у которого развод и новый брак не были бы естественным правом... В силу

какого же противоречия истинному порядку вещей у католиков считается добродетелью терпеть прелюбодеяние и обязанностью обходиться без жены, когда ваша собственная жена нанесла вам самое тяжелое оскорбление?

Почему прогнившие узы нерасторжимы, вопреки великому закону кодекса: quidquid ligatur dissolubile est (каждая связь расторжима)? Мне дозволяется прекращение сожительства и общности имущества и не разрешается развод. Закон может отнять у меня жену и оставляет мне понятие, называемое таинством. Я не пользуюсь преимуществами брака и состою в браке. Какое противоречие! Какое рабство! И при каких законах мы родились! Меня больше всего удивляет то, что этот закон Церкви диаметрально противоположен тем словам, которые сама эта Церковь считает словами Иисуса Христа: «Кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует»[12].

Я не буду разбирать здесь, имеют ли римские первосвященники право нарушать по своему усмотрению закон того, кого считают своим главой, позволено ли, когда государство нуждается в наследнике, отвергнуть ту, которая не может дать его; не вхожу в рассуждения и о том, должно ли отвергнуть жену помешанную, убийцу, отравительницу так же, как и прелюбодейку, я держусь лишь касающегося меня печального случая: Бог позволяет мне жениться вторично, а епископ Римский не позволяет!

Развод практиковался у католиков при всех императорах и во всех государствах, отделившихся от Римской империи.

Короли Франции, причислявшиеся к первой расе, почти все отвергли своих жен и женились на других. Однако, явился Григорий IX, враг королей и императоров, и указом превратил брак в несвергаемое иго; декреталия его сделалась законом всей Европы. Когда короли, по закону Иисуса Христа, хотели отвергнуть прелюбодейную жену, им это не удавалось. Приходилось искать нелепый предлог. Людовик Младший, чтобы развестись с Элеонорой Гвиенской, должен был сослаться на несуществующее родство. Король Генрих IV, чтобы развестись с Маргаритой Валуа, привел еще более ложную причину — отсутствие согласия. Приходилось лгать, чтобы устроить развод законным образом.— Как! Государь может отречься от короны, а отречься от жены не может без позволения папы! Возможно ли, чтобы просвещенные люди так долго терпели эту бессмысленную тиранию!

Пусть наши попы и наши монахи отрекаются от женщин — это преступление против населения и несчастие для них; но они заслужили его, так как сами этого хотели. Они были жертвами пап, желавших сделать их рабами, воинами без семьи и отечества, живущими исключительно для Церкви. Но я то, служащий государству в суде целый день, я хочу иметь вечером жену, а Церковь не имеет права лишать меня блага, которое дает мне Бог. Апостолы были женаты, Иосиф был женат, и я хочу иметь жену. Если я, уроженец Эльзаса, завишу от попа, живущего в схиме, если этот поп обладает жестокою властью лишить меня жены, пусть он сделает меня евнухом, чтобы петь *miserere* в его капелле».

В защиту женщин

Справедливость требует, чтобы мы, приведя эту докладную записку в пользу мужей, представили на суд публики также и рассуждения в защиту жен, представленные португальской хунте (парламенту) графиней д'Арсира. Вот содержание этого мемуара:

«Евангелие воспрещает прелюбодеяние как мне, так и моему мужу, и он попадет в ад, как и я — это несомненно. Когда он раз двадцать изменил мне, подарил мое ожерелье одной из моих соперниц, а мои серьги — другой, я не просила судей, чтобы они его обрили, заперли в монастырь и отдали мне его имущество. Меня же за то, что я один раз поступила как он, за то, что я сделала с самым красивым юношей Лиссабона то, что он каждый день делает с самыми глупыми обезьянами при дворе и в городе, меня сажают на скамью подсудимых перед судьями, из которых каждый упал бы к моим ногам, если бы был со мной один на один; у меня пристав на судебном заседании отрезает красивейшие в мире волосы, меня запирают к лишенным здравого смысла монашенкам, отнимают мое приданое и лишают всего принадлежащего мне по брачному контракту, и все это отдают моему развратному мужу, чтобы помочь ему соблазнять других женщин и совершать дальнейшие прелюбодеяния. Я спрашиваю, справедливо ли это и не очевидно ли, что рогоносцы создали эти законы?

На мои жалобы отвечают, что я должна считать себя счастливой, что меня не побьют каменьями каноники, прихожане

и весь народ. Так поступали у первого народа мира, у избранного, излюбленного народа, единственного, который был всегда прав перед всеми другими. Я отвечу этим варварам, что когда бедную женщину, уличенную в прелюбодеянии, обвинители ее привели к Учителю Старого и Нового закона, он не велел побивать ее каменьями. Наоборот, он обвинил их в несправедливости и высмеял их, чертя пальцем на песке и говоря им: “Кто из вас без греха, первый брось в нее камень”[13]. И тогда все они разбежались, старые впереди всех, так как чем старше они были, тем более совершили прелюбодеяний.

Доктора канонического права отвечают мне, что история прелюбодейной женщины встречается только в Евангелии от Иоанна, и что и туда она вошла лишь впоследствии. Леонтий, Мальдонат утверждают, что она находится лишь в одном только древнем греческом экземпляре и что ни один из двадцати трех первых комментаторов не говорит о ней. Ориген, св. Иероним, св. Иоанн Златоуст, Феофилакт, Нонн не знают ее. Ее нет в сирийской Библии, нет в переводе Ульфила.— Вот что говорят адвокаты моего мужа, которые желали бы не только обрить меня, но и побить каменьями.

Но адвокаты, защищающие меня, говорят, что Аммоний, писатель III века, признал эту историю достоверной, и что если св. Иероним отвергает ее в некоторых местах, то в других признает,— одним словом, что теперь она считается достоверной. Исходя из этого, я говорю моему мужу: «Если ты без греха, обрей меня, запри меня и возьми себе мое состояние. Но если у тебя больше грехов, мне следует обрить тебя, запереть тебя и взять твое состояние. Перед судом все равны».

Муж отвечает мне, что он — мой господин и глава, что он выше меня более, чем на дюйм, что он волосат, как медведь, что, следовательно, я ему обязана всем, а он мне ничем.

Но я спрашиваю себя: «Разве королева Анна Английская не глава своего мужа? Разве ее муж, принц Датский, ее адмирал, не обязан ей повиноваться во всем? Разве она не велела бы его, в случае неверности, осудить на суде пэров?» Ясно, что женщины тогда только не наказывают мужчин, когда они слабее их».

Продолжение главы о прелюбодеянии

Чтобы настоящим образом вести процесс о прелюбодеянии, нужно, чтобы двенадцать мужчин и двенадцать женщин были судьями, с одним гермафродитом, имеющим преобладающий голос в случае равного разделения голосов.

Но бывают такие исключительные случаи, в которых шутка недопустима, и о которых мы судить не можем. Таков случай, передаваемый св. Августином в его «Слове о Нагорной проповеди» Иисуса Христа.

Септимий Акиндин, проконсул Сирии, заключил в антиохийскую тюрьму одного христианина, который не мог заплатить налога в один фунт золота, который с него требовался. В случае неуплаты ему грозила смерть. Один богатый чело-

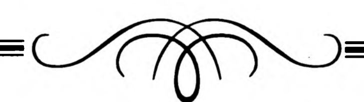
век обещал эту сумму жене несчастного, если она согласится принадлежать ему. Жена тотчас же сообщила об этом мужу. Тот умоляет ее спасти его жизнь, пожертвовав его правами на нее, от которых он отказывается. Жена повинуется, но человек, который должен заплатить ей две мерки золота, обманул ее и дал ей мешок с землей. Муж, не уплатив налога, должен быть казнен. Проконсул узнал об этой подлой проделке; он уплатил из своих денег налог и отдал христианским супругам поместье, из которого была взята земля, наполнившая мешок женщины.

Эта женщина, без сомнения, не только не нанесла обиды своему мужу, но покорно исполнила его волю; она не только повиновалась ему, но спасла его жизнь. Св. Августин не осмеливается решать, виновата она или нет. Он боится осудить несправедливо.

Но, по-моему, более чем странно, что Бейль проявляет более строгости, чем св. Августин. Он решительно осуждает бедную женщину. Это было бы совсем непонятно, если бы мы не имели случая видеть, как часто почти все писатели пишут против своего убеждения, с какой легкостью вообще люди поступаются своим чувством из боязни шокировать убеждения какого-нибудь педанта, который может повредить им, как часто мы бываем в разладе с самими собой.

Рассуждения отца семейства

Прибавим лишь несколько слов о превратном воспитании, которое мы даем нашим дочерям. Мы воспитываем их в неумеренном желании нравиться, мы учим их этому искусству. Природа и без нас работала уже в этом направлении: но мы присоединяем сюда еще утонченность искусства. Затем, когда они хорошо вышколены, мы их наказываем за то, что они применяют наши уроки на практике. Что бы вы сказали об учителе танцев, который учил бы своего ученика десять лет танцевать, а затем захотел бы переломать ему ноги за то, что он пускается танцевать с другим? — Вот еще одно из множества противоречий.



Роскошь

I

В стране, где все ходили босиком, мог ли тот, кто сшил себе сапоги, быть обвинен в роскоши? Не следовало ли скорее считать его человеком весьма разумным и умелым? Можно ли то же самое сказать и о том, кто сшил себе первую рубашку? О том, кто отдал ее выстирать и выгладить? Я считаю его гением, человеком в высшей степени находчивым и способным управлять государством. А между тем те, кто не привык носить чистые рубашки, сочли его изнеженным богачом, развращающим народ.

«Берегитесь роскоши, — говорил Катон римлянам,— вы покорили область Фаз, но не ешьте никогда фазанов. Вы завоевали страну, где растет хлопок, но спите на жестком ложе. Вы с помощью оружия награбили золото, серебро и драгоценные камни двадцати народов; но никогда не будьте столь глупыми, чтобы пользоваться ими. Терпите всяческие лише-

ния после того, как всего набрали. Грабители должны быть честны и добродетельны».

Лукулл отвечал ему: «Друг мой, пожелай лучше, чтобы Красс, Помпей, Цезарь и я все истратили на роскошь. Надо же, чтобы грабители дрались из-за добычи. Рим должен быть порабощен, но это случится гораздо скорее и вернее благодаря одному из нас, если мы, подобно тебе, будем копить наши деньги, чем если мы будем тратить их на излишества и удовольствия. Пожелай, чтобы Помпей и Цезарь разорились настолько, чтобы им нечем было подкупить войска».

Не очень давно один норвежец упрекал одного голландца в роскоши. «Куда девалось, — говорил он, — то счастливое время, когда негоциант, уехавший из Амстердама в Индию, оставив четверть копченого быка в своей кухне, нашел ее в целости при возвращении? Где ваши деревянные ложки и железные вилки? Не стыдно ли мудрому голландцу спать на шелковой постели?» — «Побывай-ка в Батавии, — отвечал ему амстердамский житель,— приобрети, подобно мне, десять бочек золота, и ты увидишь, не захочется ли тебе быть хорошо одетым, хорошо есть и иметь хорошее жилище?» — С тех пор написано было двадцать томов о роскоши, но все эти книги ни убавили, ни прибавили ее.

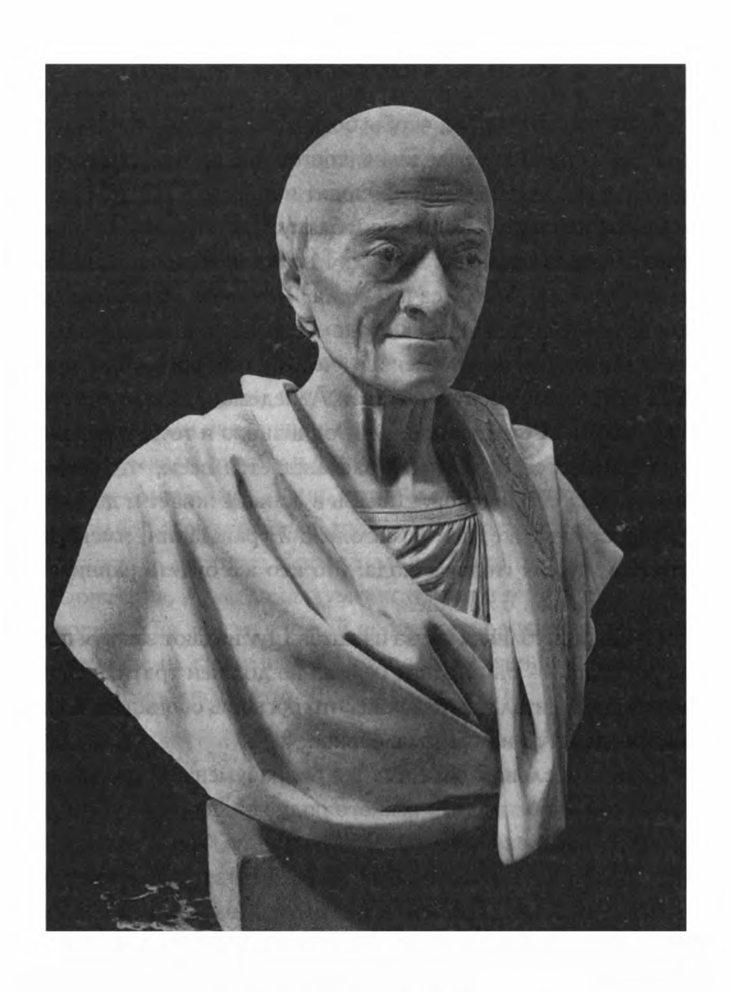
II

В продолжение двух тысяч лет в стихах и в прозе писали против роскоши — и всегда любили ее.

Чего только не говорили о первых римлянах? Когда эти разбойники опустошали и разграбляли жатвы; когда, чтобы увеличить свои бедные поселки, они разрушали бедные деревни вольсков и самнитов,— это были бескорыстные и добродетельные люди: они не могли еще награбить ни золота, ни серебра, ни других драгоценностей, потому что их не было в опустошаемых ими поселениях. В их лесах и болотах не было ни куропаток, ни фазанов, и все восхваляют их умеренность.

Когда они мало-помалу ограбили все вокруг себя от глубины Адриатического залива до Евфрата и догадались воспользоваться плодами своего грабежа; когда они занялись искусствами, когда они насладились всеми удовольствиями и дали даже насладиться ими побежденным, они, как говорят, перестали быть мудрыми и добродетельными.

Все эти разглагольствования сводятся к тому, что вор не должен будто бы ни есть обеда, который он украл, ни носить платья, которое он стащил, ни надевать кольца, которые он унес. Надо, говорят, бросить все это в реку, чтобы быть честными людьми. Скажите лучше, что не надо красть. Осуждайте разбойников за то, что они грабят, но не называйте их безумцами за то, что они пользуются награбленным. Скажите чистосердечно: были ли многие английские моряки, обогатившиеся при взятии Пондишери и Гаваны, в праве пользоваться удовольствиями в Лондоне в награду за ту работу, которую они выполняли в Азии и Америке?



Ж. Гудон. Мраморный бюст Вольтера

Крикуны хотели бы, чтобы богатства, приобретаемые посредством оружия, земледелия, торговли и промышленности, зарывались в землю. Они приводят в пример Спарту. Почему бы им не сослаться на республику Сан-Марино? Какую пользу Спарта принесла Греции? Имела ли она своих Демосфена, Софокла, Апеллеса и Фидия? Роскошь афинян произвела великих людей во всех отраслях. Спарта имела нескольких полководцев, да и то меньше, чем другие города. Но пусть такая крошечная республика, как Лакедемон, держалась своей бедности. К смерти приходят одинаково и тот, кто от всего отказывается, и тот, кто наслаждается всем, что может сделать жизнь приятной. Дикарь в Канаде живет и достигает старости так же, как и английский гражданин, имеющий пятьдесят тысяч гиней дохода. Но кто же будет сравнивать страну ирокезов с Англией?

Пусть республика Рагуза и кантон Цуг издают законы против роскоши — они правы: бедняк не должен тратить своих средств; но я читал где-то также, что роскошь обогащает большое государство и губит маленькое.

Если под словом *роскошь* вы подразумеваете излишество, то всем известно, что всякого рода излишество губительно, как в воздержании, так и в жадности, как в экономии, так и в расточительности. Я не знаю, чем это объяснить, но в моих поместьях, где земля неплодородна, подати тяжелы и вывоз зернового хлеба не допускается, нет, однако, ни одного крестьянина, который не имел бы хорошего суконного платья, хорошей обуви и не питался бы хорошо. Конечно, если

этот крестьянин станет пахать землю в своей лучшей одежде, в белоснежном белье, завитой и напудренный — то это будет глупой и излишней роскошью; но если парижский или лондонский житель покажется в театре в крестьянской одежде, то это всякий в праве будет считать грубой и смешной скаредностью.

Когда выдуманы были ножницы, что случилось, вероятно, не в столь глубокой древности, можно себе представить, как относились к тем, которые впервые стали стричь себе ногти и обрезали падавшие на нос волосы. По всей вероятности, их называли фатами и расточителями, дорого платившими за это орудие тщеславия, которым они портили творение Создателя. Какой страшный грех укорачивать ногти, которым Бог приказал расти на наших пальцах! Это было оскорбление Божества. А когда выдумали рубашки и чулки — было еще хуже. Мы знаем, с какой яростью набросились никогда не носившие их советники на молодых чиновников, впавших в это пагубное излишество.

О самоубийстве

Смешно было бы сказать, что Катон убил себя по *малодушию*. Надо иметь очень сильную душу, чтобы побороть в себе наиболее могучий инстинкт природы. Эта сила души встречается иногда у исступленных: исступленный человек не бывает малодушен. Самоубийство запрещено у нас каноническим правом; но Катон, Брут, Кассий, благородная Аррия, император Оттон, Марк Антоний и множество героев Древнего Рима, которые предпочли добровольную смерть позорной, по их мнению, жизни, не знали декреталий, служащих теперь законом Европе.

Мы, в наше время, также убиваем себя, но убиваем, когда проиграли деньги или в редко встречающемся припадке безумной страсти к предмету, не стоящему ее. Я знавал женщин, убивших себя из-за любви к совершенным дуракам. Люди убивают себя также из-за болезни, и вот это можно назвать малодушием. Отвращение к жизни, когда человек самому

себе в тягость, есть тоже болезнь, приводящая к самоубийству. Лекарство от этого можно бы найти в прогулках, в музыке, в охоте, в театре, в обществе милой женщины. Иногда человек, убивающий себя в припадке меланхолии, совершенно изменил бы свой взгляд на жизнь, если он подождал с неделю.

У меня почти на глазах совершилось самоубийство, заслуживающее внимания всех людей науки. Человек серьезной профессии, зрелых лет, правильного образа жизни, без страстей, с известным достатком, покончил с собой 17-го октября 1769 года и оставил совету города, где он родился, письменное оправдание своей добровольной смерти. Но оправдание это не опубликовали из опасения побудить других покинуть жизнь, о которой говорят так много дурного. До сих пор в этом нет ничего необыкновенного. Но вот что удивительно: его брат и отец оба окончили жизнь самоубийством в том же возрасте, как и он. Какое тайное устройство органов, какая симпатия, какое соотношение физических законов послужили причиной одинакового самоубийства отца и двух сыновей как раз в то время, когда они достигли одного и того же возраста? Была ли это болезнь, развивающаяся с течением времени, как мы видим иногда отцов и детей, погибающих от оспы, от воспаления легких или от другой какой-нибудь болезни. Иногда три, четыре поколения делаются глухими, слепыми, подагрическими, цинготными в определенное время.

Физическая природа, служащая основой природы нравственной, передает один и тот же характер от отца к сыну в течение столетий. Так Аппии были всегда горды и непре-

клонны; Катоны — всегда строги. Весь род Гизов отличался смелостью, отвагой, самая отчаянная гордость соединялась в них с чарующей любезностью. Начиная от Франсуа де Гиза и заканчивая тем, который один и без приглашения стал во главе неаполитанского народа, все были похожи друг на друга и одарены храбростью и выдающимся умом. Я видел портреты во весь рост Франсуа де Гиза, Генриха Гиза и его сына; все трое — ростом в шесть футов; у всех одни и те же черты лица, та же смелость и то же мужество во взгляде и в манере держать себя. Эта последовательность одинаковых представителей рода еще более заметна бывает у животных. Если бы мы к продолжению красивых пород людей приложили то же старание, какое некоторые народы прилагают к тому, чтобы не смешивать породы своих лошадей и охотничьих собак, то генеалогия людей была бы написана на их лицах и обнаруживалась бы в их нравах.

Мы встречаем семьи горбунов, шестипалых так же, как семьи рыжих, губастых, длинноносых и курносых. Но когда природа таким образом располагает органы какой-либо семьи, что в известном возрасте все члены ее чувствуют влечение к самоубийству, то здесь мы имеем дело с такой загадкой, которой не разгадать и самым прилежным исследователям в области естественных наук. Это, без сомнения, действие хотя и физических, но тайных сил.

У нас нет свидетельств, — да это и невероятно, что во времена Юлия Цезаря и императоров жители Великобритании убивали себя с такой решительностью, с какой они делают это

теперь, когда на них находит хандра, которую они называют сплином. Римляне же, напротив, сплином не страдали, а совершали самоубийства самым спокойным образом. Это потому, что они рассуждали, были философами, тогда как дикари острова Британии не были ими. В наше время английские граждане — философы, а римские граждане — нет. Поэтому англичане гордо расстаются с жизнью, когда им это вздумается, а римляне запасаются indulgentia in articulo mortis[14]; они не умеют ни жить, ни умирать. Рыцарь Тампль говорит, что надо уходить, когда нет возможности жить приятно. Так точно умер Аттик.

Следовательно, девушки, которые топятся и вешаются из-за любви, поступают неправильно: они должны бы слушаться голоса надежды на перемену, которая так же обыкновенна в любви, как и в деловых отношениях. Почти верное средство не уступать желанию убить себя — это иметь какое-нибудь занятие. Крич, комментатор Лукреция, написал на своей рукописи: «N.B. Мне придется повеситься, когда я окончу свой комментарий». И он сдержал слово, чтобы иметь удовольствие окончить так же, как комментируемый им автор. Если бы он писал комментарий к Овидию, то прожил бы дольше.

Почему в деревнях самоубийства встречаются реже, чем в городах? Потому что в деревне страдает только тело, а в городах страдает дух. Земледельцу некогда предаваться меланхолии; убивают себя люди праздные, те люди, которые счастливы, по мнению народа. Я расскажу здесь о нескольких самоубийствах, случившихся в мое время. Мертвые могут быть полезны живым.

Очерк нескольких незаурядных самоубийств. Филипп Мордоунт, двоюродный брат знаменитого графа Питерборо, известного при всех дворах Европы и хваставшего тем, что он — единственный во всем мире человек, который видел так много почтальонов и так много королей — этот Филипп Мордоунт, говорю я, был молодой человек лет двадцати семи, красивый, прекрасно сложенный, богатый, знатного рода, имевший возможность достигнуть высших почестей и, что лучше всего, обожаемый своей возлюбленной; он до того возненавидел жизнь, что, заплатив свои долги, написал прощальное письмо друзьям, оканчивающееся следующими строками: «Опий может оказать помощь мудрецу; но, по моему мнению, лучше опиума помогают пистолет и мужество». Он поступил согласно с этим убеждением и застрелился, не указывая другой причины смерти, как только то, что душа его тяготится телом, а когда бываешь недоволен домом, следует из него уходить. Казалось, что ему хотелось умереть потому, что ему надоело его счастье.

Ричард Смит в 1726 году удивил свет своей смертью по совершенно иной причине. Ричарду Смиту надоело быть несчастным: он был некогда богат и стал беден; он был здоров и сделался калекой; у него была жена, с которой он мог разделить только свою нищету; единственное сокровище, которое ему оставалось, это был их ребенок. Ричард Смит и Бригитта Смит, с обоюдного согласия и нежно обнявшись, поцеловали своего младенца и сначала убили его, а затем повесились сами на колоннах своей кровати. Нигде и никогда я не встречал такого хладнокровия в ужасной трагедии.

Но письмо, написанное этими несчастными перед смертью их родственнику, Бриндлею, еще оригинальнее их смерти: «Мы думаем, — говорят они,— что Бог простит нас. Мы расстались с жизнью, потому что были безнадежно несчастны, и мы оказали нашему единственному сыну услугу; мы убили его, чтобы он не сделался таким же несчастным, как и мы». Заметим при этом, что убив сына из родительской любви, эти люди написали письмо одному своему приятелю, оставляя на его попечение своих кошку и собаку. Очевидно, они решили, что составить счастье кошки и собаки легче, чем составить счастье ребенка, и не хотели быть в тягость своему другу.

Милорд Скарборо в 1727 году расстался с жизнью с таким же хладнокровием, с каким оставил свою должность шталмейстера. Его упрекали в том, что он в палате лордов держит сторону короля потому будто бы, что занимает выдающееся место при дворе. «Господа,— отвечал он,— в доказательство того, что мое мнение совершенно не зависит от моей должности, я тотчас же слагаю ее с себя». Впоследствии он очутился в затруднительном положении между женщиной, которую он любил, но которой ничего не обещал, и другой женщиной, которую уважал и которой обещал жениться. Чтобы выпутаться из этого затруднения, он покончил с собой.

Все эти трагические случаи, которыми кишат английские газеты, дали Европе повод думать, что в Англии люди легче совершают самоубийства, нежели в других странах. Но я не знаю, не встречается ли в Париже столько же безумцев или

героев, как и в Лондоне. Может быть, если бы наши газеты отмечали всех, кто имел безумное намерение убить себя и печальное мужество выполнить это намерение, то мы могли бы, к несчастию, доказать англичанам, что не отстали от них. Но наши газеты менее болтливы; несчастия частных лиц никогда не выставляются на жертву общественному злословию в этих признанных правительством органах. Могу с уверенностью сказать лишь то, что нечего бояться, что это безумие примет характер эпидемии. Природа слишком хорошо позаботилась об этом. Надежда, страх — вот те могучие импульсы, которыми часто пользуются для того, чтобы остановить несчастного, готового наложить на себя руки.

Кто-то услышал однажды, как кардинал Дюбуа говорил самому себе: «Убей же себя! Презренный, ты трусишь!» Говорят, что были такие страны, где был учрежден совет, разрешавший гражданам убивать себя, если они представляли достаточные доводы. Я отвечаю, что или это — неправда, или же эти судьи не были обременены работой. Что удивительно и что заслуживает серьезного рассмотрения, так это то, что почти все древнеримские герои убивали себя, проиграв сражение в гражданской войне; но я не вижу, чтобы во времена Лиги или Фронды, во времена итальянских или английских усобиц какой-либо предводитель войска совершал самоубийство. Правда, эти предводители были христиане, а между христианским воином и языческим героем существует большая разница, но почему же этих людей, которых христианская вера останавливала, когда они хотели лишить себя жизни,

ничто не останавливало, когда они решались отравлять, убивать или отнимать жизнь у своих побежденных врагов на эшафоте и т. д.? Разве христианская религия не запрещает убийство другого человека более даже, нежели самоубийство, о котором Новый Завет даже и не упоминает?

Защитники самоубийства говорят нам, что вполне позволительно покинуть жилище, которое надоело. Пожалуй, что и так. Но большинство людей предпочитают спать в скверном углу, чем под открытым небом. Однажды я получил от какого-то англичанина циркулярное письмо, в котором он предлагал премию тому, кто лучше всего докажет, что следует при известных обстоятельствах лишать себя жизни. Я ничего не ответил ему, мне нечего было доказывать; ему самому следовало подумать хорошенько, что он больше любит: жизнь или смерть.

Другой англичанин, по имени Бэкон Моррис, пришел ко мне в Париже в 1724 году. Он был болен и объявил, что лишит себя жизни, если не выздоровеет к 20 июля. Затем он вручил мне свою эпитафию, состоящую из следующих слов: Qui mari et terra pacem quaesivit, hic invenit[15]. Он оставил мне также 25 луидоров, чтобы я установил на его могиле в конце предместья Сен-Мартен маленький памятник. Я отдал ему его деньги 20 июля, а эпитафию оставил у себя.

В мое время последний князь рода Куртенэ, очень старый, и последний князь рода Лоррэн-Гаркур, очень молодой, лишили себя жизни; но об этом говорили очень мало. Эти происшествия делают много шума в первый день, а когда имущество умершего поделено, толки прекращаются.

Вот одно из самых ярких самоубийств, случившееся в июне 1770 года. Один молодой человек, пользовавшийся большой известностью, красавец, изящный, талантливый, привлекательный, был влюблен в молодую девушку, которую родители не хотели отдать за него. До сих пор это только первая сцена комедии, но удивительная трагедия еще впереди. Молодой человек случайно разрывает себе вену. Врачи объявляют, что вылечить его нельзя; любимая им девушка приходит к нему на свидание с двумя пистолетами и двумя кинжалами, чтобы, если пистолеты дадут осечку, оба кинжала пронзили бы их сердца одновременно. Они обнимаются в последний раз; к куркам пистолетов привязаны розовые ленточки; он держит ленту ее пистолета, она — ленту его. Оба по данному сигналу дергают ленту и падают в одно мгновение. Весь город Лион потрясен этим случаем. Аррия и Пет послужили им примером; но они были осуждены тираном, а убийцею этих жертв была любовь.

Законы против самоубийств. Существует ли такой гражданский или религиозный закон, который запрещал бы убивать себя под страхом быть повешенным после смерти или под страхом вечного осуждения за гробом?

О самоубийцах и их незавидной участи после смерти Вергилий сказал: «Там пребывают те печальные безумцы, которые сами дерзновенной рукой прекратили свою жизнь. Они стремились в высоты эфира, не желая переносить слишком для них тяжелого бремени бедности и труда. Потом они плачут, жалеют о жизни; но грозный Стикс навеки преграждает

им обратный путь» («Энеида», кн. VI, 434 и сл.). Таково было верование некоторых язычников; но несмотря на скуку загробной жизни, люди почитали честью оставить этот мир, убив себя, — до такой степени противоречивы нравы людей и их верования. Разве у нас дуэль не пользуется, к сожалению, почетом, несмотря на то, что ее запрещают и разум, и религия, и все законы! Если Катон и Цезарь, Антоний и Август не дрались на дуэли, то это отнюдь не потому, что они не были столь же храбры, как французы. Если герцог де Монморанси, маршал де Марильяк, де Ту, Сен-Марс и многие другие предпочли тащиться в телеге, словно грабители, на эшафот, а не убили себя, как Катон и Брут, то вовсе не потому, что у них не было мужества этих римлян или не было того, что называется честью. Настоящая причина та, что в Париже тогда было не в моде убивать себя, а в Риме эта мода существовала.

Малабарские женщины бросаются в пламень костра, на котором сжигается тело их мужей: разве они обладают большим мужеством, чем Корнелия? Нет, но в этой стране есть обычай, чтобы женщины сжигали себя.

В Японии обычай требует, чтобы тот, кому нанесено оскорбление, затрагивающее честь, распорол себе живот в присутствии оскорбителя и сказал ему: «Сделай так же, если у тебя есть мужество». И оскорбитель навсегда опозорен, если не вонзит себе огромный нож в живот.

Единственная религия, ясным и положительным законом запрещающая самоубийство, есть магометанство. В четвертой

суре Корана сказано: «Не убивайте себя сами, ибо Бог милосерден к вам, а кто убивает себя из злобы и лукавства, будет наверно гореть в адском огне». Перевожу это место дословно. Текст, по-видимому, не имеет смысла, что вообще нередко бывает с текстами. Что значит: «Не убивайте себя сами, ибо Бог милосерден к вам»? Может быть, это следует понимать так: «Не падайте под бременем ваших несчастии, ибо Бог может смягчить вашу участь; не убивайте себя в своем безумии сегодня, ибо завтра вы, может быть, будете счастливы». Но слова: «кто убивает себя из злобы и лукавства» объяснить трудно, ибо ни с кем в Древнем мире не случилось, вероятно, того, что с Федрой у Еврипида: она повесилась нарочно, чтобы внушить Тезею подозрение, что Ипполит изнасиловал ее. В наше время некто застрелился из пистолета, устроив все так, чтобы подозрение пало на другое лицо. В комедии Мольера «*Жорж Данден*» развратница жена грозит мужу, что убьет себя, чтобы его повесили. Эти случаи редки; но Магомет предвидел их: вот где можно по истине сказать, что он смотрел далеко.

Примечания

[1] *Quid dem? quid non dem? Renuis tu quod jubet alter.* — Я дал бы тебе все что угодно, но ты ничего не хочешь принять (*лат.*) — Гораций, посл. II, кн. II.

[2] *Castor gaudet equis, ovo prognatus eodem Pugnis.*— Кастор наслаждается верховой ездой, а я, рожденный там же, — кулачными боями (*лат.*) — Гораций, сатира 1, кн. II.

[3] *Болингброк, Генри Сент-Джон* (1678—1751) — виконт, английский государственный деятель и писатель.

[4] *Поп, Александр* (1688—1744) — английский поэт, прославленный мастер героического дистиха.

[5] *Шефтсбери, Энтони Эшли Купер* (1671—1713) — английский философ и литератор.В основе философии Шефтсбери, иногда называемой деизмом, лежит представление о природе как гармоническом целом, свидетельствующем о ее божественном происхождении.

[6] *Non liquet* — неясно (*лат.*).

[7] *Amor omnibus idem* — любовь у всех одинакова (*лат.*).

[8] Можно, не будучи красивой, быть долго женственной.
Внимательность, вкус, заботливость, чистота,
Природный ум, всегда ласковый вид —
Придают и безобразию черты красоты (*лат.*).

[9] Посвящение Рабле адресовано «знаменитым пьяницам и вам, драгоценным зараженным».

[10] *Cavendum non solum crimine turpi-tudinis, sed etiam suspicione.*— Берегись не только постыдного порока, но и подозрения в нем (*лат.*).

[11] Плутарх, «Жизнь Пирра», гл. XXXVIII.

[12] Матфея, 19:9.

[13] Иоанна, 8:87.

[14] *Indulgentia in articulo mortis.*— Отпущение грехов к моменту смерти (*лат.*).

[15] *Qui mari et terra pacem quaesivit, hic invenit.*— Кто ни на суше, ни на море не находил покоя, тот нашел его здесь (*лат.*).


Философские
диалоги



Беседа Лукиана, Эразма и Рабле в Елисейских полях

Лукиан[1] недавно познакомился с Эразмом, несмотря на свое отвращение ко всему, что приходит из Германии. Он думал, что грек не должен унижать себя разговором с батавом[2]; но так как этот батав показался ему порядочным человеком, то он и решился побеседовать с ним.

Лукиан. Значит, ты в твоей варварской стране делал то же, что и я в одной из самых цивилизованных стран мира: ты насмехался над всем?

Эразм[3]. Увы! Мне этого очень хотелось, это было бы большим утешением для бедного богослова, каким был я; но я не имел возможности говорить так же смело, как ты.

Лукиан. Это меня удивляет: люди очень любят, чтобы им указывали на их глупости вообще, только бы никого не называли в частности. Тогда каждый приписывает соседу

свои собственные недостатки, и все смеются друг над другом. Разве не то же самое было с твоими современниками?

Эразм. Между смешными людьми твоего и моего времени была громадная разница: ты имел дело только с богами, которых представляли на сцене, и с философами, пользовавшимися еще меньшим доверием, нежели боги; я же был окружен фанатиками и должен был поступать осмотрительно, чтобы меня не сожгли одни или не убили другие.

Лукиан. Как же ты мог смеяться, находясь между двумя огнями?

Эразм. Да я и не смеялся. Меня считали гораздо более смешным, чем я был на самом деле. Я прослыл очень веселым и остроумным, потому что в то время все были скучными. Все были углублены в бессодержательные идеи, и это делало людей придирчивыми. Тот, кто думал, что одно и то же тело может быть одновременно в двух различных местах, готов был зарезать всякого, кто объяснял то же самое, но другим способом. Хуже того: если бы человек в моем положении не захотел принять участия в споре, его стали бы считать чудовищем.

Лукиан. Какие странные люди эти варвары, с которыми тебе пришлось жить! В мое время геты и массагеты были более мягки и рассудительны. А какова же была твоя профессия в твоей ужасной стране?

Эразм. Я был голландским монахом.

Лукиан Голландским монахом? Что же это за профессия?

Эразм. Профессия ничегонеделания; католический монах давал нерушимый обет быть совершенно бесполезным человечеству, быть глупым и рабом и жить за счет других.

Лукиан. Какая отвратительная профессия! Каким образом, обладая таким умом, ты мог посвятить себя занятию, позорящему человеческую природу? Жить на чужой счет — это еще куда ни шло! Но давать обет не иметь здравого смысла и лишиться свободы!

Эразм. Видишь ли: когда я был еще очень молод, и ни родных, ни друзей у меня не было, я попал в руки плутов, которые уговорили меня увеличить число им подобных.

Лукиан. Неужели! И много было таких людей?

Эразм. В Европе их насчитывали от шестисот до семисот тысяч.

Лукиан. Праведное небо! Значит, мир сильно поглупел и одичал с тех пор, как я оставил его? Правду сказал Гораций, что все пойдет хуже и хуже: «*Progeniem vitiosiorem*»[4].

Эразм. Меня утешает то, что все люди того века, в котором я жил, дошли до высшей ступени безумия; должны же будут они наконец сойти вниз, и будут же среди них и такие, у которых найдется немного разума.

Лукиан. В этом я сильно сомневаюсь. Но скажи мне, каковы были главные безрассудства того времени?

Эразм. Смотри, вот список, который я всегда ношу при себе. Читай.

Лукиан. Какой длинный! (*Лукиан читает и покатывается со смеху. Является Рабле*[5]).

Р а б л е. Господа! Где смеются, там я не лишний. Над чем вы смеетесь?

Л у к и а н. Над глупостями.

Р а б л е. Отлично! Посмеемся вместе.

Л у к и а н.(*Эразму*). Кто этот оригинал?

Э р а з м. Это человек, который был смелее и сильнее меня, потому что был только католическим священником, тогда как я, как монах, пользовался меньшей свободой.

Л у к и а н. *(обращаясь к Рабле)*. И ты тоже, как и Эразм, дал обет жить за счет других?

Р а б л е. Вдвойне даже, так как я был священником и врачом. С детства я был очень благоразумен и сделался таким же ученым, как Эразм; но видя, что благоразумие и наука ведут обыкновенно в больницу или на виселицу, видя, как этот невеселый шутник Эразм иногда подвергался преследованиям, я вздумал превзойти в безумии всех моих соотечественников вместе взятых и написал толстую книгу невероятного вранья, полную непристойностей, книгу, в которой я осмеивал все сословия и звания, начиная с короля и первосвященника до доктора богословия — последнего из всех. Я посвятил свою книгу одному кардиналу[6] и заставил смеяться даже тех, которые презирали меня.

Л у к и а н. Что такое кардинал, Эразм?

Э р а з м. Это священник в красном платье, получающий 100 тысяч экю в год за то, чтобы ровно ничего не делать.

Л у к и а н. Надо сознаться, по крайней мере, что эти кардиналы были очень разумны, и, следовательно, не все твои соотечественники были так глупы, как ты говоришь.

Эразм. Прошу у г-на Рабле позволения ответить на это. Кардиналы были одержимы безумием иного рода: страстью властвовать; а так как дураков гораздо легче подчинять себе, нежели умных, то они и хотели пристукнуть разум, только что начинавший поднимать голову. Господин Рабле, которого ты видишь перед собой, поступил, как Брут, представившийся безумным, чтобы избежать подозрений и преследования Тарквиниев.

Лукиан. Все, что ты говоришь, убеждает меня в том, что гораздо лучше было жить в мое время, нежели в твое. Эти кардиналы, о которых ты говоришь, были, следовательно, владыками мира, если повелевали безумными?

Рабле. Нет, над ними властвовал другой старый безумец.

Лукиан. Как же его звали?

Рабле. Его звали *папеготом*[7]. Безумие его заключалось в том, что он считал себя непогрешимым и мнил себя повелителем над всеми королями. Он так долго и упорно говорил об этом, так заставлял кричать об этом монахов, что ему, наконец, поверила почти вся Европа.

Лукиан. Однако! Вы изрядно превосходите нас в безумии! Басни о Юпитере, Нептуне и Плутоне, над которыми я так смеялся, были весьма почтенными рассказами в сравнении с теми глупостями, в которые верили в вашей стране. Я только не понимаю, как вы оба ухитрились безопасно поднимать на смех людей, которые должны были бояться насмешек более, чем заговора. Ведь над своими властелинами нельзя смеяться безнаказанно, и я был так благоразумен, что ни сло-

ва не говорил о римских императорах. Как! Твой народ поклонялся папеготу! Ты же высмеивал этого папегота на все лады, и народ терпел это! До чего же доходило его терпение?

Рабле. Я должен объяснить тебе, что такое была моя нация. Это было смешение невежества, суеверия, глупости, жестокости и способности смеяться. Сначала стали вешать и зажаривать тех, которые серьезно говорили о папеготах и о кардиналах. Страна вельшей[8], откуда я родом, была залита кровью; но как только казни оканчивались, народ начинал плясать, петь, заниматься любовными делами, пить и смеяться. Я затронул слабую струнку моих соотечественников. Я воспевал пьянство, говорил сальности, и на этом основании мне все было позволено. Умные люди меня поняли и были мне благодарны; люди глупые поняли только сальности и упивались моими сочинениями. Все меня любили и никто не думал меня преследовать.

Лукиан. Ты возбуждаешь во мне большое желание видеть твою книгу. Не найдется ли у тебя в кармане одного экземпляра? И ты, Эразм, не можешь ли тоже дать мне свои сочинения?

Эразм и Рабле дают Лукиану читать свои сочинения. Тот читает несколько отрывков, а в это время Эразм и Рабле беседуют.

Рабле. Я читал ваши сочинения, а вы не читали моих, потому что я родился несколько позже вас. Вы, может быть, были слишком сдержанны в своих насмешках, тогда как я

был чересчур смелым. Теперь же мы оба думаем одинаково. Мне всегда бывает смешно, когда я вижу ученого, входящего в этот мир.

Эразм. А мне бывает его жалко. Я говорю себе: «Вот несчастный, который всю жизнь трудился над тем, чтобы обманывать самого себя, и который ничего не выигрывает от того, что выходит из заблуждения здесь».

Рабле. Как! Разве не приятно выйти из заблуждения?

Эразм. Не особенно приятно, когда не можешь вывести из заблуждения других. Главная радость заключается в том, чтобы указывать путь заблуждающимся друзьям, а мертвые дороги ни у кого не спрашивают.

Эразм и Рабле довольно долго беседовали таким образом. Лукиан вернулся, прочитав главу из «Гаргантюа» Рабле и несколько страниц из «Похвалы Глупости» Эразма. Затем, встретив доктора Свифта[9], они все четверо отправились ужинать.

Примечания

[1] *Лукиан Самосатский* (ок. 120 — ок. 190)— древнегреческий сатирик. Создал жанр «лукианического диалога» — «диалога мертвых».

[2] *Батавия* — древнее название Нидерландов.

[3] *Эразм Роттердамский* (Дезидерий Эразм) (наст. имя Герард Герардсон) (1469—1536) — нидерландский гуманист. Из его сочинений особенно известно сатирическое произведение «Похвала

Глупости», где он высмеивает монашество и настаивает на важности внутренней духовности.

[4] «*Progeniem vitiosiorem*» — «Поколение более порочное» (*лат.*).

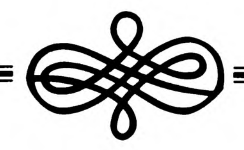
[5] *Франсуа Рабле* (1495—1553) — выдающийся франц. писатель и мыслитель-гуманист, один из крупнейших деятелей европ. Возрождения. Его имя прославила книга «Гаргантюа и Пантагрюэль», составленная из выходивших по отдельности фрагментов,— масштабная сатира на окружающую действительность, особенно на христианство.

[6] Книга Рабле была посвящена кардиналу Одэ де Шатильону.

[7] *Папегот* (Papegaut) — деревянная птица, служащая целью при стрельбе (*фр.*).

[8] *Вельши* — т. е. галлы.

[9] *Джонатан Свифт* (1667—1745) — английский писатель, жил в Ирландии. В свое время его характеризовали как «мастера политического памфлета», а некоторые его произведения, оторвавшись от породивших их политических обстоятельств, зажили собственной литературно-художественной жизнью: «Путешествия Гулливера» (1726) и «Сказка бочки» (1704).



Диалоги Эвгемера

Диалог первый. — Об Александре

Калликрат. Итак, мудрый Эвгемер, что же ты видел во время своих путешествий?

Эвгемер. Одни глупости.

Калликрат. Как! Ты путешествовал по следам Александра и не исполнен восторга и изумления?!

Эвгемер. Ты хочешь сказать — жалости?

Калликрат. Жалости к Александру?!

Эвгемер. А к кому же еще? Я видел его только в Индии и Вавилоне, куда устремился вместе с другими в тщетной надежде узнать что-либо новое. И мне сказали, что он начал свои похождения как герой, а закончил их как безумец. Я видел этого полубога, ставшего самым жестоким из варваров, тогда как прежде он был самым гуманным из греков. Я видел воздержанного ученика Аристотеля, превратившегося в пре-

зренного пьяницу. Я увидел его впервые в ту минуту, когда он, выйдя из-за стола, вздумал поджечь великолепный храм Эсфекара, чтобы исполнить прихоть развратницы Таис. Я последовал за ним в его безумном походе в Индию и видел, наконец, как он во цвете лет умирал в Вавилоне от того, что напился пьяным как последний из его солдат.

Калликрат. Вот великий человек, которого ты сделал совсем маленьким!

Эвгемер. Все они таковы; они подобны магниту, у которого я открыл одно свойство: одним концом он притягивает, другим отталкивает.

Калликрат. Александр страшно отталкивает меня, когда в пьяном виде сжигает город. Но я не знаю, о каком Эсфекаре ты говоришь; мне известно только, что этот безумец и эта сумасшедшая Таис подожгли Персеполь для своей забавы.

Эвгемер. Эсфекарт и есть именно то, что греки называют Персеполем. Наши греки любят одевать весь мир в греческие костюмы. Так, они назвали реку Зом-Бодпо Индом; другую реку назвали Гидаспом. Ни один из осажденных и взятых Александром городов не известен под своим настоящим именем. Даже имя Индия выдумано греками: восточные народы называли ее Одху. Таким же образом они в Египте создали города Гелиополис, Крокодилополис, Мемфис. Найдут звучное имя — и рады. Так они обманули всю Землю, надавав имена богам и людям.

Калликрат. Большой беды в этом нет. Я не в претензии на тех, которые таким образом обманывали мир; я недо-

волен теми, которые его опустошают. Я не люблю твоего Александра, который из Греции отправляется в Киликию, в Египет, в горы Кавказа, а оттуда доходит до берегов Ганга, убивая всех, кто попадается навстречу: врагов, безразличных и друзей.

Эвгемер. Это только расплата. Если он отправляется убивать персов, то ведь персы так же раньше приходили убивать греков. Если он устремился к Кавказу, в огромную страну скифов, то эти скифы также нападали дважды на Грецию и Азию. Все народы в различные времена грабили, порабощали и истребляли какие-нибудь другие народы. Воин — синоним грабителя. Каждый народ идет грабить своего соседа во имя своего бога. Разве мы не видим теперь, как наши соседи, римляне, выходят из своего семихолмного убежища, чтобы грабить вольсков, антиатов, самнитов? Вскоре они придут грабить и нас, если смогут построить суда. Как только они узнают, что соседний с ними город Веи имеет немного пшеницы и ячменя в своих амбарах, так тотчас же заставляют своих жрецов объявлять, что надо ограбить вейян. И тогда этот разбой становится священной войной. У них есть оракулы, которые повелевают убивать и грабить. Но и у вейян есть оракулы, предсказывающие им, что они отберут солому у римлян. Наследники Александра грабят теперь те самые провинции, которые они раньше грабили для своего властелина-грабителя. Таков есть, был и всегда будет род человеческий. Я обошел половину Земли и не видел ничего кроме безумия, несчастия и преступления.

Калликрат. Скажи мне: между столькими народами, которые ты видел, нашел ли ты хоть один справедливый?

Эвгемер. Ни одного.

Калликрат. Который же из них ты считаешь наиболее глупым и злым?

Эвгемер. Самый суеверный из них.

Калликрат. Почему самый суеверный народ — самый злой?

Эвгемер. Потому что суеверие считает своим долгом то, что другие делают по привычке или от безумия. Обыкновенный варвар — грек, римлянин, скиф или перс — после того, как достаточно перебил людей, наворовал всякого добра, досыта напился пива, принадлежавшего тем, кого он убил, изнасиловал много дочерей убитых семей, чувствуя, что ему больше ничего не нужно, делается спокойным и человечным. Он повинуется чувству жалости, которое природа вложила в сердце человека. Он похож на льва, который не бросается на добычу, когда не чувствует более голода; а суеверный человек похож на тигра, который умерщвляет и раздирает даже и тогда, когда сыт.

Иерофант[2] Плутона сказал ему: «Истребляй всех поклонников Меркурия, жги все дома, убивай всех животных». И всякий набожный человек считал бы себя безбожником, если бы оставил в живых ребенка или кошку во владениях Меркурия.

Калликрат. Как! На свете существуют столь ужасные народы, и Александр не истребил их, а вместо этого напра-

вился на берега Ганга, чтобы напасть на самых мирных, гуманных людей, которые даже, как говорят, выдумали философию?

Эвгемер. О нет! Он, как стрела, пролетел мимо этих мелких народов — фанатиков и варваров, о которых я только что говорил, а так как фанатизм не исключает низости и подлости, то эти презренные просили у него прощения, льстили ему, отдали ему часть награбленного ими золота и получили от него разрешение продолжать грабеж.

Калликрат. Значит, род человеческий ужасен?

Эвгемер. Среди этого большого числа животных есть немного баранов; но большинство — волки и лисицы.

Калликрат. Желал бы я знать, для чего существует такая огромная разница в одной и той же породе?

Эвгемер. Говорят, для того, чтобы лисицы и волки могли есть ягнят.

Калликрат. Нет, этот мир слишком презрен и слишком ужасен. Я желал бы знать, к чему столько несчастий и столько глупостей?

Эвгемер. И я также. Я уже давно думаю об этом, возделывая свой сад в Сиракузах.

Калликрат. Ну, и что же ты надумал? Скажи мне, прошу тебя, в нескольких словах, была ли эта Земля всегда населена людьми? Существовала ли всегда и сама Земля? Есть ли у нас душа? Вечна ли эта душа так же, как, говорят, вечна материя? один ли бог или их много? Что они делают? К чему они годны? Что такое добродетель? Что такое поря-

док и беспорядок? Что такое природа? Имеет ли она законы? Кто их дал? Кто выдумал общество и искусства? Какое правительство самое лучшее? А главное — какое средство лучше поможет избавиться от опасностей, которыми окружен каждый человек на каждом шагу? Остальное мы обсудим в другой раз.

Эвгемер. Этого хватит на десять лет, если беседовать по десять часов в день.

Калликрат. И однако обо всем этом говорили вчера у прекрасной Евдокии самые лучшие люди Сиракуз.

Эвгемер. И к каким они пришли выводам?

Калликрат. Ни к каким. Там было два жреца: один — Цереры, а другой — Юноны, которые в конце концов разругались. Так скажи же мне откровенно твое мнение. Обещаю тебе не драться с тобой и не отдавать тебя жрецу Цереры.

Эвгемер. Хорошо! Приходи ко мне завтра; я постараюсь ответить тебе, но не обещаю удовлетворить тебя.

Диалог второй. — О Божестве

Калликрат. Начинаю с самого обычного вопроса: существует ли Теос (Бог)? Главный жрец Юпитера Аммона объявил Александра сыном последнего и получил за то хорошую плату; но существует ли этот Теос? О нем так давно говорят: уж не насмешка ли это над нами?



Вольтер в старости: 33 рисунка с натуры

Эвгемер. Да, конечно, над нами хотели посмеяться, когда заставили нас поклоняться Юпитеру, умершему на Крите, и каменному барану, засыпанному ливийскими песками. Греки, которые умны до безумия, бессовестно издевались над человечеством, когда из греческого слова, которое означало *бежать* сделали «теой» — *бегущие боги*[3]. Их пресловутые философы, которые, по моему мнению, суть самые неразумные из всех разумников, утверждают, что такие бегуны, как Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн — бессмертные боги, потому что они постоянно движутся и, по-видимому, движутся сами собой. На том же основании они могли бы считать богами ветряные мельницы.

Калликрат. Нет, нет, я не говорю тебе ни об афинских, ни об египетских бреднях. Я не спрашиваю тебя, боги ли баран Аммона или бык Апис, и съел ли Камбиз бога, зажарив его на вертеле. Я очень серьезно спрашиваю тебя, существует ли Бог, который сотворил мир. Меня подняли на смех в Сиракузах, когда я сказал, что, может быть, есть Бог.

Эвгемер. А где ты живешь в Сиракузах?

Калликрат. У архонта Гиеракса, моего друга, который, как и Эпикур, не верит в Бога.

Эвгемер. У этого архонта, кажется, чудный дворец?

Калликрат. Удивительный. Это — здание, украшенное тридцатью шестью коринфскими колоннами, между которыми стоят статуи работы лучших художников. Что же касается двух крыльев...

Эвгемер. Крылья оставим в покое. Мне достаточно того, что прекрасный дворец — работа архитектора.

Калликрат. Ага! Вижу, куда ты клонишь. Ты скажешь мне, что устройство Вселенной, бесконечное пространство, наполненное мирами, вращающимися вокруг своих Солнц, свет, потоками льющийся от этих Солнц и оживляющий эти миры, — все это непостижимое строение свидетельствует о разумном, могущественном и вечном строителе. Ты станешь говорить мне о прекрасных открытиях Платона, увеличивших сферу существ; ты укажешь мне на Высшее Существо, управляющее всей этой толпой миров, созданных один для другого. Эти избитые доказательства не убеждают наших эпикурейцев. Они преспокойно ответят тебе, что природа создала все и что она-то и есть Высшее Существо; что мы ее видим, чувствуем в Солнце, в светилах, во всех произведениях нашего мира, в нас самих; что нелепо приписывать все это какому-то воображаемому существу, которого нельзя видеть и о котором невозможно составить себе ни малейшего понятия, нелепо приписывать ему все действия природы, которую мы так ясно чувствуем, так хорошо знаем в ее постоянных работах, которую мы видим всюду — и под нашими ногами, и над нашей головой, которая произвела нас на свет, которая заставляет нас жить и умирать, и которая и есть, очевидно, тот Бог, которого ты ищешь. Прочти «Систему Природы»[4], «Основы Природы»[5], «Философию Природы»[6], «Кодекс Природы»[7] и пр.

Эвгемер. А если я скажу тебе, что никакой природы нет, что во Вселенной все — одно только искусство, а искусство предполагает художника.

Калликрат. Как! Никакой природы нет, а есть только искусство? Какие пустяки!

Эвгемер. Первый высказал эту истину малоизвестный философ, которого и за философа-то многие не считают; но хотя это и темный человек[8], все-таки его идею можно посчитать истинной. Сознайся, что под этим неопределенным термином «природа» подразумевается лишь совокупность существующих предметов, большая часть которых не будет существовать завтра. Без сомнения, деревья, камни, овощи, гусеницы, козы, девушки, обезьяны не составляют какого бы то ни было абсолютного существа; явления, не существовавшие вчера, не могут быть вечной, необходимой и производительной причиной. Чтобы убедиться, что искусство сделало все, рассмотри только насекомое — улитку, муху, и ты увидишь необычайное искусство, которому никакое человеческое производство не может подражать. Следовательно, должен существовать бесконечно искусный художник — и его-то мудрецы называют Богом.

Калликрат. Этого художника, о котором ты говоришь, наши эпикурейцы называют таинственной силой, вечно действующей в этой постоянно умирающей и постоянно возрождающейся совокупности, которую мы называем природой.

Эвгемер. Каким образом сила может быть разлита в существах, которые уже умерли или которые еще не роди-

лись? Каким образом эта слепая сила может иметь достаточно разума, чтобы создавать животных, чувствующих или мыслящих, и столько Солнц, которые, вероятно, вовсе не думают? Ты понимаешь, что такая система, не основанная ни на какой предшествующей истине, есть не что иное, как бред расстроенного воображения: тайная сила, о которой ты говоришь, может существовать лишь в существе, достаточно могущественном и достаточно разумном, чтобы создавать разумных тварей; в существе необходимом, так как без него ничего не могло бы быть; в существе вечном, относительно которого, так как оно существует само по себе, нельзя указать момента, когда оно не существовало; в существе благом, так как если оно есть причина всего, то ничто не могло вселить в него зла. Вот что мы, стоики, называем Богом; вот великое Существо, на которое мы стараемся походить добродетелью настолько, насколько слабые создания могут приблизиться к тени своего создателя.

Калликрат. И вот то, что наши эпикурейцы не принимают у вас. Вы похожи на скульпторов, которые сделают себе статую и поклоняются ей. Вы создаете себе Бога, а потом даете ему название благого. Да посмотри только на вашу Этну, на город Катану, провалившийся лишь несколько лет тому назад, и на его еще дымящиеся развалины. Вспомни то, что Платон рассказываетоб исчезновении острова Атлантиды, поглощенного морем не более как десять тысяч лет назад; вспомни о наводнении, разорившем Грецию. По отношению к нравственному злу вспомни лишь все то, что ты

видел, и называй после этого, если посмеешь, твоего Бога благим. Никто никогда не мог ответить на вопрос: «Или Бог не мог помешать злу, и в таком случае где его всемогущество; или он мог помешать ему и не сделал этого; тогда где же его благость?».

Эвгемер. Это старое рассуждение, которое, по-видимому, свергает с престола Бога и ставит на его место хаос, всегда пугало меня; но те безумные ужасы, которые я видел на этом несчастном свете, устрашают меня еще более. Однако, у подножия горы Этны, изрыгающей пламя и смерть, я вижу цветущие и плодородные поля; а через десять лет после резни и грабежа я вижу, как в Сиракузах возрождаются мир, богатство, наслаждения, песни и философия. Итак, если в этом мире есть зло, то есть также и добро. Следовательно, доказано, что Бог не абсолютно зол, если он — творец всего.

Калликрат. Этого еще недостаточно, чтобы Бог был не всегда и не абсолютно жесток, — он никогда не должен быть таким; а между тем Земля, представляющая собой якобы его творение, всегда страдает от какого-нибудь ужасного бедствия. Когда Этна бездействует, другие вулканы работают. Когда Александра не стало, появились новые разрушители. Никогда в мире не было ни одного момента без несчастия и без преступления.

Эвгемер. Вот к этому-то я и хотел прийти. Идея Бога-палача, творящего живые существа, чтобы их мучить, ужасна и нелепа; идея двух богов, из которых один творит добро, а другой зло, еще более нелепа и не менее ужасна. Но если

тебе доказывают какую-нибудь истину, то разве существование этой истины менее действительно потому, что она ведет за собой тревожные последствия? Есть существо необходимое, вечное, источник всего сущего, — разве же оно не должно существовать только потому, что мы страдаем? И потому, что я не умею объяснить, почему мы страдаем?

Калликрат. Умеешь или не умеешь, я прошу тебя высказать мне то, что ты думаешь.

Эвгемер. Я боюсь делать это, потому что буду говорить тебе вещи, похожие на систему, а недоказанная система есть только остроумная шутка. Как бы то ни было, вот тот слабый луч света, который, как мне кажется, виднеется мне в этой глубокой тьме. Ты можешь погасить его или усилить.

Во-первых, во мне могла возникнуть идее Бога только после того, как у меня явилось понятие о существе необходимом, самодостаточном, по самой природе своей вечном, разумном, благом и могущественном. Все эти свойства, которые, как мне кажется, присущи Богу, не внушают мне мысли, что он сделал невозможное. Он никогда не помешает трем углам треугольника быть равными двум прямым. Он не может сделать так, чтобы два противоположные предложения имели одинаковый смысл. По всей вероятности, было бы противоречием, если бы зло не вошло в мир. Я полагаю, что невозможно было, чтобы ветры, необходимые для очищения суши и для предупреждения застоя в морской воде, не поднимали бурь. Огонь, находящийся под земной корой и производящий минералы и растения, также должен потрясать Землю,

разрушать города, губить их жителей, опускать горы и воздвигать другие.

Невозможно было бы, чтобы все животные жили вечно и плодились постоянно: Земля не могла бы питать их. Таким образом, смерть, считающаяся величайшим из зол, была так же необходима, как и жизнь. Необходимо было, чтобы желания загорелись в органах всех животных, которые не могли ведь стремиться к своему благосостоянию, не желая его; привязанности их не могли быть жизненными, не будучи сильными и, следовательно, не возбуждая сильных страстей, порождающих споры, войны, убийства, обманы и разбои. Наконец, Бог не мог создать мир при других условиях, отличающихся от тех, при которых он существует.

Калликрат. Значит, твой Бог не всемогущ?

Эвгемер. Он поистине единственный всемогущий, так как он все сотворил; но он не чрезмерно всемогущ. Из того, что архитектор построил дом в пятьдесят футов высоты из мрамора, не следует еще, что он может построить дом в пятьдесят миль из варенья. Каждое существо ограничено в своей природе, и я осмеливаюсь думать, что и Высшее Существо ограничено в своей природе. Я осмеливаюсь думать, что этот строитель мира, столь видимый нашему разуму и в то же время столь непостижимый, не живет ни в капустных кочанах нашего огорода, ни в маленьком храме Капитолия. Где же он пребывает? С какого неба, с какого Солнца посылает он свои вечные указы всей природе? Я этого не знаю; но я знаю, что вся природа повинуется ему.

Калликрат. Но если все повинуется ему, когда же, по-твоему, дал он первые законы всей этой природе? Когда создал он эти бесчисленные Солнца, планеты, кометы и эту ничтожную и несчастную Землю?

Эвгемер. Ты постоянно задаешь мне вопросы, на которые можно отвечать только предположениями. Если бы я осмелился сделать еще одно предположение, то я сказал бы, что так как сущность Высшего Существа, Существа творящего, сохраняющего, разрушающего и воспроизводящего, заключается в деятельности, то невозможно, чтобы он не действовал всегда. Творения вечного Демиурга должны быть вечными; это так же верно, как то, что, раз Солнце существует, лучи его пронизают пространство по прямой линии.

Калликрат. Ты отвечаешь мне сравнениями. Это заставляет меня думать, что ты не видишь ясно вещей, о которых мы говорим. Ты стараешься осветить их, но, как ты ни бьешься, ты в конце концов все-таки возвращаешься к системе эпикурейцев, которые все приписывают таинственной силе, необходимости. Ты называешь эту таинственную силу Богом, а они — природой.

Эвгемер. Я не против того, чтобы иметь нечто общее с настоящими эпикурейцами: они — люди честные, мудрые и почтенные. Но я не согласен с теми, которые допускают существование богов лишь для того, чтобы насмехаться над ними, представляя их старыми, ни на что не нужными развратниками, оскотинившимися вином, обжорством и женщинами. Что касается хороших эпикурейцев, представляющих

себе счастье только в добродетели, но допускающих лишь таинственную силу природы, то я с ними согласен, если только они признают, что эта тайная сила есть сила необходимого, вечного, могущественного и разумного Существа, так как существо рассуждающее, называемое человеком, может быть творением только существа с высшим разумом, называемого Богом.

Калликрат. Я сообщу им твои размышления и желаю, чтобы они признали тебя своим собратом.

Диалог третий. — О философии Эпикура и о греческой теологии

Калликрат. Я говорил с нашими добрыми эпикурейцами. Большинство из них упорно думают, что их учение, в сущности, не особенно отличается от твоего. Ты также допускаешь силу, таинственную, невидимую; но так как они — люди со здравым смыслом, то они думают, что эта сила должна быть мыслящей, раз есть мыслящие животные.

Эвгемер. Это большой шаг на пути познания истины, но с теми, которые осмеливаются сказать, что материя может иметь сама по себе способность мыслить, мне говорить невозможно, так как я исхожу из следующего принципа: «Чтобы произвести мыслящее существо, надо быть мыслящим». Они же исходят из следующего предположения: «Мысль

может быть дана существом, которое не мыслит», скажем более — существом, которое не существует, ибо мы ведь ясно видели, что нет существа «природа» и что это лишь отвлеченное имя, данное совокупности вещей.

Калликрат. Скажи мне, каким же образом эта тайная и огромная сила, которую ты называешь Богом, дает нам жизнь, чувство и мысль? Мы имеем душу, но имеют ли ее другие животные? Что такое эта душа? Вселяется ли она в наше тело еще тогда, когда мы находимся в утробе матери? Куда девается она, когда это тело разлагается?

Эвгемер. Я непоколебимо убежден в том, что Бог дал и нам, и животным, и растениям, и каждой песчинке все, что мы имеем: все наши способности, все наши свойства. Столь глубокое и непостижимое искусство сокрыто в органах, производящих нас на свет, заставляющих нас жить, и в законах, управляющих всем, что я готов пасть, ослепленный и пораженный удивлением, когда осмеливаюсь только взглянуть на малейшую часть этого всемирного двигателя, благодаря которому все существует.

У меня есть чувства, которые дают мне удовольствие или боль; у меня есть мысли, образы, получаемые мною через посредство чувства и входящие в меня помимо моей воли. Я не создаю эти мысли, а когда во мне собралось значительное количество таких мыслей, я очень удивляюсь тому, что чувствую в себе способность составить несколько мыслей сам. Развивающаяся во мне способность вспоминать то, что я видел и чувствовал, делает так, что в голове моей образ

кормилицы соединяется с образом матери, а дом, в котором я живу, с соседним домом. Я также собираю различные идеи, из которых я не создал ни одной: эти действия происходят от другой способности — от способности повторять слышанные слова и с самого начала придавать им немножко смысла. Мне говорят, что все это называется *памятью*.

Наконец, когда время немного укрепило мои органы, мне говорят, что моя способность вспоминать, собирать понятия есть то, что называется *душой*. Это слово означает и не может означать ничего иного, как то, что оживляет мои органы. Все восточные народы называли *жизнью* то, что мы называем душой. Таким образом, мы имеем способность давать общие и отвлеченные названия вещам, которые мы не можем определить. Мы желаем, но в нас нет такого реального существа, которое называется *желанием*. Мы хотим, но в нашем сердце не сидит никакой такой личности, которую называют *волей*. Мы воображаем, но в нашем мозгу нет такого существа, которое воображает. Люди всех стран, — я говорю о людях рассуждающих, — придумали общие названия, чтобы выражать все действия, все проявления того, что они чувствуют и видят. Они говорят «жизнь и смерть», «сила и слабость»; а между тем такого реального существа, которое было бы слабостью или силой, смертью или жизнью, нет; но эти способы выражения так удобны, что давно уже приняты рассуждающими народами.

Но хотя эти выражения и облегчают разговор, именно они были причиной многих ошибок. Так, например, живо-

писцы и скульпторы захотели представить силу и изобразили толстого человека с волосатой грудью и мускулистыми руками; чтобы дать понятие слабости, они изобразили ребенка. Таким же образом олицетворили страсти, добродетели, пороки, годы и дни. Люди привыкли, благодаря этому постоянному маскараду, представлять себе все свои способности, все свои свойства, все свои отношения к остальной природе в виде реальных существ и принимать слова за вещи. Из отвлеченного слова *душа* они сделали лицо, обитающее в нашем теле; они разделили это лицо на три, и так называемые философы сказали, что число три— совершенно, потому что состоишь из единства и двойственности. Из этих трех частей одна, по их мнению, управляет пятью чувствами, и они назвали ее *психией*; другая обитает в груди и называется *пневмой*, дыханием, духом; третья находится в голове — это мысль, или *мы*. Из этих трех душ они сделали четвертую, посмертную — это *ския*, тень.

Дошли, наконец, до того, что нет взаимопонимания, когда произносят слово *душа*; оно дало повод к тысяче вопросов, заставляющих ученых молчать и дающих повод шарлатанам говорить. Происходят ли, говорят они, все эти души от первого мужчины, созданного вечным Демиургом, или от первой женщины? Или же они созданы все разом в другом месте, чтобы сходить по очереди на Землю? Состоит ли их вещество из эфира или из огня, или ни из того, ни из другого? Жена или муж дает душу в производительном веществе? Сходит ли она в утробу матери до или после того, как обра-

зовались члены младенца? Чувствует ли она? Мыслит ли она в оболочке, в которой заключен плод? Увеличивается ли ее существо по мере того, как увеличивается тело? Неужели нет никакой разницы между душой Орфея и душой идиота? Когда эта душа, наконец, вышла из матки, в которой она пробыла девять месяцев между пузырем, наполненным мочой, и грязной кишкой, наполненной фекальными массами, осмеливаются еще спрашивать, явилась ли эта личность в эту клоаку с полным познанием бесконечности, вечности, отвлеченного и конкретного, прекрасного, доброго, справедливого, порядка?

Затем спорят о том, всегда ли мыслит это несчастное создание, как будто можно думать в глубоком, спокойном сне, в глубоком опьянении, при полном уничтожении мысли, происходящем от полной апоплексии, или в эпилептическом припадке. Сколько нелепых споров о красках между всеми этими слепыми! Наконец, что делается с душой, когда тело уже не существует? Великие учители человечества — Орфей и Гомер — сказали: «Она делается скией, тенью». Улисс у входа в ад видит тени, которые лижут кровь и пьют молоко в яме. Колдуны и колдуньи умеют вызывать тени умерших; тени выходят из Земли. Есть души, печень которых клюют коршуны; другие постоянно гуляют под деревьями, и это есть высшее блаженство, рай Гомера. Порядочных людей не удовлетворяли эта бесчисленные глупости. Что касается меня, то я решился прибегнуть к Богу и сказать ему: «Тебе, неограниченный властитель природы, обязан я всем;

ты даровал мне Способность чувствовать и мыслить, так же, как способность переваривать пищу и ходить. Благодарю тебя за все и не допытываюсь у тебя о твоей тайне». Молитва эта, по моему мнению, гораздо разумнее, чем тщетные и нескончаемые споры о психее, пневме, разуме и тени.

Калликрат. Если ты думаешь, что Бог заменяет нам душу, значит, ты — не что иное, как машина, которой управляет Бог; ты видишь все в нем и он действует в тебе. Находишь ли ты, говоря по совести, эту систему лучшей, нежели наша?

Эвгемер. Я предпочитаю доверять Богу, нежели самому себе. Некоторые философы думают так же, как я, и их незначительное число заставляет меня думать, что они правы. Они утверждают, что работник должен быть господином своей работы, и что ничто не может произойти в природе, что не было бы подчинено Высшему Художнику.

Калликрат. Как! Ты осмеливаешься говорить, что Бог беспрестанно занят тем, чтобы управлять этими машинами?

Эвгемер. Упаси меня Бог! Вот каким образом во всех спорах заставляют своего противника говорить то, чего он не говорил. Я, наоборот, утверждаю, что Вечное Высшее Существо установило в течение вечности свои законы, которые всегда будут исполняться всеми созданиями. Бог повелел однажды, и мир повинуется всегда.

Калликрат. Я очень боюсь чтобы мои теологи-эпикурейцы не обвинили тебя в том, что ты делаешь Бога создателем греха, ибо если он одушевляет тебя и ты совершаешь грех, то ведь это он его совершает.

Эвгемер. Это — упрек, который можно сделать всем сектам, за исключением атеистов. Всякая секта, признающая полноту божественного всемогущества, взваливает на него все преступления, которые Бог не пресекает. Она говорит Богу: «Господи, Владыка всего сущего, ты должен устранять всякое зло; твоя вина, если ты впускаешь неприятеля в построенную тобою крепость». Бог отвечает ей: «Дочь моя, я не могу допускать противоречия: если бы зло не существовало, когда существует добро, то это было бы противоречием; противоречием было бы и то, если бы огонь, раз он существует, не мог воспламенять; если бы вода, раз она существует, не могла потопить животного».

Калликрат. Ты находишь это решение вопроса удовлетворительным?

Эвгемер. Я не знаю лучшего.

Калликрат. Берегись; тебе скажут, что поклонники богов рассуждали более последовательно в Египте и в Греции, когда выдумали Тартар, где наказывались преступления. Это все-таки оправдание божественной справедливости.

Эвгемер. Странный способ оправдывать богов! Да еще каких богов! Прелюбодеев, человекоубийц, кошек и крокодилов! Главное, что надо узнать, — это почему зло существует. Разве греки и египтяне объясняют его причину? Изменяют его природу? Смягчают ужасы, представляя нам ряд преступлений и вечных мук? Разве эти боги не выказали себя извергами, заставив родиться Тантала для того, чтобы он съел своего собственного сына с приправой и чтобы на другой день

терзался голодом, находясь перед обильными яствами, и так в течение бесконечного ряда веков? Другой царь беспрерывно вертит колесо, окруженное змеями; сорок девять дочерей какого-то царя зарезали своих мужей и навеки осуждены наполнять водой бездонный колодезь. И все эти осужденные на муки люди могли бы никогда не жить: так легко было избавить их от существования, от преступлений, от мучения. Ваши греки представляют своих богов тиранами и бессмертными палачами, беспрерывно занятыми тем, чтобы создавать несчастных, осужденных совершать временные преступления, за которые должны переносить вечные муки. Сознайся, что эта теология дьявольская. Теология эпикурейцев более человечна; но я осмеливаюсь думать, что моя — более божественна: мой Бог — ни сладострастный тунеядец, как боги Эпикура, ни кровожадное чудовище, как боги Египта и Греции.

Калликрат. Твой Бог мне нравится более всех других; но у меня остается еще очень много сомнений. Я попрошу тебя избавить меня от них в нашей будущей беседе.

Эвгемер. Я никогда не выскажу тебе моих мнений иначе, как в виде предположений.

Диалог четвертый. — Бог, который действует, не лучше ли богов Эпикура, которые ничего не делают

Калликрат. Я убежден в том, что все: Земля, все, что ее окружает, люди и животные и все, что вне нас, одним словом,— Вселенная — не создалось само собой и что во всем царствует бесконечное искусство. Я с почтением принимаю идею единого создателя, верховного Владыки, которого эпикурейцы не признают. Я полагаю, что этот властитель природы во многих отношениях походит на бога Тимея, на бога Оцелла Лукана и Пифагора; он не создал материю из ничего, ибо ничто, как ты знаешь, не имеет свойств: ничто не приходит из ничего, ничто ни к чему не возвращается. Я понимаю, что все существующее есть эманация этого Бога, который один только существует сам собой и который все сотворил. Он все устроил согласно мировым законам, исходящим из его премудрости и всемогущества. Я признаю большую часть твоей философии, хотя она возмущает большинство наших мудрецов; но два больших затруднения останавливают меня. Мне кажется, что ты делаешь своего Бога недостаточно свободным, недостаточно справедливым. Он не свободен, так как он есть необходимое Существо, из которого неизбежно вышло все сущее; он не справедлив, так как большинство хороших людей терпит преследования при жизни, и ты не говоришь мне, что им воздается должное, ко-

гда они умирают, и что негодяи наказываются после смерти. Греческая и египетская религия имеют большое преимущество перед твоей религией: они придумали наказания и награды. Мне кажется, что это — единственный способ руководить людьми: зачем ты пренебрегаешь им?

Эвгемер. Я сейчас отвечу тебе относительно свободы, а потом и относительно справедливости. Быть свободным — это значит делать, что хочешь, и, конечно, Бог сделал все, что он хотел. Он соблаговолил сообщить нам часть этой удивительной свободы, которой мы пользуемся, когда мы действуем согласно нашей воле. Он распространил благость свою и на животных, которые также делают, что хотят, соразмерно своим силам. Хотя Бог весьма могущественен и свободен, но не до бесконечности; ибо, несмотря на все, что говорят геометры, я не знаю, что такое действительная бесконечность. Я скажу тебе только, что Бог не волен делать невозможное, так как это было бы противоречием; он не может сделать так, чтобы в треугольнике Пифагора сумма квадратов катетов была больше или меньше квадрата гипотенузы, так как это было бы противоречием. Это приблизительно то же, что я уже говорил тебе раньше: Бог так совершенен, что он не имеет возможности делать зло.

Что касается его справедливости, то ты стал бы смеяться надо мной, если бы я стал говорить об аде греков. Их пес Цербер, лающий своими тремя пастями, их три Парки, три Эвмениды — такой вздор, что над ними потешаются дети. Бог не являлся мне, не показывал мне Александра, бичуемо-

го в аду фуриями за то, что он умертвил Каллисфена, я не видел Каллисфена за столом с Богом на десятом небе, получающим нектар из рук Гебы. Бог дал мне достаточно разума, чтобы я убедился в его существовании, но не дал мне достаточно острого зрения, чтобы видеть то, что происходит на берегах Флегетона и в Эмпирее. Я благоговейно молчу относительно наказаний, которые он налагает на преступников, и относительно наград праведников. Я могу только сказать тебе, что никогда не видел злого человека счастливым, но зато видел очень много хороших людей несчастными; это меня сердит и смущает; но эпикурейцы не в меньшем затруднении, нежели я. Они, как и я, должны страдать при виде торжествующего порока и попранной ногами порочных людей добродетели. Разве не иметь никакой надежды — такое уж большое утешение для таких хороших людей, как эпикурейцы?

Калликрат. Эти эпикурейцы имеют над тобой значительное преимущество. Им не приходится делать упрека Высшему Существу, праведному Богу, оставляющему добродетель без помощи: они признали богов только из приличия, чтобы не смутить афинскую чернь; но они не делают их творцами, судьями и палачами людей.

Эвгемер. Разве твои эпикурейцы более любят людей, дают более прочную основу добродетели, утешают нас более в наших несчастиях, когда признают бесполезных богов, занятых лишь тем, чтобы пить и есть? Увы! Какая польза в том, что в каком-то уголке Сицилии есть кучка двуногих животных, которые хорошо или худо рассуждают о Провидении?

Чтобы узнать, будем ли мы счастливы или несчастны после смерти, мы должны прежде знать, остается ли от нас что-либо чувствующее, когда все органы чувств разрушены; что-либо мыслящее, когда мозг, где образовывалась мысль, съеден червями, и когда эти черви и этот мозг обратились в прах; может ли еще существовать какая-либо способность или какое-либо свойство животного после того, как это животное уже не существует? Это — задача, которую ни одна еще секта не могла разрешить и смысла которой никто не может понять.

Ибо если за столом кому-нибудь случится спросить: «Сохранил ли заяц, подаваемый в эту минуту на стол, способность бегать? Не утратил ли этот голубь способности летать?» — то эти вопросы покажутся нелепыми и вызовут смех. Почему? Потому что противоречие, невозможность бросаются в глаза. А мы уже видели, что Бог не может делать ничего невозможного, противоречивого. Но если в разумное животное, называемое человеком, Бог вложил невидимую, неощутимую искру, какой-то элемент, нечто менее осязаемое, нежели атом элемента, то, что греческие философы называют монадой; если эта монада неразрушима, если она думает и чувствует в нас, — то я не вижу нелепости в словах: «Эта монада может существовать, может иметь идеи и чувства, когда тело, одушевляемое ею, будет разрушено».

Калликрат. Сознайся, что если существование этой монады не совершенный абсурд, все же признание ее существования очень рискованно, и что нельзя строить свою философию на предположениях. Если бы можно было сделать

из атома бессмертную душу, то сделать это имели бы право прежде всего эпикурейцы, так как они открыли атомы.

Эвгемер. Поистине, я и не выставлял тебе мою монаду как доказательство; но я представил ее тебе как греческую выдумку, показывающую, хотя и несовершенным образом, как некая невидимая и существенная частица нас самих могла бы, после нашей смерти, быть наказанной или награжденной, плавать в блаженстве или терпеть мучения. Но я все-таки, с моими рассуждениями и предположениями, не знаю, могу ли я найти справедливую меру в наказаниях, которым Бог подвергнул бы людей после смерти; так как мне могут сказать: «Не он ли, создав людей, побудил их делать зло? За что же тогда наказывать их?». Есть, может быть, иные способы оправдывать Провидение; но мы не можем знать их.

Калликрат. Итак, ты сознаешься, что не знаешь наверное, что такое душа, о которой ты говоришь, или этот Бог, которого ты проповедуешь?

Эвгемер. Да, я со смирением и горестью сознаюсь: я не могу знать их сути, я не знаю и как образуется моя мысль, я не могу представить себе облик Бога. Я — невежда.

Калликрат. И я тоже. Будем же утешаться тем, что и все люди — такие же невежды, как и мы.

Диалог пятый. — Бедные люди, роющие яму в бездне. Инстинкт как принцип всякого действия в мире животных

Калликрат. Если ты ничего не знаешь, то я умоляю тебя сказать мне то, что ты предполагаешь. Ты еще не вполне высказался. Сдержанность показывает недоверие; а неискренний философ уже не философ, а политик.

Эвгемер. Я недоверчив только к самому себе.

Калликрат. Говори, говори; иногда, стараясь угадать, случайно нападешь на истину.

Эвгемер. Ну так вот что мне приходит в голову: люди всех времен, всех стран никогда не могли сказать ничего путного о том, о чем ты меня спрашиваешь; мне думается даже, что совершенно бесполезно знать все это.

Калликрат. Как бесполезно! Я нахожу, наоборот, что нам необходимо знать, есть ли у нас душа и из чего она сделана? Разве не было бы для нас большим удовольствием ясно видеть, что сила души отлична от ее сущности, что она есть все и вполне обладает способностью чувствовать, так как она есть *форма* и *энтелехия*, как отлично сказал Аристотель; а главное, что *совесть* не есть *обычная сила*?

Эвгемер. Это все великолепно; но такое высшее знание, по-видимому, нам недоступно. Конечно, оно для нас не необходимо, если Бог не дал нам его. Мы обязаны ему всем,

что может служить нам руководством в жизни: разум, инстинкт, способность давать импульс движению, способность давать жизнь существу нашего вида. Первая из этих способностей отличает нас от прочих животных; но Бог не открыл нам, каково ее начало; следовательно, он не хотел, чтобы мы это знали. Мы не можем даже угадать, почему мы двигаем пальцем, когда хотим, каково соотношение между этим маленьким движением одного из наших членов и нашей волей. Между тем и другим есть бесконечность. Хотеть выпытать у Бога его тайну, желать узнать то, что он скрыл от нас — это, по-моему, нечто вроде нелепого богохульства.

Калликрат. Как! Я никогда не узнаю, что такое душа? И мне никто не докажет, что она у меня есть?

Эвгемер. Нет, друг мой.

Калликрат. Так скажи же мне, что такое наш инстинкт, о котором ты только что говорил? Ты сказал, что Бог одарил нас не только разумом, но и инстинктом: мне казалось, что эту способность приписывают исключительно животным и даже толком не знают, что это такое. Одни говорят, что это — душа, отличная от нашей; другие думают, что это та же душа с другими органами; некоторые фантазеры утверждали, что это — не что иное, как машина. А ты... что ты об этом думаешь?

Эвгемер. Я воображаю, что нам, так же как и животным, Бог дал все и что животные гораздо счастливее наших философов. Они не мучают себя вопросами о том, чего Бог не хочет, чтобы они знали. Их инстинкт вернее нашего; они

не строят систем по поводу того, что сделается с их способностями после смерти: никогда пчела не имела глупости проповедовать в улье, что ее жужжание будет некогда переплывать Стикс в лодке Харона и что ее тень отправится делать воск в Елисейские поля. Только наше извращенное воображение могло придумать такие басни.

Наш инстинкт гораздо умнее, хотя и ничего не знает. Благодаря ему ребенок сосет грудь, не зная, что образует пустоту в своем рте, что эта пустота заставляет молоко из груди переливаться в его желудок: все эти действия — суть действия инстинкта. Как только ребенок имеет немного силы, он протягивает руки перед головой, когда падает. Если он хочет перепрыгнуть канаву, он старается приобрести новую силу посредством разбега, не узнав наперед, каково будет произведение его тяжести, помноженной на скорость. Если он увидит большой кусок дерева, плавающий на поверхности ручья, он встанет на него, чтобы переплыть на другой берег, не подозревая того, что объем этого куска вместе с объемом его тела весит менее, чем вытесняемый им объем воды. Если он хочет поднять камень, он воспользуется палкой как рычагом, хотя, конечно, не знает теории движущих сил. Даже те действия, которые кажутся в нем проявлением разума, просвещенного знанием, — по-настоящему лишь проявления этого инстинкта. Ребенок не знает еще, что такое лесть; а между тем он льстит тому, от кого хочет получить желаемое. Если он видит, что бьют другого ребенка, и если видит льющуюся кровь, он кричит, плачет, зовет на помощь без всякого отношения к самому себе.

Калликрат. Определи же, что такое этот инстинкт, примеры которого ты сейчас приводил.

Эвгемер. Это — всякое чувство и всякое действие, предшествующее рассуждению.

Калликрат. Но ведь ты говоришь о каком-то таинственном свойстве, а ты знаешь, что над этими свойствами, которые так любили некоторые греческие философы, теперь смеются.

Эвгемер. Напрасно. Надо уважать эти таинственные свойства, ибо все в мире — от былинки, притягиваемой янтарем, до пути, по которому светила движутся в пространстве; от образования червячка в сыре до Млечного Пути; от падающего камня до движущейся по небу кометы, — является действием таинственной силы. Это словосочетание есть признание нашего неведения: великий строитель мира дал нам возможность измерить, взвесить, вычислить некоторые из своих творений; но он не позволяет нам доискиваться до первичных двигателей. Уже халдеи подозревали, что не Солнце вращается вокруг планет, а напротив — планеты вращаются вокруг него по разным орбитам; но я сомневаюсь, чтобы когда-либо люди узнали, какая тайная сила влечет их с запада на восток. Люди будут исчислять падение тел; но найдут ли первичную силу, которая заставляет их падать? Мужчины достаточно давно уже практикуются в производстве детей; но они не знают, как это делают их жены: наш знаменитый Гиппократ открыл относительно этой важной тайны лишь то, что знают наши повивальной бабки. Люди во веки вечные будут спо-

рить о физических и нравственных свойствах, а инстинкт всегда будет управлять всем на Земле, так как страсти суть продукты инстинкта, а страсти будут господствовать всегда.

Калликрат. Если это так, то твой Бог есть бог зла; он заставил вас родиться лишь затем, чтобы предоставить нас этим пагубным страстям: это все равно, что создавать людей для того, чтобы отдавать их во власть дьявола.

Эвгемер. Вовсе нет. Есть страсти очень хорошие, и он дал нам разум, чтобы управлять ими.

Калликрат. Но что такое этот слабый разум? Уж не скажешь ли ты, что это еще какой-нибудь инстинкт?

Эвгемер. Вроде того: это — необъяснимый дар сравнивать прошедшее с настоящим и заботиться о будущем. Вот происхождение всякого общества, всякого учреждения, всякого порядка. Этот драгоценный дар есть следствие другого столь же непостижимого дара Божьего — памяти, другого инстинкта, общего у нас с животными, но имеющегося у нас в столь превосходной степени, что животные должны бы были считать нас богами, если бы не пожирали нас иногда.

Калликрат. Понимаю, понимаю. Бог занимается тем, что заставляет молодых лисиц вспоминать, что отец их попался в капкан, и эти лисицы инстинктивно избегают капкана, бывшего причиной смерти их отца. Бог следит за тем, чтобы сиракузяне помнили, что наши два Диониса правили очень скверно, и внушает нашему разуму республиканский образ правления. Он устремляется к собаке пастуха, чтобы сказать ей, что она должна загнать овец, чтобы спасти их от волков,

которых он создал нарочно, чтобы они ели овец. Он делает все: устраивает, расстраивает, исправляет и совершенно напрасно суетится. Это — *физическая премоция*, *предопределяющий декрет*, *действие* Бога на создания.

Эвгемер. Или ты меня плохо понял, или подсмеиваешься надо мной. Я вовсе не говорю, что властитель природы вмешивается в подробности, хотя и думаю, что никакая мелочь не могла бы ни утомить его, ни унизить. Я думаю, что он установил общие, незыблемые, вечные законы, которым люди и животные всегда будут подчиняться: я высказал это достаточно ясно. Диагор[9], автор сочинения «Система Природы», в своей длинной рацее говорит почти то же самое. Вот что сказано в IV главе II тома этого сочинения: «Ваш Бог вечно занят тем, что производит и разрушает; следовательно, его нельзя называть незыблемым по отношению к его образу существования». Диагор утверждает, что мы таким образом составляем нашего Бога из противоречивых качеств. Он называет его ужасным и нелепым пугалом; но я позволю себе заметить ему, что такие серьезные вопросы нельзя решать так смело. Производить и разрушать регулярно в течение веков, сообразно с постоянными законами — это не значит изменяться случайно; это, наоборот, значит быть всегда подобным самому себе. Бог дает жизнь и смерть; но он дает их всем. Он сделал жизнь и смерть необходимыми; он неизменен, вечно выполняя этот план творения, управляя всегда одинаковым образом. Если бы он дал некоторым людям способность жить вечно, то тогда можно было бы сказать, что

он не неизменен; но когда все родятся и умирают, то неизменность его делается вполне доказанной.

Калликрат. Я сознаюсь, что в этом отношении Диагор ошибается; но разве он не прав, когда упрекает некоторых греков в том, что они представляют Бога бессмысленно тщеславным, говоря, что он сотворил мир для своей славы, для того, чтобы ему воздавали хвалы; представляя его существом жестоким и мстительным, наказывающим за незначительные проступки вечными муками, отцом несправедливым и ослепленным, который по своей прихоти покровительствует некоторым из своих детей, других же обрекает на бесконечное несчастие; который делает нескольких старших добродетельными, чтобы наградить их за их добродетель, к которой они были вынуждены, а огромное множество младших детей делает негодяями, чтобы наказать их за преступления, которых они не могли не совершить. Одним словом, разве не прав Диагор, обвиняя их в том, что они сделали из Бога нелепое пугало и кровожадного тирана?

Эвгемер. Бог мудрецов вовсе не таков, это — бог некоторых жрецов сирийской богини, являющихся позором и ужасом человечества.

Калликрат. Ну, так определи же наконец твоего Бога так, чтобы не оставалось никаких сомнений.

Эвгемер. Мне кажется, я уже доказал тебе его существование путем следующего непобедимого аргумента: мир есть удивительное творение; следовательно, есть еще более удивительный творец его: разум заставляет принять его, безумие силится определить его.

Калликрат. Это значит — ничего не знать, и говорить так — все равно, что кричать беспрестанно: «Здесь есть нечто превосходное, но я не знаю, что это такое».

Эвгемер. Вспомни тех двух путешественников, которые, пристав к острову, нашли там геометрические фигуры, начертанные на песке: «Мы спасены, — сказали они, — вот следы человека». Мы же, стоики, смотря на Вселенную, говорим: «Вот следы Бога».

Калликрат. Покажи нам эти следы, прошу тебя.

Эвгемер. Разве ты не видел их всюду? А разум, а инстинкт, которыми мы одарены,— разве это не очевидные дары великого неведомого Существа? Ведь они происходят не от нас самих и не от того комка грязи, на которой мы живем.

Калликрат. Хорошо! Размышляя обо всем, что ты сказал, и несмотря на все сомнения, которые распространенное на Земле зло рождает в моем уме, я все-таки утверждаюсь в мысли, что Бог управляет нашим земным шаром. Но не думаешь ли ты, как греки, что каждая планета имеет своего бога: что Юпитер, Сатурн и Марс господствуют на планетах, носящих их имена, так же, как цари египетские, персидские и индийские царствуют каждый над своей страной?

Эвгемер. Я уже говорил тебе, что этому не верю, и вот по какой причине. Солнце ли движется вокруг всех наших планет, как это думает народ, который верит только своим глазам, Земля ли и планеты вращаются вокруг Солнца, как то предполагают новые халдеи[10] и что представляется несравненно более правдоподобным, верно без сомнения то, что те

же потоки света, посылаемые непрерывно Солнцем до Сатурна, достигают этих планет в период времени, пропорциональный их расстоянию от него. Несомненно и то, что эти лучи света отражаются с поверхности Сатурна на нас и от нас на него с неизменно одинаковой скоростью. Такой громадный механизм, такое быстрое и единообразное движение между столь безмерно отдаленными мирами — все это, по-видимому, установлено одним единым Провидением. Если существует несколько одинаково могущественных богов, то или у них будут разные цели или одна единая цель: в первом случае возникнет хаос, а во втором это будет все равно, что один Бог; и нет надобности бесполезно увеличивать число богов.

Калликрат. Но если Великий Демиург, Высшее Существо, сотворило других низших богов, чтобы править по его усмотрению; если он доверил Солнце своему кучеру Аполлону, одну планету — прекрасной Венере, другую — Марсу, моря — Нептуну, воздух — Юноне, то разве тебе такая иерархия кажется смешной?

Эвгемер. Конечно, здесь нет ничего несовместимого. Конечно, может быть, что Высшее Существо населило небеса и стихии стоящими выше нас существами: это — такое обширное поле для нашей фантазии, что все народы приняли эту идею. Но, верь мне, мы примем этих воображаемых полубогов лишь тогда, когда существование их будет доказано. Я своим разумом признаю во Вселенной лишь одного Бога, которого этот разум доказал мне. Я знаю, что он есть, не зная, каков он: ограничимся рассмотрением его творений.

Диалог шестой. — Объяснил ли нам Платон и Аристотель Бога и образование мира

Калликрат. Прежде всего, скажи мне, каким образом Бог сотворил Вселенную? Какую систему построил ты относительно этого великого дела?

Эвгемер. Моя система относительно сотворения мира — полное неведение.

Калликрат. Но если ты сознаешься, что ничего не знаешь о тайне Бога, ты, по крайней мере, скажешь мне, что ты думаешь о тех, которые утверждают, что знают ее, как если бы побывали у него в лаборатории? Узнал ли ты что-нибудь благодаря Платону и Аристотелю?

Эвгемер. Они научили меня только не доверять тому, что они писали. Ты знаешь, что у нас в Сиракузах живет семейство Архимедов, занимающихся практической физикой, которую изучал их отец: вот наука, поистине основанная на опыте и на геометрии. Это семейство пойдет далеко, если будет продолжать в том же духе. Но я очень удивился, узнав, что и божественный Платон также захотел использовать свои скудные познания в геометрии для того, чтобы придать некоторую тень правдоподобия своим фантазиям. По его мнению, Бог задумал расположить четыре стихии в виде пирамиды, куба, восьмигранника, десятигранника, а главное, как он говорит, двенадцатигранника; пирамида вследствие

своей остроконечной формы сделалась местопребыванием огня; воздух поместился в восьмиграннике; десятигранник сделался вместилищем воды, куб, по праву, по своей устойчивости достался на долю Земли; но двенадцатигранник является триумфом Платона. Эта фигура своими двенадцатью сторонами представляет собой зодиак, состоящий из двенадцати животных: его двенадцать сторон могут быть разделены на тридцать частей, представляющих собой очевидно 360 градусов круга, пробегаемого Солнцем в течение года.

Платон заимствовал все эти прекрасные вещи слово в слово от Тимея Локрийского. Тимей заимствовал их от Пифагора, а Пифагор, как говорят, от браминов. Трудно довести шарлатанство до более крайних пределов; однако Платон превзошел еще самого себя, прибавив, что Бог, посоветовавшись со Словом,— т. е. со своим разумом, который Платон называет сыном Бога,— создал мир, состоящий из Земли, Солнца и планет. Он обожествил его, дав ему душу — все это вместе и составило знаменитую троицу Платона. Почему же этот мир — Бог? Потому что он шарообразен, а шар есть самое совершенное из тел. Платон объясняет все совершенства и несовершенства этого мира с такой же легкостью, будто он сам создал его. В особенности удивительной ясностью отличается ею доказательство бессмертия души в его «Федоне»: «Ты говоришь, что смерть есть противоположность жизни? — Да.— И что они рождаются одна от другой? — Да.— Что родится от живого? — Мертвый.— А что родится от мертвого? — Живой. — Значит, все мертвые родятся от живых?

Следовательно, души людей находятся в загробном мире после их смерти? — Следовательно, это так».

Именно так Платон заставляет рассуждать Сократа в диалоге «Федона». История говорит, что Сократ, прочитав это сочинение, воскликнул: «Сколько глупостей заставляет меня говорить наш друг Платон!» Если бы Богу указали на все то, что этот грек ему приписывает, он наверное сказал бы: «Сколько глупостей заставляет меня делать этот грек!»

Калликрат. Действительно, Бог имел бы полное основание поднять его на смех. Я перечитывал вчера его диалог под заглавием «Пир». Я очень смеялся, прочитав, что Бог создал мужчину и женщину, связанных вместе пупком, и что тем не менее один находился за спиной другого. У обоих вместе был лишь один мозг, и у каждого было по лицу. Оно называлось андрогином: это животное так гордилось тем, что имеет четыре руки и четыре ноги, что захотело воевать с небом, как Титаны. Бог, чтобы наказать его, разрубил его пополам, и с этого времени каждая половина бегает за другой своей половиной, которую редко находит. Надо сознаться, что идея одной половины, бегающей за другой, весьма остроумна и забавна; но разве эта шутка достойна философа? Басня о Пандоре гораздо красивее и лучше объясняет причину заблуждений и несчастий человечества. Скажи мне теперь, что ты думаешь о системе Аристотеля, так как я вижу, что система Платона тебе не нравится.

Эвгемер. Я видел Аристотеля; мне показалось, что он обладает более обширным и солидным умом, нежели его учи-

тель Платон, и более сведущим. Он первый возвел рассуждение на степень искусства. Его новый метод был необходим. Я сознаюсь, что для хорошо организованных умов этот метод бесполезен и утомителен; но он очень полезен для выяснения двусмысленных положений софистов, которыми кишит Греция. Он расчистил громадное поле для естественной истории. Его история животных — прекрасное сочинение, а что меня более всего удивляет, так это то, что мы ему же обязаны лучшими правилами поэтики и риторики. Он говорит о них лучше Платона, который так много воображает о своем литературном таланте. Аристотель, как и Платон, допускает Высшее Существо, вечное, неделимое, незыблемое. Не знаю, прав ли он, говоря в доказательство того, что небо совершенно, что оно содержит совершенные вещи. Вероятно, он хочет сказать, что планеты, находящиеся на небе, содержат богов, и в этом он снисходит до низменного суеверия греков, которые думают, что на планетах обитают боги, или которые скорее говорят это не думая. Он утверждает, что мир един. В доказательство этого мнения он приводит то, что если бы было два мира, то Земля одного мира непременно пошла бы отыскивать Землю другого мира, и что эти Земли неминуемо сошли бы со своих мест. Это мнение доказывает, что он так же, как и мы, не знал, вращается ли Земля вокруг Солнца, как вокруг центра, и какая сила удерживает ее на том месте, которое она занимает. У народов, которых мы называем варварами, есть философы, открывшие эти истины, и я скажу тебе между прочим, что греки, хвастающи-

еся тем, что они учат другие народы, еще может быть недостойны и слушать-то этих так называемых варваров.

Калликрат. Ты изумляешь меня; но продолжай.

Эвгемер. Аристотель думает, что свет, в том виде, как он нам представляется, вечен, в упрекает Платона за то, что он объявил мир сотворенным и нетленным. Ты, конечно, согласишься со мной, что они спорили о тени осла, которая не принадлежит ни тому, ни другому. Звезды, говорит Аристотель, имеют одну природу с телом, которое носит их, они разве только плотнее его. Они — источник света и тепла для Земли, так как посредством быстрого трения о воздух производят теплоту, подобно тому, как сильное движение воспламеняет дерево и расплавляет свинец. Как видишь, это не совсем-то хорошая физика.

Калликрат. Я вижу, что нашим грекам еще долго придется учиться у твоих варваров.

Эвгемер. Мне досадно, что, объявив мир вечным, Аристотель после этого говорит, что стихии не вечны: понятно, что если мой сад вечен, то и Земля моего сада тоже вечна. Аристотель утверждает, что стихии не могут существовать всегда, потому что постоянно преобразуются одна в другую. Огонь, как говорит он, превращается в воздух; воздух превращается в воду, а вода в Землю; но хотя эти стихии постоянно изменяются, состоящий из них мир существует вечно. Я сознаюсь, что я не верю вместе с ним, чтобы воздух превращался в огонь, а огонь в воздух; мне также трудно понять то, что он говорит о зарождении и о разложении. «Всякое раз-

ложение,— говорит он,— следует за зарождением: это разложение есть конечный предел, а зарождение — предел начальный». Если он хочет сказать этим, что все, что родилось, разрушается при смерти, то это — лишь заурядная истина, о которой не стоит говорить, а тем более — с таинственным видом провозглашать ее.

Калликрат. Я боюсь, что он думает то, что думает глупый народ, а именно,— что все семена должны сгнить и умереть, чтобы дать ростки. Это было бы недостойно мудрого наблюдателя, подобного ему. Ему стоило только рассмотреть хлебное зерно, недавно положенное в Землю. Он нашел бы его свежим, упитанным, утвердившимся на своих корнях и не носящим никаких следов разложения. У человека, говорящего, что хлеб происходит от разложения, совершено неправильное суждение, извинительное только у невежественных крестьян долины Нила, которым показалось, что они видят крыс, состоящих наполовину из Земли; тогда как то были просто крысы, вымазанные илом.

Эвгемер. Так отрекись же от твоего Эпикура, построившего свою философию на этой нелепой ошибке. Он утверждал, что люди произошли вначале от гниения, как египетские крысы, и что грязь была как бы их богом-создателем.

Калликрат. Мне немного стыдно за него; но, прошу тебя, вернись к Аристотелю. У него мне кажется, как и у всех людей, ко многим заблуждениям примешивается несколько истин.

Эвгемер. Увы! Он так их смешивал, что, говоря о животных, родившихся случайно, сказал буквально следующее:

«Когда естественное тепло выгнано вон, тогда то, что отделяется от гниения, старается соединиться с маленькими молекулами, готовыми воспринять жизнь при помощи действия Солнца. Таким образом зародились черви, осы, блохи и другие насекомые». Я уже благодарен ему по крайней мере за то, что он не поставил человека в ряду этих ос и блох, рожденных так случайно. Я вполне одобряю все, что он говорит об обязанностях человека. Мораль его кажется мне столь же прекрасной, как его риторика и его поэтика; но я не мог следовать за ним в том, что он называет своей метафизикой, а иногда — своей теологией. Существо, которое есть только существо, единственная субстанция, имеющая лишь одну сущность, десять категорий — все это показалось мне бесполезными тонкостями; да это вообще в духе греков, за исключением Демосфена и Гомера. Первый представляет своим слушателям лишь сильные и яркие доводы; второй дает читателю лишь грандиозные картины; но большинство греческих философов занято более словами, чем вещами. Они окружают себя множеством определений, ничего не определяющих; различий, ничего не выражающий; объяснений, ничего не объясняющих.

Калликрат. Так сделай то, чего они не сделали: объясни мне о душе то, чего Аристотель не объясняет.

Эвгемер. Я скажу тебе то, что они говорят, не объясняя, и я тебя уверяю, что ты меня не поймешь, потому что я и сам себя не буду понимать: «Душа есть нечто весьма легкое; она сама не движется — ее двигают предметы. Она не есть, как многие предполагали, гармония, так как она постоянно ис-

пытывает дисгармонию противоположных чувств. Она не распространена всюду, так как мир полон неодушевленных предметов; она есть энтелехия, заключающая в себе начало и действие, имеющая в своей власти жизнь. Вот что заставляет нас жить, чувствовать и думать».

Калликрат. Сознаюсь, что если бы после этого разговора я встретил одну только душу (без тела), то не мог бы узнать ее. Увы! Чему научила бы меня греческая душа с ее непонятными тонкостями? Я предпочел бы поучиться у тех философов-варваров, о которых ты говорил. Не будешь ли ты так добр научить меня мудрости гуннов, готов и кельтов.

Эвгемер. Я постараюсь сообщить тебе то немногое, что узнал об этом.

Диалог седьмой. — О философах, процветавших у варваров

Эвгемер. Так как ты называешь варварами всех тех, которые не жили в Афинах, в Коринфе или в Сиракузах, то я повторяю тебе, что среди этих варваров есть гении, которых ни один грек еще не в состоянии понимать и у которых мы все должны бы учиться.

Первый, о ком я должен тебе рассказать, это какой-то гунн или сармат, живший в стране Киммерийской, на северо-запад от Рифейских гор. Его звали Перконик[11]. Этот человек угадал и доказал настоящую систему мира, о которой

халдеи имели когда-то смутное и недостаточное представление. По этой системе выходит так, что когда мы говорим, что Солнце восходит и заходит, что наша маленькая Земля — центр веселенной, что все планеты, все неподвижные звезды, все небо вертятся вокруг нашего крошечного обиталища — мы говорим чистый вздор. И действительно, мыслимо ли, чтобы столько светил, отстоящих от нас на миллионы миллиардов стадий и в несколько миллиардов раз большие, чем Земля, были созданы лишь для того, чтобы услаждать наш взор ночью и кружиться вокруг нас в бешеной двадцатичетырехчасовой пляске в необъятном пространстве для нашего удовольствия. Эта нелепая басня основана на двух недостатках человеческой природы, которых ни один греческий философ не мог исправить: на слабости нашего зрения и на нашей пустой гордости.

Нам кажется, что звезды и Солнце движутся, потому что наше зрение плохо; и мы думаем, что все это сделано для нас, потому что мы тщеславны. Мой сармат Перконик доказал свою систему прежде, чем обнародовать ее письменно. Он не побоялся злобы друидов, утверждавших, что эта истина сильно повредит вере в их священную омелу. Настоящие ученые сделали ему замечание, которое могло бы смутить человека, менее твердо убежденного, нежели он. Он утверждал, что Земля и планеты совершают свое периодическое обращение вокруг Солнца в разные промежутки времени. «Мы ходим,— говорил он,— Венера, Меркурий и мы — вокруг Солнца, каждый по своему кругу». — «Если бы это было так, —

отвечали ему эти ученые, — то Венера и Меркурий должны бы показывать нам фазы, подобные фазам Луны». — «У них и есть фазы, — отвечал сармат, — и вы увидите их, когда у вас будут лучшие глаза». Но он умер раньше, чем смог дать им те «лучшие» глаза, в которых они нуждались.

Еще более великий человек, по имени Лейлига[12], родившийся среди наших соседей этрусков, нашел эти глаза, которые должны были осветить Вселенную. Этот варвар, более образованный, более философски развитый, более искусный, чем все греки вместе взятые, на основании рассказа о детской шалости обточил и приспособил стекла так, что с их помощью увидел новые небеса; он доказал воочию то, что сармат так удачно угадал. Венера показала те же фазы, что и Луна; если фазы Меркурия еще нельзя видеть, то это потому, что он слишком утопает в солнечных лучах. Наш этруск сделал вот что: он открыл новые планеты. Он увидел и другим показал, что это Солнце, которое встает, как говорили, подобно супругу и подобно гиганту, чтобы совершить свой путь[13], никогда не покидает своего места и только вращается вокруг самого себя в двадцать пять с половиной наших дней, как мы вращаемся в двадцать четыре часа. Люди Запада были изумлены открытием этой тайны, о которой на Востоке ничего не знали. Друиды[14] распалились против этруска еще более, чем против сармата; они чуть-чуть не заставили его выпить цикуту, как сделали эти сумасшедшие афиняне с Сократом.

Калликрат. Все, что ты говоришь, просто поражает меня. Отчего же ты мне раньше не сказал всего этого?

Эвгемер. Оттого, что ты меня не спрашивал: ты говорил только о греках.

Калликрат. Я не буду больше говорить тебе о них. Эта Этрурия, у которой такие великие философы, имеет также и поэтов?

Эвгемер. Ее поэты были бы, по-моему, значительно выше Гомера, если бы Гомер не опередил их на несколько веков: прийти первым весьма важно.

Калликрат. Но скажи мне, почему же эти скверные друиды преследовали почтенного мудреца Этрурии Лейлигу?

Эвгемер. По той причине, что они где-то вычитали у Геродота, будто Солнце дважды изменило свой путь в Египте[15]. Если же Солнце изменило свой путь, то, значит, двигалось оно, а не Земля. Но настоящая причина была та, что они ему завидовали.

Калликрат. Завидовали? Почему же?

Эвгемер. Они утверждали, что только друиды могут поучать людей; а их поучал Лейлига, хотя и не был друидом, а это не прощается. Особенно озлобились друиды тогда, когда истины, открытые Лейлигой, были доказаны на опыте в одной соседней республике[16].

Калликрат. Как! В Римской республике? Мне кажется, что до сих пор она мало интересовалась естественными науками.

Эвгемер. Нет, в республике, совсем не похожей на Римскую. Та, о которой я говорю, лежит между Иллирией и Италией. Она не только не похожа на Рим, но даже во многом совершенно противоположна ему, особенно по своему образу

мыслей. Римская республика стремится к завоеванию, а Иллирийская не хочет быть завоеванной. У Рима вообще есть одна странная мания: он хочет, чтобы все думали, как он; иллирийская же слушается только своего разума. Лейлига имел счастье показать мудрецам этого государства все удивительное устройство небес. Он был толкователем Бога перед самыми почтенными мужами Земли. Эта сцена происходила на плоской вершине башни[17], возвышающейся над Адриатикой. Это было необычайно прекрасное зрелище. Здесь изображали природу. Лейлига изображал Землю; глава республики, Сагредо, исполнял роль Солнца. Другие представляли Венеру, Меркурия, Луну. Их заставили идти при свете факелов в том порядке, в каком эти светила движутся на небе. Что же сделали тогда друиды? Они посадили старого философа на хлеб и на воду и заставили его ежедневно читать несколько строчек, которым учат детей, чтобы он искупил этим доказанные им истины.

Калликрат. Афинская цикута хуже. У каждой страны есть, по-видимому, свои друиды. Раскаялись ли этрусские друиды так же, как и афинские?

Эвгемер. Да, теперь они краснеют, когда им говорят, что Солнце не движется; они позволяют думать, что оно есть центр планетной системы, только бы не утверждали эту истину, как факт. Если бы ты стал утверждать, что Солнце стоит все на том же месте, на которое поставил его Бог, то тебя надолго посадили бы на хлеб и на воду и заставили бы громко сознаться в том, что ты — дерзкий богопротивник.

Калликрат. Эти друиды — странные люди.

Эвгемер. Это — древний обычай. У всякой страны свои церемонии.

Калликрат. Я полагаю, что эта церемония несколько отвратила этрусских, готских и кельтских философов от построения систем.

Эвгемер. Нисколько,— так же, как смерть Сократа не остановила Эпикура. После смерти моего этруска северная часть западных стран закишела философами. Это я узнал из моего путешествия в Галлию, в Германию и на один остров в Океане[18]; там с философией случилось то же, что с пляской.

Калликрат. Как так?

Эвгемер. Друиды в одной из самых диких маленьких стран Европы[19] запретили пляски и строго наказали одного судью за то, что он проплясал менуэт со своей женой[20]. С того времени все научились плясать; это приятное искусство усовершенствовалось всюду. Таким же образом и дух человеческий получил новый импульс: каждый стал изучать природу; стали производить опыты; взвесили воздух: вытеснили его из мест, где он был заключен; придумали полезные для общества машины, что и составляет истинную цель философии: великие философы просветили Европу и оказали ей большие услуги.

Калликрат. Скажи мне имена тех, которые более всех прославились.

Эвгемер. Я ожидал, что ты спросишь меня не о тех, которые наделали больше шума, а о тех, которые оказали наибольшие услуги.

Калликрат. Я спрашиваю у тебя и то, и другое.

Эвгемер. Тот, кто более всего наделал шума после того этруска, был галл по имени Кардет[21]. Он был хороший геометр, но плохой архитектор, так как построил здание без фундамента, и этим зданием была Вселенная. Чтобы построить мир, он просил у Бога дать ему только материю: из нее он сделал шестигранники и выбросил их таким образом, что они, несмотря на невозможность двигаться, вдруг создали Солнца, звезды, планеты, кометы, Земли, океаны. В этой странной фантасмагории не было ни физики, ни геометрии, ни здравого смысла; но так как галлы ничего не знали и у них такие фантасмагории в то время были в моде, то они и поверили этой выдумке.

Калликрат. Твой творец Кардет был лишь половиной Платона; так как этот галл делал Землю из шестигранников, а Платон требовал двенадцатигранники. Так это-то — твои философы, у которых нашим грекам следует учиться? И как это целый народ мог поверить такому вздору?

Эвгемер. Точно так же, как Сиракузы верят в нелепости Эпикура, в нисходящие атомы, в сверхмиры, в животных, случайно образовавшихся из грязи, и во множество других глупостей, которые высказываются с такой уверенностью. Кроме того, была еще и одна тайная причина, заставлявшая лучшую часть нации со слепым доверием относиться к системе Кардета: она в том, что его учение казалось во многих пунктах противоположным учению друидов. Не знаю — почему, но этих друидов не любят ни в Италии, ни в Галлий, ни в Гер-

мании, ни в северных странах. Может быть, это потому, что народ, который так часто ошибается, считает их слишком могущественными, слишком богатыми и не в меру тщеславными. Поэтому друиды преследовали бедного Кардета, как преследовали Лейлигу. Во всех странах есть свои Сократы и Аниты. Северная Европа долго шумела своими спорами о трех родах *материи*, которых никто никогда не видал, о вихрях, которых никогда не могло быть, об изменчивой *благодати* и о множестве пустяков, еще более нелепых, нежели *субстанциональные формы* Аристотеля и *андрогины* Платона.

Калликрат. Если это так, то чем же твои варвары выше философов Греции?

Эвгемер. Я сейчас скажу тебе. Среди споров о трех материях и о других пустяках, из них вытекающих, нашлись люди со здравым смыслом, которые признавали только те истины, которые выяснялись из опыта или были доказаны математическим путем. Поэтому я не буду говорить тебе ни о гении, система которого заключалась в беседе со Словом, ни о другом, еще более гениальном человеке, у которого рождались удивительные фантазии относительно души.

Калликрат. Как ты сказал? беседе со Словом? Неужели это Слово Платона? Это было бы любопытно.

Эвгемер. Это, как говорят, беседа с более почтенным Словом; но так как тут ничего понять нельзя и никто при этой беседе не присутствовал, то я и не могу знать того, что там говорилось.

Калликрат. А тот варвар, который говорил столь удивительные вещи о душе, чему он научил нас?

Эвгемер. Он говорил, что существует гармония.

Калликрат. Ну вот еще! Нам уже голову продолбили этой пресловутой гармонией души, которую Эпикур так хорошо опровергнул.

Эвгемер. О! Это совсем другое: это — предустановленная гармония.

Калликрат. Предустановленная или какая-либо другая, я все равно ничего не понимаю.

Эвгемер. Сам автор — тоже. Но он говорит еще, что ни тело не зависит от души, ни душа от тела, что душа думает и чувствует сама по себе, а тело действует само по себе сообразно с нею; так что тело может быть на одном конце света, а его душа на другом, но все-таки они находятся в полнейшем согласии между собой, ничего не сообщая друг другу: например, одно играет на скрипке в глубине Африки, а другая пляшет под эту музыку в Индии. Эта душа всегда находится в согласии с телом, ее мужем, хотя и не говорит с ним, потому что она есть концентрическое зеркало Вселенной. Ты понимаешь?

Калликрат. Нет, слава Богу, ничего не понимаю. Но разве все эти прекрасные вещи доказаны?

Эвгемер. Нет, — по крайней мере, я ничего об этом не знаю; но умные газеты, представляющие собой концентрические зеркала всего, что называется наукой, говорят об этом раз в год за тридцать оболов, и этого достаточно для славы

изобретателя и для удовольствия его ревностных приверженцев. Я рассказал тебе о людях, говорящих со Словом, и о тех, душа которых представляет собой концентрическое зеркало, лишь затем, чтобы ты имел понятие о пылкости воображения жителей холодных стран. Сегодня вечером я расскажу тебе гораздо более интересные и солидные вещи.

Калликрат. С нетерпением ожидаю этого: ты переносишь меня в совершенно новый мир.

Диалог восьмой.—Великие открытия философов-варваров; греки в сравнении с ними — сущие дети

Эвгемер. С тех пор как в различных странах люди начали развивать свою способность к рассуждению, они всегда тщетно допытывались, почему тела, каковы бы они ни были, падают с воздуха на Землю, и почему они устремились бы к центру Земли, если бы их не останавливала поверхность, как это исследовали над знаменитыми колодцами Мемфиса и Сиенны, куда падали как самые тяжелые, так и самые легкие предметы, брошенные вверх в воздух самыми сильными машинами. Простонародье нисколько не удивилось, что брошенные вверх тела падали обратно на Землю, точно так же, как никто обыкновенно не удивляется тому, что за ночью сле-

дует день, хотя эти явления и заслуживают внимания. Философы отыскивали причину тяжести предметов, но не могли найти ее. Наконец, на острове Касситериды[22], в неведомой нам стране, на диком острове, где люди еще недавно ходили нагие, нашелся мудрец[23], который, пользуясь открытиями других мудрецов и присоединяя к ним свои, еще более значительные, доказал удивленной Европе решение и доказательство проблемы, тщетно занимавшей умы всех философов со дня возникновения философии: он показал, что закон тяжести есть только завершение первой теоремы самого Бога, этого вечного геометра.

Чтобы достигнуть этого знания, надо было вычислить, как велик диаметр Земли, и на сколько таких диаметров Луна, спутник Земли, отдалена от центра Земли в своем зените. Затем надо было вычислить падение тел и доказать, что не воздушный флюид заставляет их падать, как это думали прежде. Философ острова Касситериды доказал, что сила тяготения, составляющая тяжесть, действует пропорционально массам, количеству вещества, а не пропорционально поверхностям, как действуют флюиды; что, таким образом, сила тяготения равна ста, если тело состоит из ста частей материн, и десяти — если тело состоит из десяти частей.

Надо было доказать, что тело, каково бы оно ни было, будучи близко к Земле, пробегает при падении 54 тысячи футов в минуту, и если бы оно падало с высоты шестидесяти земных радиусов, оно в тот же промежуток времени падало бы лишь на пятнадцать футов. Вычислением было доказано, что

луна есть именно то тело, которое, находясь на расстоянии шестидесяти земных радиусов, пробегает в своем меридиане в минуту маленькую линию в пятнадцать футов по направлению к Земле.

Доказано, что это небесное тело не только тяготеет, притягивается и весит в прямом отношении к своей материи, но что оно еще притягивается к Земле тем сильнее, чем больше оно к ней приближается, и тем меньше, чем дальше оно отстоит от нее — обратно пропорционально квадрату.

Этот же закон наблюдается и по отношению ко всем светилам, в их взаимных отношениях, так как закон природы единообразен; так что каждая планета притягивается Солнцем, тяготеет к нему, давит на него, а Солнце давит на них, сообразно с тем, сколько каждое тело содержит в себе материи и соразмерно квадрату расстояния.

Это еще не все: эти варвары открыли еще, что если какое-либо тело движется к какому-либо центру, оно описывает вокруг этого центра круги, пропорциональные времени, в которое оно их пробегает, и что если оно описывает эти пропорциональные времени круги, оно тяготеет, оно притягивается к этому центру. Из этого закона и еще из некоторых других, человек из Касситериды доказал неподвижность Солнца и движение планет и даже комет, вращающихся в эллипсах вокруг него.

Все это создано не с помощью треугольников и двенадцатигранников, как у Платона, не с помощью семи музыкальных тонов, как у Пифагора, но с помощью самой высшей гео-

метрии. Ты, по-видимому, удивлен, ты должен быть удивлен; но ты удивишься, вероятно, еще более, когда узнаешь, что варвар показал людям, что такое свет, и что он сумел анатомировать солнечные лучи с еще большим искусством, чем Гиппократ расчленил органы человеческого тела. Наконец, о нем один великий астроном его страны и в то же время великий поэт сказал: «Из всех смертных он наиболее приблизился к богам».

Калликрат. А ты из всех смертных сделал мне добро, так как ты освободил меня от моих предрассудков. Наш Эпикур, который был очень добрым человеком и обладал всеми социальными добродетелями, был лишь смелым невеждой, из тщеславия создавшим свою систему. Я подозреваю, что твой островитянин, такой великий человек, имел много учеников и соперников у соседних с его страной народов.

Эвгемер. Ты прав. Он возбудил споров больше, чем открыл истин.

Калликрат. Может быть, кто-нибудь из спорящих узнал, наконец, что такое душа? Что меня более всего интересует, так это та великая тайна, о которой наши греческие философы так много говорили и о которой ровно ничего не сказали. К чему послужит мне то что я узнаю, что одна планета давит на другую и что можно разложить свет на составные части, если я не знаю самого себя?

Эвгемер. Ты познаешь, по крайней мере, природу и Высшее Существо, управляющее ею.

Калликрат. Если нашу душу так трудно узнать, то твои северные философы, по крайней мере, хорошо изучили наше тело? А оно интересует меня, по меньшей мере, столько же, сколько душа. Я полагаю, что люди, взвесившие миры, отлично знают, как произошел человек на Земле, образовалась Земля, каким она подвергалась переворотам и когда она будет уничтожена. Я хочу изучить всю тайну зарождения животных. Откуда происходит оживляющая всю природу теплота, находящаяся даже во льду. Меня возмущает то, что я не знаю, как я существую и как существует этот мир, в котором я живу, эти животные, растения, которыми я питаюсь, и стихии, составляющие это великое целое.

Эвгемер. Я вижу, что у тебя большие претензии. Ты похож на одного галльского вельможу[24], с которым я познакомился в моих путешествиях. Он написал мемуары, в которых говорит: «Чем больше я рассматриваю самого себя, тем более я убеждаюсь в том, что гожусь лишь на то, чтобы быть королем». Ты же хочешь все знать; вероятно, ты считаешь себя годным на то, чтобы быть богом.

Калликрат. Не смейся над моим любопытством; мы бы ничего никогда не узнали, если бы не были любопытны. Я не могу пойти в учение к твоим ученым варварам. Меня удерживает в Сиракузах жена. Скажи мне, как она ухитрилась родить мне ребенка, не зная, так же как и я, что происходит в ее внутренностях. Твои ученые, которые так хорошо рассмотрели механизм, с помощью которого Бог так хорошо двига-

ет мирами, подсмотрели, конечно, и то, как воспроизводится все живое.

Эвгемер. Очень часто мы знаем лучше то, что происходит вне нас, чем то, что делается внутри нас. Мы поговорим об этом в следующей беседе.

Диалог девятый. — О воспроизведении рода

Калликрат. Я всегда удивлялся тому, что Гиппократ, Платон и Аристотель, имевшие детей, не согласны между собой относительно того, как природа творит это вечное чудо. Они говорят, правда, что оба пола принимают в нем участие, доставляя каждый понемногу жидкости. Но Платон, вечно выдвигающий вперед свою теологию, а не природу, имеет в виду лишь гармонию числа три: рождающий, рождаемый и самка, в которую вкладывается зародыш, что составляет гармоническую пропорцию, и чего повивальная бабка не понимает. Аристотель говорит только, что самка производит вещество зародыша, а самец дает ему форму — и это нам ничего не объясняет. Неужели никто никогда не видел работы природы, как мы видим работу скульптора, ваяющего из глины, дерева, мрамора определенные формы?

Эвгемер. Скульптор работает на виду у всех, а природа творит во тьме. Все, что мы узнали до сих пор об этом, это

то, что самцы при совокуплении всегда выделают жидкость, которую у некоторых самок не признают. Однако принятая Гиппократом теория двух зарождающих жидкостей получила перевес. Твой Эпикур делает из этой смеси нечто в роде божества, и это божество есть наслаждение. Наслаждение это так сильно, что греки и не стали искать других причин.

Наконец, один великий ученый с острова Касситериды с помощью открытий некоторых итальянских ученых заменил оплодотворяющую жидкость яйцами. Этот великий анатом, по имени Аривге[25], заслуживал большого доверия тем, что он видел совершающееся в нашем теле кровообращение, которого наш Гиппократ не видел. Он анатомировал тысячу четвероногих самок, воспринявших оплодотворяющую жидкость самца. Но рассмотрев также яйцо курицы, он решил, что все происходит от яйца, что разница между птицами и другими породами животных состоит в том, что птицы высиживают яйца, а другие животные нет. Поэтому женщина есть не что иное, как белая курица в Европе и черная курица в Африке. И все стали вторить Аривге: «*Все происходит от яйца*».

Калликрат. Следовательно, тайна раскрыта?

Эвгемер. Нет. С недавнего времени все опять изменилось: мы выходим не из яйца. Явился один батав[26], который при помощи искусно обточенного стеклышка увидел в семенной жидкости самцов целый народ маленьких, совершенно уже сформированных детенышей, которые бегали с изумительной быстротой. Несколько мужчин и женщин сделали то же наблюдение, и все уверовали в то, что тайна зарождения на-

конец открыта, так как видели живых человечков в семени их отца. К сожалению, излишняя живость, с которой они плавали, дискредитировала их. Каким образом существа, бегавшие с такой быстротой в капле жидкости, могли оставаться в течение девяти месяцев неподвижными в утробе матери? Некоторые исследователи видели в этих крошечных зародышах, спермах, не живые существа, а нити, частички этой теплой жидкости, всколыхнутые собственным движением и дуновением воздуха. Некоторые любопытные хотели видеть и ничего не видели. Наконец это всем надоело — не производить опыты, а портить себе глаза над рассматриванием в капле спермы столь трудно уловимого народа, которого, вероятно, и не существовало.

Один человек — опять-таки с острова Касситериды, но которого не следует считать философом[27],— избрал иной путь. Это был один из тех полудруидов, которым не позволено знать что-либо относительно спермической жидкости. Он подумал, что достаточно кучки плохой муки, чтобы произвести угрей. Этим опытом он обманул лучших натуралистов. Да и твои сиракузские эпикурейцы легко попались бы на эту удочку. Они бы сказали: «От испорченной муки зарождаются угри, следовательно, от хорошей муки могут зародиться люди; а следовательно, никакого бога не нужно, чтобы населить Землю: это делают атомы».

Но вскоре наш создатель угрей исчез: другой человек с своей системой занял его место[28]. Так как настоящие философы уже нашли и доказали, что существуют тяготение, тяжесть,

взаимное притяжение между всеми телами планетного мира, то этот человек вообразил, что существует также взаимное притяжение и между молекулами, из которых должен составиться младенец в утробе матери: правый глаз притягивает левый, а нос, притягиваемый ими обоими, спешит поместиться как раз между ними; точно то же происходит с ляжками и с частями, находящимися между бедрами. По этой системе, однако, очень трудно объяснить, почему голова устанавливается на шее, а не помещается между плечами. Вот до какого абсурда люди доходят тогда, когда хотят пустить людям пыль в глаза своими знаниями, а не задаются целью открыть им истину. Над этой системой смеялись так же, как и над угрями, зародившимися от испорченной муки, — ибо в Галлии люди так же насмешливы, как и в Греции.

Падение стольких систем, однако, не лишило храбрости одного нового философа[29], действительно заслуживающего это звание, всю жизнь проведшего между математикой и опытами — единственными руководителями, способными вывести на путь истины. Убежденный в непригодности всех этих систем, хотя некоторые из них и могли показаться вероятными, он подумал, что маленькие тельца, наблюдаемые столькими физиками и им самим в семенной жидкости, были не животные, а молекулы в движении, находящиеся, так сказать, у врат жизни. «Природа вообще,— говорит он,— имеет, на мой взгляд, больше влечения к жизни, нежели к смерти. Кажется, будто она старается организовать тела, насколько это возможно. Размножение зародышей, которое можно усилить

почти до бесконечности, служит тому доказательством, и можно было бы не без некоторого основания предположить, что если материя и не вполне организована, то это происходит оттого, что организованные существа истребляют друг друга. Ибо мы можем увеличить, почти насколько хотим, количество животных и растительных существ, а количества камней и других грубых материй увеличить не можем».

Калликрат. Он прав. Приводимые тобою слова кажутся мне столь же верными, сколь новыми: мы сеем людей, а они истребляют друг друга на войне, как те воины, которых произвел Кадм, посеяв зубы дракона. Земля есть огромное кладбище, покрывающееся беспрерывно телами смертных, которые нагромождаются на их предшественников. Нет такого животного, которое не было бы жертвой или добычей другого животного. Растения постоянно пожираются и снова воспроизводятся. Но мы не воспроизводим металлы, минералы, скалы. Мне нравится твой галл, я желал бы познакомиться с ним. Каким же образом он объясняет зарождение жизни?

Эвгемер. Он предположил, что природа может создавать маленькие формы, как литейщики делают модели из глины, вокруг которых льют расправленный металл, принимающий форму модели. Он думает, что эти модели, эти формы, созданные природой, приспособляются не только к внешней стороне тела, но и к внутренней. Я не могу лучше представить себе эту механику, как вообразив себе Гефеста, лепящего форму Пандоры снаружи и изнутри так, что она одновременно получила прекрасную грудь, а также сердце и легкие. Изобретатель

этой системы основывается на том, что материя имеет присущие ей свойства и внутри организма, как тяготение и протяжение. Он утверждает, что эти внутренние органические формы составляют всю животную и растительную материю. «Питание,— говорит он,— развитие и воспроизведение — суть действия одной и той же причины; организованное тело питается аналогичными ему частями; оно развивается впитыванием в себя тех органических частей, которые ему нужны, и воспроизводится потому, что содержит в себе некоторые органические части, которые с ним схожи. Когда питательная органическая материя получается в излишке, она отправляется в резервуары в виде жидкости, содержащей в себе все необходимое для образования маленького существа, подобного первому».

В другом месте он говорит: «Я думаю... что органические молекулы, отправляемые всеми частями тела в яички и семенные пузырьки самца и в тестикулы или иные какие-либо части самки, образуют там семенную жидкость, которая в том и в другом поле составляет, как мы видим, нечто вроде экстракта из всех частей тела... и когда в происшедшем смешении находится более мужских органических молекул, нежели женских, то образуется самец, если же в смешении окажется более женских органических частиц, нежели мужских, то образуется маленькая самка».

Калликрат. Если верно то, что он говорит, то младенец может родиться на две трети мужчиной и на одну треть женщиной, и гермафродиты будут встречаться на каждом шагу,

когда женщины будут изливать столько же семенной жидкости, сколько мужчины. Но, к сожалению, ты знаешь сам, что некоторые женщины совсем ее не дают, чувствуя отвращение к ласкам своих мужей, а между тем и они имеют детей. К тому же эта система, которая мне сначала так понравилась и которая казалась мне столь остроумной, начинает смущать меня. Я совсем не в состоянии ясно представить себе эти внутренние формы. Если дети находятся в этих формах, то к чему оплодотворяющая жидкость? Кроме того, мне кажется очень странным, что органические формы, не питавшие наше тело, становятся потом человеческим телом, одаренным движением и мыслью; выходит, что органическая молекула может сделаться Александром или каплей мочи. Скажи мне, как люди отнеслись к этой системе?

Эвгемер. Докапывающиеся до основы философских новостей напали на него и начали кричать; те, которые ни до чего не докапываются, осудили его голословно, но все хвалили «Естественную историю» человека от самого рождения до смерти, написанную тем же автором. Это небольшое сочинение о физической природе жизни и смерти. Это — история всего человеческого рода, основанная на общеизвестных фактах, тогда как органические формы суть не что иное, как гипотеза. Таким образом, нам, по-видимому, придется примириться с незнанием нашего происхождения: мы подобны египтянам, извлекающим столько источников существования из Нила и не знающим еще, откуда он вытекает. Может быть, когда-нибудь они узнают это.

Диалог десятый. — Предположение о том, что Земля обязана своим происхождением комете

Калликрат. Если я потерял надежду узнать когда-либо, почему я рожден, почему я живу, почему я мыслю и как я умру, то я не могу надеяться узнать мир, в котором я живу, лучше, чем я знаю самого себя. Однако ты сказал, что египтяне могут когда-нибудь узнать источники Нила, и это несколько оживляет во мне слабую надежду узнать когда-либо нечто об образовании Земли. Я отрекся от нисходящих атомов Эпикура. Разве твои мудрые варвары, выдумавшие столько прекрасных вещей, ничего не узнали о том, как сделана была Земля? Рассматривая птичье гнездышко, мы можем составить себе понятие о его построении, не зная досконально, что дает этим птицам жизнь, инстинкт и перья. Неужели же никто не наблюдал того гнезда, в котором мы живем, того уголка Вселенной, куда заключила нас природа?

Эвгемер. Кардет, о котором я тебе уже говорил, полагает, что наше гнездо прежде было Солнцем, впоследствии покрывшимся корой.

Калликрат. Покрывшееся корой Солнце! Да ты шутишь?

Эвгемер. Шутил, вероятно, этот Кардет, говоря, что Земля была некогда Солнцем из тонкой и состоящей из шариков материи, но эта материя уплотнилась, и Земля потеряла свои блеск и свою силу. Она упала из вихря, центром ко-

торого была прежде, в вихрь нашего теперешнего Солнца. Теперь Земля покрыта сморщенной и изборожденной материей; одним словом, прежде мы были светилом, а теперь сделались луной, имея только в виде особенной милости другую маленькую Луну в утешение.

Калликрат. Ты путаешь все мои идеи. Я был готов сделаться учеником твоих галлов; но теперь я нахожу, что Эпикур, Аристотель и Платон были гораздо разумнее твоего Кардета. Это не философская система, а просто бред больного человека.

Эвгемер. Это — то, что несколько лет тому назад называли атомистической философией, единственно истинной философией. Эти бредни имели даже комментаторов; воображали, что геометр, давший кое-что путное в области оптики, не мог ошибаться.

Калликрат. Что же после того открыто было относительно образования Земли?

Эвгемер. Вот открытие одного германского философа[30], о котором я уже упоминал: это — тот, что выдумал предустановленную гармонию, по которой душа произносит речь, а тело делает жесты; или тело бьет известный час в то время, когда душа показывает его на циферблате, не слыша ударов. На тех же основаниях он нашел, что существование нашего шара началось с горения. Моря были посланы, чтобы потушить огонь; все, что было Землей, остеклилось и осталось массой стекла. Как-то не верится, чтобы математик изобрел подобную систему, а между тем, это — факт.

Калликрат. Сознайся, что моего Эпикура нельзя упрекнуть в подобных глупостях. Я просил у тебя истин, а не вздорных выдумок.

Эвгемер. Ну, так я тебе еще расскажу о том философе, который так хорошо написал «Естественную историю» человека. Он написал также и «Естественную историю» Земли; но он выдает ее не за истину, а за гипотезу. Он предполагает, что комета, проходя однажды по поверхности Солнца...

Калликрат. Как! Комета, которую Аристотель и мой Эпикур объявили эманацией Земли?

Эвгемер. Аристотель и Эпикур плохо знали толк в кометах. У них не было никакого инструмента, который помог бы им увидеть их и измерить их движение. Галлы, касситериды, германцы, соседние с греками народы сделали себе инструменты, показывающие истину. Они узнали при помощи этих инструментов, что кометы суть планеты, вращающиеся вокруг Солнца по огромным кривым, приближающимся к параболе. Они предполагали, что некоторые из комет совершают свой круг более, чем в 150 лет; предсказывали их возвращение, как предсказывают затмения, но, конечно, далеко не с той же точностью.

Калликрат. Прошу их извинить мое невежество. Ты ведь сказал, что одна комета упала на Солнце: ну, и что же случилось? Она сгорела?

Эвгемер. Галльский философ предполагает, что она лишь слегка коснулась этого могучего светила и что она унесла с собой кусок, из которого образовалась Земля; от него осталось

и на долю еще нескольких других планет. Можно себе легко представить, что такие оторвавшиеся от Солнца куски были чрезвычайно горячи. Говорят, что одна комета, проходя мимо Солнца, сделалась в две тысячи раз горячее раскаленного железа, и что на охлаждение ее потребовалось пятьдесят тысяч лет. Из этого можно заключить, что наша Земля, которая не особенно горяча у своих полюсов, употребила более пятидесяти тысяч лет для своего охлаждения, так как эти полюсы холодны, как лед. Она от Солнца пришла на место, занимаемое ею теперь, совершенно остеклившейся, как сказал германский философ; и с тех пор стали делать стекло из песка.

Калликрат. Мне кажется, что я читаю старых греческих поэтов, которые говорят мне, почему Аполлон каждый вечер ложится спать в море и почему Юнона садится иногда на радугу. Не хочешь же ты уверить меня, что Земля сделана из стекла и пришла от Солнца такой горячей, что еще не остыла в Эфиопии в то время, как в Лапландии люди мерзнут.

Эвгемер. Поэтому ведь автор и предлагает тебе эту историю Земли лишь как гипотезу.

Калликрат. Да, но галльская или греческая гипотеза — разве это не все равно? Что касается меня, то признаюсь тебе, что Минерва, богиня разума, вышедшая из головы Юпитера; Венера, рожденная от божественного семени, вышедшая на морской берег для того, чтобы навеки соединить воду, воздух и Землю; Прометей, приносящий божественный огонь Пандоре; Амур с его повязкой, стрелами и крыльями; Церера, научающая людей возделывать Землю; Вакх, облегчаю-

щий скорби людей своим чудным питьем, — столько очаровательных басен, остроумных эмблем природы нисколько не хуже предустановленной гармонии, бесед со Словом и кометы, произведшей нашу Землю.

Эвгемер. Мне не менее тебя нравятся эти прелестные аллегории; они будут вечной славой греков, силой, чарующей народы. Они врезаются в умы и воспеваются всеми народами, невзирая ни на какие перемены правительств, религии, нравов, которые вечно будут происходить на земной поверхности. Но эти прекрасные вечные сказки, как бы они ни были привлекательны, не открывают нам сути вещей. Они чаруют нас, но ничего не доказывают. Амур с его повязкой, Венера и три грации никогда не научат нас предсказывать затмение и узнавать разницу между осью эклиптики и осью экватора. Сама красота этих описаний отвращает наш взор и наше внимание от трудных путей науки: она изнеживает наш дух.

Калликрат. Скажи же мне, что твои философы-варвары, не столь изнеженные, как греки, придумали полезного.

Эвгемер. Я расскажу тебе о том, что видел в Галлии во время моего последнего путешествия.

Диалог одиннадцатый. — Были ли горы образованы морями

Эвгемер. В 844 стадиях от Океана, близ города, называемого Тур, на десять футов глубины под Землей находится на протяжении 180 миллионов кубических туаз немного илистое, похожее на пульверизованный тальк вещество; Землепашцы пользуются им для удобрения своих полей. Его добывают в шахте, часто промоченной дождевой и рудниковой водой, где находят остатки животных, то пресмыкающихся, то черепокожих, то ракообразных. Один художник, по ремеслу горшечник[31], утверждал, что эта залежь скверного талька, смешанная с мергелем, была лишь скоплением рыбьих трупов и раковин и находилась здесь со времен Девкалиона. Некоторые философы признали эту систему и отклонились от учения горшечника лишь в том отношении, что утверждали, будто эти раковины были отложены в этом подземелье за несколько тысяч веков до нашего греческого потопа. Им отвечали: «Если всемирный потоп принес в это место сто тридцать миллионов кубических туаз рыбы, почему же он не отнес и тысячной части этого количества в другие Земли, настолько же отдаленные от Океана? Почему эти моря, кишащие моржами, не выбросили на эти берега и двенадцати штук этих моржей?» Надо сознаться, что философы не выяснили этого вопроса; но они остались при твердом убеждении, что море покрывало эти Земли не только на 844 стадии дальше берега, но еще и гораздо далее. Споры эти бесконеч-

ны. Наконец, галльский философ Теллиамед[32] высказал мнение, что море было всюду в течение пятисот или шестисот тысяч веков и образовало все горы.

Калликрат. Ты говоришь мне удивительные вещи. Ты заставляешь меня то удивляться твоим варварам, то смеяться над ними. Я скорее поверю в то, что горы родили моря, нежели в то, что моря произвели на свет горы.

Эвгемер. Если, согласно Теллиамеду, течения Океана и приливы и отливы с течением времени образовали Кавказ и Эммаус в Азии, Альпы и Апеннины в Европе, то они породили и людей, чтобы населить эти горы и долины.

Калликрат. Совершенно верно; но этот Теллиамед кажется мне немного свихнувшимся.

Эвгемер. Этот человек, долгое время бывший в Египте посланником своего короля в интересах торговли, считался весьма образованным. Он не осмеливается сказать, что сам видел морских людей, но говорит, что беседовал с людьми, которые их видели. Он думает, что эти морские люди, которых многие описывали, сделались с течением времени такими же земными людьми, как и мы, когда море, отдаляясь от берегов, чтобы нагромождать горы, поставило этих людей в необходимость жить на Земле. Он верит также, или хочет уверить нас, что наши львы, медведи, волки и собаки произошли от морских львов, медведей, волков и собак и что наши птичьи дворы полны летающих рыб, превратившихся со временем в уток и кур.

Калликрат. И на чем он основывает эти нелепости?

Эвгемер. На свидетельстве Гомера, который говорит о тритонах и сиренах. Сирены эти, обладавшие чудным голосом, когда жили на Земле, а не в воде, научили музыке людей. Кроме того, всем известно, что в Халдее жила некогда в Евфрате щука по имени Оаннес, проповедовавшая народу два раза в день. Она — богиня-покровительница всех говорящих с кафедры. Дельфин, несший Ариона, сделался богом-покровителем почтальонов. Вот видишь, сколько авторитетов утверждает эту новую философию. Но главную опору она нашла у историка, написавшего историю человека, всего мира и кабинета великого короля[34]. По крайней мере, он взял под свое покровительство горы, образованные течениями и морскими приливами; он утвердил эту идею Теллиамеда. Его сравнивали с вельможей, воспитывающим в своих поместьях покинутого сироту. К нему присоединилось несколько ученых физиков, и эта система сделалась довольно популярной.

Калликрат. Желал бы я знать, как они доказывают, что Кавказ создан морем.

Эвгемер. Она приводят в доказательство то, что будто бы в стране Каттов в Германии нашли окаменелую щуку, на Альпах якорь и целое судно в одной из альпийских пропастей. Правда, что история об этом судне была написана одним из тех несчастных компиляторов, которые хотят заработать немного денег своими выдумками; но люди системы, разумеется, указали, что это судно со всеми снастями оказалось в этой пропасти на 10—12 сотен тысячелетий раньше,

чем было изобретено мореплавание и что это судно было построено в то время, когда море уходило с вершины Альп, чтобы образовать Кавказские горы.

Калликрат. И это ты, Эвгемер, говоришь подобный детский вздор?

Эвгемер. Я рассказываю это, чтобы показать тебе, что и у моих варваров фантазия разыгрывалась не хуже, чем у твоих греков.

Калликрат. Никогда ни один греческий философ не говорил ничего такого, что могло бы сравниться с тем, что ты рассказываешь.

Эвгемер. Ну вот еще! А разве ты забыл, что написал недавно астроном Берозий, с которым я так часто встречался при дворе Александра?

Калликрат. Что же он написал такое необыкновенное?

Эвгемер. Он утверждает в своем сочинении «Древности человеческого рода», что Сатурн явился к Ксиссутру и сказал ему: «Пятнадцатого числа этого месяца весь род человеческий будет истреблен потопом. Запри хорошенько все твои писания в Сипаре, городе Солнца, чтобы не потерялось воспоминание о прошлом (ибо когда никого на Земле не будет, эти писания будут весьма необходимы); построй корабль, взойди в него с твоими родственниками и друзьями; впусти туда птиц и четвероногих, набери съестных припасов, и когда тебя спросят, куда ты хочешь плыть на своем корабле, то ты ответь: «К богам, чтобы умолить их сжалиться над родом человеческим!» Ксиссутр построил корабль длиною в пять



Вольтер в старости. *Гравюра XVIII века*

стадий и шириною в две; т. е. ширина его равнялась 250 геометрическим шагам, а длина — 625 шагам. Корабль этот, который должен был плыть по Черному морю, был плохо оснащен. Настал потоп. Когда он прекратился, Ксиссутр выпустил некоторых из птиц; но они, не найдя себе корма, вернулись на корабль. Несколько дней спустя, он выпустил опять своих птиц, и они вернулись с запачканными грязью лапками. Наконец, птицы уже не вернулись. Тогда Ксиссутр также вышел из корабля, остановившегося на вершине горы в Армении, и исчез. Боги взяли его на небо.

Ты видишь из этого, что во все времена старались позабавить или напугать людей то баснями, то рассуждениями. Халдеи не первые выдумали ложь для того, чтобы люди их слушали, а греки — не последние. Галлы смешали выдумку с правдой, как и греки, но их сказки менее привлекательны. Лгали и в Германии, и на острове Касситериде. Разрушивший греческую философию в Галлии пресловутый Кардет первый признался, что он лгал и хотел только пошутить, делая мир из игральных костей и создавая материю тонкую, зернистую, ветвистую, полосатую, желобчатую. Другие довели шутку до того, что твердили беспрестанно, будто мир может быть разрушен тонкой материей, из которой, по их мнению, происходит огонь.

Калликрат. Уж нам, наверное, не один из потомков Ксиссутра, шутя, готовит такую катастрофу. Это, должно быть, те философы, которые говорят, что наша Земля произошла от горящей кометы, Они, вероятно, хотели пригото-

вить ей смерть из того же источника, из которого дали ей жизнь. Но эта шутка мне кажется чересчур смелой. Я не люблю, когда смеются над разрушением.

Эвгемер. И ты прав. Но хуже всего то, что идея гибели от огня есть не что иное, как подогретый миф о Фаэтоне. Давно уже рассказывают о том, что люди однажды были потоплены наводнением, а в другой раз погибли от пожара. Рассказывают даже, что первые люди в память об этих событиях соорудили две высокие колонны, одну из камня, а другую из кирпича, чтобы предупредить своих потомков, и, чтобы, в случае повторения несчастья, кирпичная колонна не погибла от огня, а каменная — от воды. Наши философы-варвары, которые уже являются более, чем философами, ибо они — пророки, объявляют, что обе колонны бесполезны: ведь так как одна комета образовала Землю, то другая комета разобьет ее вдребезги вместе с чудесными монументами из кирпича и из камня. Относительно этого предсказания написано много книг очень умных, со множеством вычислений. Над возможностью этой ужасной катастрофы очень много смеялись. Ученые галлы уподобились тем богам, которые у Гомера хохочут нескончаемым смехом над вещами, которые вовсе не забавны.

Калликрат. Мне кажется, что смеяться в этом случае имеют право только боги Эпикура: они заняты только едой и наслаждениями; но богам Гомера, вечно спорящим между собой, смеяться не приходится, а твоим галльским философам и еще менее того. Разве ты не сказал мне, что на них

всегда точат зубы друиды? Это должно поддерживать в них серьезное настроение.

Эвгемер. Многие и были весьма серьезны и серьезно старались принести большую пользу.

Калликрат. Вот об этом-то мне и хотелось бы узнать. Меня интересует только та философия, которая в чем-нибудь может пригодиться. Я предпочитаю архитектора, который строит мне приятный и удобный дом, математику, чертящему двойную кривую, которая не имеет ко мне отношения.

Эвгемер. Варвары не только выказали свой ум, чертя кривые и производя математические выкладки; но они изобрели и новые искусства, без которых греки вскоре не смогут обойтись. Я тебе сейчас объясню это.

Диалог двенадцатый. — Изобретения варваров, новые искусства, новые идеи

Калликрат. Скажи же мне скорее, что эти варвары выдумали такого полезного для людей.

Эвгемер. Если бы они изобрели одни только ветряные мельницы, то и тогда мы должны были бы быть им вечно благодарны. Эту прекрасную машину выдумали, впрочем, не касситериды, не готы и не кельты, а поселившиеся в Египте арабы. Греки тоже тут были ни при чем.

Калликрат. Как же устроена эта прекрасная машина? Я слышал о ней, но никогда не видел.

Эвгемер. Это — дом, стоящий на столбе и вертящийся по ветру. У него четыре крыла, которые летать не могут, но служат для того, чтобы разбивать между двумя камнями собранный на полях хлеб. Греки и мы, сицилийцы, и даже римляне не умеем еще пользоваться этими крылатыми домами: мы умеем только утомлять наших рабов, заставляя их руками грубо смалывать хлеб, который с таким трудом выращивается на полях. Я надеюсь, что прекрасное искусство крылатых домов когда-нибудь дойдет и до нас.

Калликрат. Говорят, что боги, в виде особенной милости, даровали хлеб нашей Сицилии и что отсюда он распространился во всем мире. Наши эпикурейцы этому не верят; они убеждены, что боги слишком заняты своей едой, чтобы заботиться о нашей. И действительно, если бы Церера дала нам хлеб, то заодно могла бы подарить нам и ветряную мельницу.

Эвгемер. Что касается меня, то я всегда останусь при том убеждении, что не Церера принесла пшеницу в Сицилию, а Великий Демиург дал людям и животным пищу и уменье, необходимые для поддержания их краткой жизни, сообразно с климатом, в котором он их поместил. Народы, обитающие на берегах Сены и Дуная, не имеют тех чудных плодов, которые растут в области Ганга. Природа не родит у них вкусного и питательного риса, приправляемого специями и сахаром Индии. В нашей северной Европе не растут роскошные пальмы, покрывающие Азию, золотые яблоки раз-

ных сортов, доставляющие столь легкую пищу и столь освежительный напиток. Обширнейшие страны, одни лишь границы которых видел Александр, производят кокос, о котором ты, вероятно, слыхал. Плод этот дает ядро, более вкусное, нежели наш хлеб и наш мед; дает питье более приятное, чем лучшие вина; он дает масло для ламп и твердую скорлупу, из которой изготовляют сосуды и тысячи безделушек. Из покрывающей орех волокнистой оболочки ткут холст для парусов; из дерева кокосовой пальмы строят суда и дома, а широкие листья ее служат крышей этим домам.

Таким образом, один только род растения кормит, поит, одевает, служит для жилья, для передвижения и для домашней утвари целым народам, которым природа дает все это без всякого ухода за растением. В Европе, самую счастливую часть которой составляет Сицилия, у нас до сих пор имеются лишь дикие плоды; прекрасные плоды Персии, Керасонта и Эпира[34] еще не возделываются на нашем острове. Мы можем похвастаться только нашей пшеницей: какая печальная слава и с каким тяжелым трудом добываемое средство к жизни! Может быть, те, которые говорят, что мы прогневили Цереру, были правы, и богиня в наказание научила нас Земледелию. Сначала надо извлечь из недр Земли и выковать руками наших циклопов железо, которое должно разрыхлить ее. Более половины народов Европы вынуждены покупать в Азии и в Африке зерно, чтобы засеять свои скудные поля. И эти поля после нескольких изнуряющих человека вспашек дают в лучшие годы сам-десят, обыкновенно же сам-пят или шест, а иногда и всего только сам-третей.

Когда же собрана эта бедная жатва, приходится молотить снопы тяжелыми цепами и терять порядочную часть зерна при этом тяжелом труде. И все-таки эти труды еще не дают пищи человеку. Надо нести это зерно тем, которые поливают его потом своим, раздавливая его под жерновом силою своих рук. И этого еще недостаточно, если его в таком виде не подвергнуть действию огня под темными сводами пещеры, где слишком сильный жар может испепелить его, а недостаточный жар — сделать из него ни к чему не годное тесто. И вот перед нами хлеб, которым Церера наградила людей или, скорее, который она заставляет их покупать столь дорогою ценой! Он столько же похож на зерно, из которого он сделан, сколько пурпур похож на барана, доставившего шерсть для драгоценной ткани. Печальнее всего при этом то, что Земледелец почти не пользуется плодом стольких трудов. Житель берегов Дуная и Борисфена сеял не для себя, а для варвара, завоевавшего его страну и не имеющего понятия о том, как растет зерно, — для друида или ламы, во имя небес требующего часть жатвы и вместе с тем растлевающего или приносящего в жертву дочь того человека, хлеб которого он поедает. Теперь ты признаешь, по крайней мере, что математики, выдумавшие ветряные мельницы, избавили Земледельца от самой тяжелой работы.

Калликрат. Я не сомневаюсь, что мода ветряных мельниц проникнет скоро ко всем народам, которые едят хлеб: они, без сомнения, будут благословлять философию. Продолжай, прошу тебя, рассказывать мне о новых изобретениях варваров.

Эвгемер. Я уже сказал тебе, что они дали глаза тем, у кого их не было; они помогли старцам читать и показали всем людям звезды, которых те прежде никогда не видали, и эти благодеяния, разнообразясь до бесконечности, суть не что иное, как следствие известной грекам теоремы, что угол падения равен углу отражения,

Калликрат. Ты делаешь из своих философов богов. Они дали хлеб людям и говорят: «Да будет свет!» Что они создали еще? Скажи мне все.

Эвгемер. Они изобрели искусство переписывать чуть ни в мгновение ока целую книгу. Наука таким образом может сделаться всеобщим достоянием: книги будут стоить дешевле, чем съестные припасы на рынке. Каждый может приобрести себе Аристотеля за то, что стоит пулярка. Часть этого искусства распространяется на то, чтобы воспроизводить одну и ту же картину тысячу и десять тысяч раз, так что самый бедный из граждан может иметь у себя произведения Зевксиса и Апеллеса. Это называется гравюрами.

Калликрат. Твои философы-изобретатели были богами, теперь они уж волшебники.

Эвгемер. Ты более прав, чем думаешь. Есть такие страны в Европе, где это искусство воспроизводить книги и картины сочли колдовством; но это искусство со временем сделается столь же заурядным, как и ветряные мельницы. Каждому захочется писать книжки, каждому захочется воспроизвести во многих экземплярах свой портрет; мы будем завалены бессмысленными книжками, литература сделается

низким ремеслом, а так как тщеславие автора будет возрастать соразмерно его глупости, то всякий бумагомарака будет помещать свой портрет в начале своего сочинения.

Калликрат. Я признаю, что слишком большое количество книг может быть опасным; но мы все-таки должны быть благодарны тем людям, которые нашли способ облегчить производство книг. Ведь можно выбирать своих любимых авторов в толпе.

Эвгемер. Действительно, в этой толпе есть много продавцов идей; одни продают фантазии Платона, другие — бесстыдство Диогена; в одной и той же лавке мы видим *Гермеса Трисмегиста* и *Аристофана*. Недавно некоторые из этих продавцов соединились вместе, чтобы продавать в тридцати громадных книжках экстракт всего, что греческие и варварские философы измыслили, чему подражали или что критиковали в науках и искусствах. С этими книжками можно, говорят, обойтись без всех остальных: так как, начиная от способа делать порох до искусства вдевать нитку в иголку, нет вещи, которой нельзя было бы научиться из этого экстракта.

Калликрат. Что такое порох? Может быть, это яд, придуманный Анитом и Мелитом для того, чтобы избавить мир от философов?

Эвгемер. Нет, это — удивительное изобретение в физике, сделанное одним добрым жрецом, который сам немного в ней смыслит. Эксперимент с порохом, доведенный до искусства, отлично подражает грому и молнии. Порох про-

изводит еще гораздо более страшное действие: он сжигает и разрушает самые толстые укрепления. Если бы нашему Александру было известно это изобретение, ему не нужна была бы его храбрость, чтобы покорить мир. Особенно удивишься ты тому, что это искусство все разрушать употребляется при торжествах и увеселениях. Если празднуется свадьба какого-нибудь государя, то раздаются не звуки арф и лир, как у греков, а гремит гром и сверкают молнии, как тогда, когда Юпитер во всем величии своей славы сошел на ложе Семелы.

Калликрат. Ты меня пугаешь. Это совершенно новый мир, в котором на каждом шагу рискуешь быть убитым громом; но зато те, которые избегают опасности, наслаждаются величественным зрелищем.

Эвгемер. Если бы я собрал все, что выдумали в различные времена эти иностранцы, то ты счел бы их гигантами, перед которыми наши греки являются лишь детьми, обещающими со временем стать мужами. Ты, наверное, удивишься, если я тебе скажу, что эти так называемые варвары сумели сделать из простого песка нечто вроде шлифованных бриллиантов величиною больше, чем пять футов в вышину и ширину. Эти бриллианты отражают все предметы гораздо лучше, чем маленькое серебряное зеркало, освященное красавицей Фриной в храме Венеры, и свободно пропускают свет в домах, защищая их от холода и непогоды. Ты не можешь себе представить, до какого совершенства эти иностранцы доводят все искусства, приятно действующие на чувства и спо-

собствующие услаждению жизни. Поверишь ли, что их главные города в десять раз больше и населеннее Афин и Сиракуз и что они на пространстве более тридцати стадий наполнены великолепными произведениями всех родов, превосходящими все те чудеса роскоши, которыми хвалятся Сузы и Вавилон? Но ты удивишься еще больше, если я тебе скажу, что большинство открытий в области этих искусств сделаны во времена невежества и грубости нравов. Кажется, право, что Бог дал этим людям инстинкт, намного превышающий обыкновенный разум. Но и их разум мало-помалу развивается, разбирается в сделанных открытиях, систематизирует их и, наконец, запутывается в аргументах, как и у греков.

Калликрат. Ты каждый раз представляешь мне хорошую и дурную стороны того, что объясняешь.

Эвгемер. Да, потому что все существующее имеет хорошую и дурную стороны. Так, например, варвары: одни отличаются учтивостью и кротостью афинян, а другие — суеверной жестокостью скифов. Некоторые были одарены от природы гениальностью и вкусом, но воспитывались в среде, убивающей здравый смысл. Они начинают превосходить греков в живописи и музыке, но еще не вполне достигли их совершенства в ваянии. У них развилась экспериментальная физика, о которой греки не имеют и понятия. Зато в метафизике они фантазируют иногда более, чем Платон, Пифагор, Зороастр и Гермес Трисмегист.

Калликрат. Я бы очень желал поспорить о метафизике с галлом и касситеридом.

Эвгемер. Если бы ты и выучился их языку, то к чему повел бы ваш спор? В словесном споре люди никогда не понимают друг друга. Один из спорящих выразится не совсем верно, другой ответит ему еще хуже. Фальшивый довод встречает еще более фальшивое опровержение. Вот почему споры в школах весьма долго извращали человеческий ум. Не будь этого счастливого инстинкта, который изобрел и усовершенствовал искусства, не будь опытов, произведенных не говорунами-схоластами, общество находилось бы еще в диком состоянии.

Упрек, который все честные люди делали ученым и выдающим себя за ученых, будь то греки или варвары, — состоит в том, что все они хотели идти дальше природы. Они рыли пропасти, и вырытая Земля обрушилась на них. Один из них[35], который был, однако, настоящим гением, рассуждает о том, каков был бы человек без головы, получивший, однако, от богов все прочие дары. Другой[36] изощряет свой недюжинный ум в размышлениях о том, каков был бы человек с одним только чувством — обонянием.

Еще один философ высшего разряда[37] определил день и час, когда не станет на Земле ни людей, ни животных. Что делать? Это все — Геркулесы, играющие в кости; но тем не менее — все-таки Геркулесы. Три знаменитых математика острова Касситериды, каждый по-своему, доказывали, каков был мир до потопа Девкалиона и Пирры, и пришли к совершенно различным выводам. Очевидно, что их вычисления были оши-

бочны. Однако они не исправили своих ошибок и так и оставили мир. Лучше бы они предоставили это дело Богу.

А что скажешь ты о том человеке[38], который нашел секрет возбуждать свою душу до того, чтобы точно предсказывать будущее. Все это построено на том прекрасном аргументе, что если мы можем думать о прошедшем, которого уже нет, то можем думать и о будущем, которого еще нет.

Ты видишь, что я не слепой поклонник варваров, а воздаю им должное, как и грекам. Везде есть злоупотребления и заблуждения; ими наполнено небо, как говорит Гомер. Две вещи особенно способствуют распространению книг у варваров: тщеславие и бедность. Искусство писать сделалось распространенным ремеслом благодаря тому, что оно легче других. Еще очень недавно все писатели были жрецами, объяснявшими в огромных томах, каким образом таинственные свойства священной омелы описаны у Аристотеля и Платона. Теперь же большое число писателей посвятили себя вопросу о переустройстве государств. Человек, не умеющий управлять курятником и даже не имеющий его, берет в руки перо и составляет законы для целого государства. Другие воспитывают юношество в своих писаниях после того, как надавали ему «хороших» примеров. Читал ли ты сочинение афинянина Ксенофонта о воспитании Кира?

Калликрат. Читал и сознаюсь, что оно создало во мне мнение о Ксенофонте не лучшее, чем о Кире.

Эвгемер. Ну так вот: один маленький варвар задумал ввести новый метод воспитания государей, — гораздо луч-

ший, чем способ воспитания победителя Вавилона. Прежде всего автор, наполовину галл, наполовину алеман, объявляет, что какой-то великий государь умолял его взять на себя воспитание его сына; но что он отказался от предложения и никогда не захочет быть воспитателем. И тотчас же вслед за этим он объявляет, что состоит воспитателем одного знатного юноши. Знаешь ли, как он поучает своего воспитанника? Он делает из него столяра; он ведет его в дом терпимости[39]. Он убеждает его в том, что принц, государь должен жениться на дочери палача, если так сложились обстоятельства. Наконец, он говорит ему, что гораздо разумнее просто убить своего противника, нежели сражаться с ним в открытом бою.

Калликрат. Неужели же так воспитывают знатных юношей в Галлии? Да, ты, действительно, показываешь мне все, что у варваров есть и дурного, и хорошего.

Эвгемер. Так как я обещался говорить всю правду, то я прибавлю еще, что у этого галльского Ксенофонта мы находим еще один эпизод, озаглавленный «Друид-савояр», написанный против схоластических идей друидов. В этом рассказе встречаются отличные вещи.

Калликрат. Что такое савояр?

Эвгемер. Савояр — это название народа, населяющего некоторые местности в Альпийских горах.

Калликрат. И друиды этих гор не сожгли твоего Ксенофонта?

Эвгемер. Нет, они сделали то же, что и афиняне, которые, умертвив Сократа, стали смеяться над Диогеном.

Калликрат. Значит, твои галлы — тоже презабавный народ?

Эвгемер. Очень забавный, а прежде галлы были страшно диким, глупым и жестоким народом.

Калликрат. Совершенно так же, как и наши древние греки — пеласги. А в столице Галлии, в десять раз, как ты говоришь, более обширной, населенной и богатой, нежели Афины, есть так же, как и в Афинах, трагедии, комедии, зрелища с музыкой, пляски, подобные пиррике и кордацее?

Эвгемер. Еще бы! Там все дни года посвящены этим прекрасным искусствам. Галлы имеют своих Софоклов, Еврипидов, Менандров и Тимофеев. Они теперь считаются главным народом по части плясок. У них более плясунов, чем математиков. Но в столице Галлии случилось то же, что сорок или пятьдесят тысяч лет тому назад в городе Зороастра, как рассказывают мудрые парсы, которые никогда не лгут. Небо, разгневавшись на Землю, где думали только о веселье, послало к берегам Ганга огромную змею, чреватую десятью тысячами Завистей.

Она разрешилась от бремени, и с тех пор люди сделались несчастными. Вероятно, таких Завистей в галльском городе было более сотни тысяч, ибо как только кто-нибудь достигает успеха в чем бы то ни было, все дочери змеи поднимаются против него. Есть даже лавочки, где Зависти продают диффамации четыре раза в месяц. Великое искусство выражать свои мысли письменно, изобретенное вначале в целях просвещения, сделалось достоянием Зависти. Это — не са-

мое почтенное, но зато самое распространенное занятие: люди покупают оскорбления ближнему с большим рвением, нежели чудные вина и божественный мед Сиракуз.

Калликрат. Все равно. Как только мне удастся ускользнуть на время от моей семьи, я отправлюсь в столицу этих милых варваров, где проводят время в злословии и плясках. Дочери змеи не испугают чужестранца.

Примечания

[1] *Эвгемер* — древнегреч. философ IV—III вв. до н. э., из школы киренаиков. Известен своим учением (которое позднее вошло в историю религии как «эвгемеризм») о том, что боги — могущественные, выдающиеся люди глубокой древности, которых народ впоследствии идеализировал.

[2] *Иерофант* — верховный жрец в Элевсине.

[3] *Бегущими богами* древние греки называли планеты.

[4] *«Систему Природы»* — автор — барон Поль Анри Гольбах (1723—1789) — французский философ, один из основателей школы французского материализма и атеизма.

[5] *«Основы Природы»* — автор — итальянский натурфилософ Фабио Колонна (1567—1640).

[6] *«Философию Природы»* — автор — Делиль де Саль (1714-1816), французский натурфилософ.

[7] *«Кодекс Природы»* — автор — Андре Морелли (1727-1819), французский писатель и экономист.

[8] *Этот темный человек* — т. е. сам Вольтер.

[9] *Диагор* — подразумевается барон Гольбах.

[10] *Новые халдеи* — подразумеваются Николай Коперник и Галилео Галилей.

[11] *Перконик* — т. е. Коперник.

[12] *Лейлига* — т. е. Галилей.

[13] Псалом XVIII, 6.

[14] *Друиды* — т. е. Папа Урбан VIII и инквизиция в 1633 г.

[15] Иис. Нав., 10:13; Царей, 11:20.

[16] В одной соседней республике — т. е. в Венецианской.

[17] *На плоской вершине башни* — на колокольне св. Марка.

[18] Остров в Океане — имеется в виду Англия.

[19] *В одной из самых диких маленьких стран Европы*— т. е. в Швейцарии.

[20] *Проплясал менуэт со своей женой...* — Французский религиозный реформатор Жан Кальвин (1509—1564) приговорил к наказанию одного из главных судей за то, что тот после ужина танцевал со своей женой.

[21] *Кардет* — т. е. Рене Декарт (1596—1650), французский философ, математик и естествоиспытатель.

[22] *На острове Касситериды* — подразумевается Англия.

[23] *Мудрец* — речь идет об Исааке Ньютоне.

[24] *Одного галльского вельможу* — маркиза де Лассей.

[25] *Аривге* — т. е. Уильям Гарвей (1578—1657) — английский естествоиспытатель и врач.

[26] *Один батав* — Антони ван Левенгук (1632—1723), нидерландский натуралист, один из основоположников научной микроскопии.

[27] *Которого не следует считать философом* — речь идет о Джоне Тербервилле Нидхеме (1713—1781) английском естествоиспытателе, безуспешно пытавшимся экспериментально подтвердить самопроизвольное зарождение микроорганизмов (абиогенез).

[28] *Другой человек с своей системой занял его место* — подразумевается Пьер Луи Моро де Мопертюи (1698—1759), французский ученый. Автор трудов по математике, астрономии, географии, биологии и философии.

[29] *Нового философа* — подразумевается граф Жорж-Луи Леклерк де Бюффон (1707—1788), французский естествоиспытатель и натуралист.

[30] *Одного германского философа* — речь идет о Готфриде Вильгельме Лейбнице (1646—1716), немецком философе, математике, юристе и теологе.

[31] *Художник, по ремеслу горшечник* — Бернард де Палисси (ок. 1510–1590), французский ученый, дизайнер и религиозный диссидент-мистик, один из корифеев искусства керамики.

[32] *Теллиамед* — псевдоним-анаграмма французского путешественника и натуралиста Бенуа де Майе (1656—1738).

[33] *Написавшего историю человека, всего мира и кабинета великого короля...* — Речь идет о Бюффоне. Великий король — Людовик XIV.

[34] *Плоды Персии, Керасонта и Эпира* — т. е. персики, вишни и яблоки сорта «кальвиль» (*лат.* Malum epiroticum).

[35] *Один из них* — Блез Паскаль (1623—1662), французский религиозный мыслитель, математик и физик.

[36] *Другой* — Этьен Бонно Кондильяк — (1715—1780), французский философ и психолог, популяризатор идей Локка во Франции.

[37] *Философ высшего разряда* — т. е. Бюффон.

[38] *О том человеке* — имеется в виду Мопертюи.

[39] Речь идет о романе «Эмиль» Жан-Жака Руссо.



Содержание

Вольтер

ФИЛОСОФСКИЕ ТРАКТАТЫ И ДИАЛОГИ

Ответственный редактор *М. Яновская*
Редакторы *перевода С. Никулин, Н. Терехова*
Художественные редакторы *А. Пилипенко, А. Сауков*
Компьютерная верстка *Ю. Кулишенко*
Корректоры *И. Калачева, И. Коновалова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д.1. Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16.
Многоканальный тел. 411-50-74. **E-mail: reception@eksmo-sale.ru**

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 932-74-71.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12
(м. «Сухаревская»,ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 70-40-45/46.

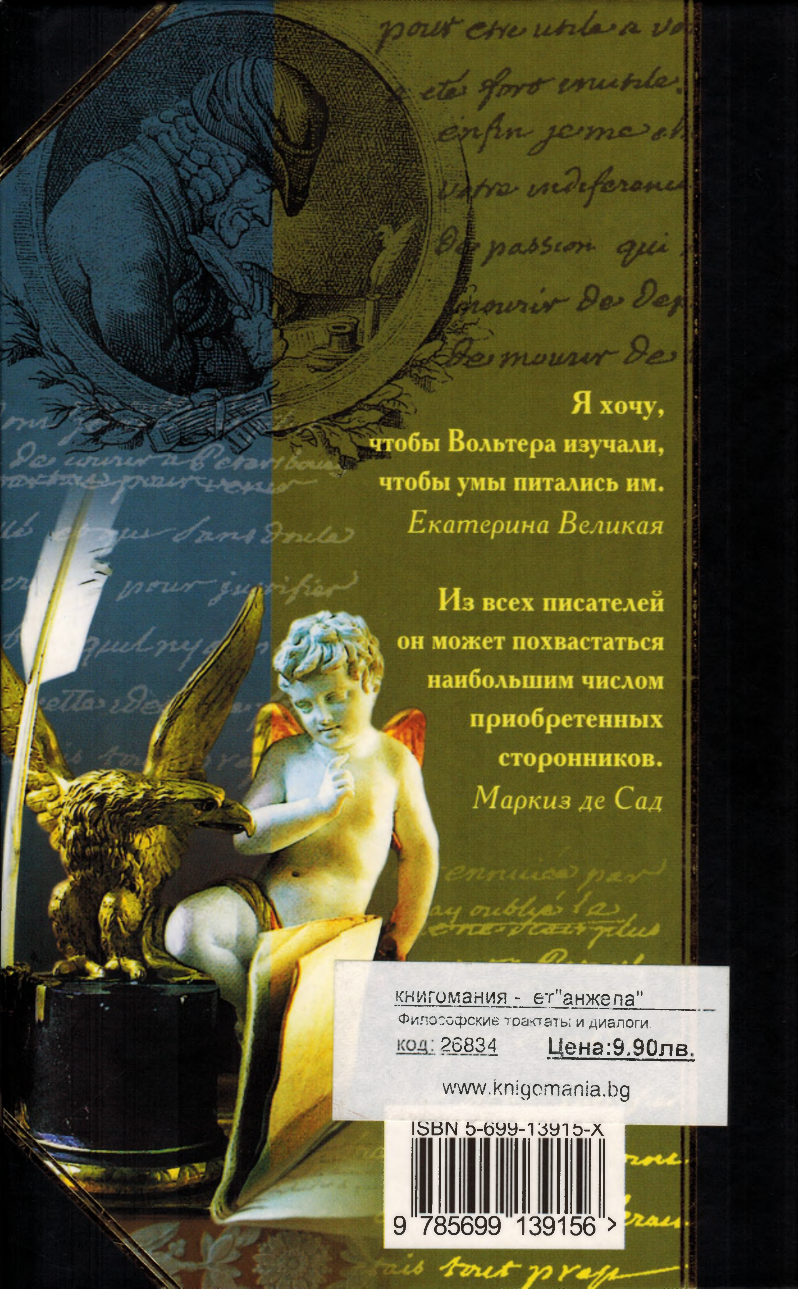
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: **sale@eksmo.com.ua**

Подписано в печать 07.10.2005. Формат $70x100^1/_{32}$.
Гарнитура «Академия». Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 17,55.
Тираж 5000 экз. Заказ 5521

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 5-699-13915-X





**Я хочу,
чтобы Вольтера изучали,
чтобы умы питались им.**
Екатерина Великая

**Из всех писателей
он может похвастаться
наибольшим числом
приобретенных
сторонников.**
Маркиз де Сад

ISBN 5-699-13915-X
9 785699 139156